Н. ЛЕСКОВ



ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Н. ЛЕСКОВ

ЧЕСТНОЕ СЛОВО



БИБЛИОТЕКА
РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПУБЛИЦИСТИКИ

Н. ЛЕСКОВ

ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Москва
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1988

Р1
Л50

Составление, подготовка текста, вступительная статья
и комментарии
Л. А. Аннинского

Художник **А. Денисов**

Л $\frac{4702010100-132}{М-105(03)88}$ 163-88

ISBN 5-268-00498-0

Почва правды

«...Ч е с т н о е с л о в о — дать знать о себе «из страны безвестных...»
Н. Лесков. Честное слово

Лесков, навсегда вошедший в память русской культуры как беллетрист-искусник, волшебник слова и «изограф» языка, начинал как прямой, яростный публицист. Беллетристика Лескова после мучительной и долгой борьбы признана всенародно — публицистика его не признана по сей день. Читателям она практически неведома; образно говоря, она остается «в стране безвестных»; здесь мучительная и долгая борьба так и не увенчалась успехом. Бойкоты слева и справа, когда-то истерзавшие Лескова-художника, для Лескова-публициста обернулись следствием еще более драматичным: они отсекли его от будущих читателей. Его никто не признал своим при жизни, и после смерти его статьи остались тлеть в старых подшивках, где они и теперь лежат, покрытые забвеньем, а лучше сказать, запечатанные двумя-тремя итоговыми формулировками, вроде того, что Лесков «постепеновец», споривший с «нетерпеливцами», «либерал», возражавший революционным демократам, сторонник «порядка» и «умеренности», противостоявший бунтарям... впрочем, противостоявший также и «охранителям», но тем более наивный в попытке удержать золотую середину, когда сталкивались насмерть края.

В самой общей и итоговой форме все это, конечно, так и есть, но в данном случае итог и общий вывод далеко не покрывают того реального, живого и бесконечно драматичного содержания писательской работы, которое, собственно, и ценно для нас. Драма Лескова-публициста состоит в том, что «жизнь», так сказать, «не подтвердила» его воззрений на развитие России, хотя он-то был как раз знаток ж и з н и, человек реальности, человек опыта, пришедший в литературу «от недр». Он поздно начал писательскую работу — вдоволь до того поколесил по стране, состоя

на «коммерческой службе». Тридцати лет от роду он явился в «журналистику столиц» и принес с собой прежде всего впечатления очевидца.

В «журналистике столиц», возбужденной на рубеже 1860-х годов дружно начавшимся потеплением, тон задавали, напротив, не практики, а «теоретики», как их тогда и называли, одни с иронией, другие с уважением. В «теории» Лесков был не силен; он просто подключился к широко заявившей о себе в ту пору прогрессивной, просвещенной, либеральной, благородной гражданской концепции. Темперамент у него оказался, впрочем, такой, что жандармские наблюдатели быстро записали Лескова в «красные». Внутренне это ничего не меняло: он был сторонник реформ, остальному предстояло определиться практически. Его молодость счастливо совпала с начавшимися демократическими переменами, его судьба как публициста в конце концов определилась крахом надежд на эти перемены. Пользуясь теперешним словарем, можно сказать, что он был публицистом перестройки, которая так и не удалась. Какова его роль? Застрельщик? Нет. Генератор идей? Тоже нет. Смысл лесковской публицистики — проба идей реальностью. Это были не его идеи, они носились в воздухе. Смысл же его работы — в соприкосновении всеобще известных прогрессивных идей с теми пластами реальности, которые чуял и знал только он, Лесков.

Итак, номинально перед нами — прогрессивный «средний интеллигент», человек, который ненавидит бюрократию и официоз, ужасается беззаконию и произволу власти, требует быстрейшего освобождения крестьянства и безусловно верит в возможности демократии: в общественность, в земство, в культуру.

Однако за системой воззрений, общепринятых в ту светлую пору, вскрывается опыт, далекий от общепринятого.

Бюрократию Лесков видит насквозь. Он изобличает взяточника, вымогателя. Однако при этом он затевает какую-то странную, хотя с виду вполне корректную, статистическую операцию: высчитывает, сколько рублей в месяц «должен» брать взятками примерный городской врач, если исходить из числа жителей в городе, числа рундуков на базаре и числа женщин, записавшихся в качестве проституток, плюс женщин, в этом качестве не записавшихся, но в наличии имеющихся. Статистика эта странна не по цифрам, а по подходу и тону. Редакции журналов, где Лесков проделывает свои естественно-научные изыскания, чуют подвох и успокаивают читателя, заявляя на всякий случай, что Лесков «преувеличивает» цифры. Но Лесков ничего не преувеличивает, цифры вполне правдоподобны, хотя и «взяты с потолка», подвох не в них, а в самом приеме.

«Объективность», с какой Лесков подходит к делу, весьма коварна: из вопиющего нарушения жизненной нормы взятка на глазах становится под его пером вопиюще неодолимой нормой жизни, какой-то почвенно-несдвигаемой, почти биологической. Вместо благородного негодования, принятого в ту пору в прессе, не говоря уже о сарказме, образцы которого гениально демонстрирует Щедрин, у Лескова возникает какая-то странная, невозмутимая интонация; за ней можно предположить нечто, противоположное обличительству, — глубоко спрятанный скепсис; если мелкие служебные преступления — естественный способ прожития в России, то на кого и как негодовать?

Откупную систему Лесков понимает в том же духе. Если питие водки — естественный способ глушения больной совести, то это не нарушение, а как бы продолжение «образа жизни». Или, беря в сравнение погоду, — это не ненастье, это «климат». Мучительно размышляя над пьянством как историческим проклятьем Руси, Лесков все время пробует разные выходы. Он колеблется между мерами воспитательными, которые гуманны, но мало помогают, и мерами принудительными, которые Лескову как гуманисту отвратительны, но... тоже мало помогают. Проблема ускользает в какую-то бездонную глубь, она не удерживается на просветительских поплавках, не вмещается в прогрессивность позиции.

Крестьянский вопрос. Лесков всей душой за освобождение. Он безусловно верит в избавленного от крепостной зависимости мужика как в гражданина обновленной России. Но и здесь тема не удерживается в просветительских рамках. Лесков почти не участвует в тех исполненных высокого морального пафоса дебатах, которые ведутся в публицистике начала шестидесятых годов по поводу общего гуманного смысла освобождения; Лесков смысла не отрицает, но сразу спускается на уровень конкретного человека: он берет не крестьянина вообще, не точку приложения высоких идей и не объект человеколюбия просвещенных реформаторов — он берет мужика совершенно реального, вот этого, которого переселил из губернии в губернию «помещик Кондратьев», а вернуться домой мужику нельзя даже после освобождения, и уже не потому, что помещик Кондратьев плохой человек, а потому, что не пускает мужика обратно сельский сход — мир не принимает его на старое место: земля разобрана, естественный ход вещей двинулся дальше, повернуть его трудно, и, стало быть, страдает мужик уже не от произвола барина, которому, как-никак, дали по рукам, а от общей ситуации, которая его, мужика, с невозмутимостью биологического закона выталкивает из старого порядка, то есть спихивает с земли.

Лесков прикован к «вытолкнутым». Он охотнее осмысляет

быт переселенца, чем быт коренного жителя. Он чуток к душе скитальца, странника, изгнанника, человека сдвинувшегося, сорванного с корня. Между ранней статьей о переселенных крестьянах и позднейшим, предсмертным уже очерком о вдохновенных бродягах лежит сквозная, через всю жизнь Лескова прошедшая тема: люди «стыка», люди на чужбине, люди, неожиданно увидевшие себя исчужа.

С этим связана, конечно, заметная тяга Лескова и к изображению так называемых «инородцев», и к осмыслению контактов русских людей с «инородцами». Классические сюжеты Лескова: Левша у англичан... немцы на Васильевском острове... очарованный странник среди татар... русский миссионер «на краю света» — среди «темняков»-язычников... Лесков-публицист не менее, чем Лесков-беллетрист, внимателен к межнациональным контактам, ему интересны и «еврей в России», и «русское общество в Париже», и эстонец под властью российского закона на финском «темнеющем берегу». Лесков безукоризненно чуток, бережен и тактичен, когда пишет «инородцев»; иногда он касается саднящих ран, например, описывая тех же поляков или евреев, но он делает это так, что национальное достоинство людей у него бывает не только не унижено, но даже и подчеркнуто. Теперь бы сказали, что Лесков органично интернационален.

И все же главный интерес, главная тема, главная боль Лескова — русский человек. Русский человек на земле. Русский человек, двинувшийся с земли...

Что вынуждает его уходить, что гонит? Зачем нужна русскому человеку встреча с «инородцем», и шире: с инобытием, с иноверием или хотя бы с инославием, как в расколе, всегда притягивавшем Лескова? Почему сама тема раскола, расколотости, или, как формулирует Лесков, русской розни, так важна ему для разгадки судеб народа и отечества? Почему русский человек прозревает в Париже, а не дома? Почему, побывав в Европе, россиянин возвращается оттуда «страшным, неисправимым западником»? Почему русская прислуга, переехав границу, немедленно впадает по отношению к господам, вчера еще любимым, в озлобленно-оппозиционный тон? Почему там, за кордоном, русский человек начинает ощущать себя словно бы непрерывно оскорбляемым?

Потому что там, в обстановке, когда люди европейского Запада привычно и незаметно отдают друг другу дань уважения, пусть даже и автоматического, — там-то у русского человека и просыпается дремавшее дотоле личное достоинство. И просыпается оно — уязвленным.

Так почему же в России-то оно дремлет?

Вот это и есть главный, сокровенный, решающий вопрос в системе воззрений Лескова на человека и общество, а точнее — на русского человека и Русь, потому что этого человека Лесков знает «в самую глубь» и любит по-настоящему, почти до бессилия.

Достоинство личности отсутствует в духовном рабе. Оно убито в крепостном крестьянине, низведенном до положения животного. Да, освобождение снимает вековые скрепы, но на месте свободного и разумного гражданина, которого ждет общество, появляется что-то неожиданное, неразумное. Вековое рабство, скопившее хитрость и скрытность, вековое унижение, обернувшееся мстительной вседозволенностью, — вот что видит Лесков за фасадом чаемого освобождения, и вот что терзает его душу потаенной неутихающей болью.

Он возлагает надежды на культурный слой, на людей просвещенных, или, как все чаще их именуют, на «интеллигентов». Однако здесь разочарование оказывается еще страшнее. «Товарищ прокурора» в Курске, демонстративно подавший в отставку из-за ничтожного замечания начальника, — это, конечно, не сорвавшийся с цепи дикий зверь, этот — из «культурной публики». Вроде бы насквозь пропитан человек чувством собственного достоинства, однако и здесь достоинство — какое-то заранее обиженное. Оно сразу выламывается в амбицию, причем из личной амбиции обязательно хочет стать амбицией коллективной, сословной. Не успел подать в отставку один — и еще пятеро подают, из солидарности: наших бьют!

Бунт вырастает из комплекса неполноценности — все из того же самого векового рабства, только на сей раз оно не в обличии темного мужика, который, едва выйдя на свободу, ищет, кого бы ограбить, а в обличии «чистого» интеллигента, которому «унизительно» слушать замечания начальства по службе. А начальство? И оно — из того же теста, и оно давит и душит из той же амбиции. В результате закона нет — есть столкновение разбухших самолюбий. Истины нет — есть хаос полуоформившихся мнений. Свободы личности нет — есть разгул личности. Все тонет в произволе — благие замыслы, светлые идеи, прогрессивные начинания. Что толку, сокрушается Лесков, что мы вводим «демократические учреждения», когда мы не стоим их! Что толку, что мы сбрасываем «татарские халаты», если мы их заменяем на мундиры, из-под которых видны старые халатные привычки! Что толку в реформах, если люди остаются прежними?

В поисках опоры Лесков обращает свои надежды еще на одну фигуру, внушающую ему поначалу настоящий оптимизм. Это

человек «экономический», «промышленный», или, как охотнее всего именует его Лесков, человек «коммерческий»... Тут не сказано: «буржуазный», хотя с точки зрения марксизма, появившегося в России к концу жизни Лескова, да и по историческому результату то, что он имеет в виду, есть, конечно же, человек буржуазный. Это купец, промышленник, инженер, связанный с промышленностью...

Классический «либерал-постепеновец», Лесков в полном соответствии с системой своих воззрений делает ставку на буржуазно-демократические элементы, но он — писатель, великий писатель, человек особой интуиции, и объемность его мироотношения не покрывается логикой позиции. Нужно понять внутренний импульс лесковской веры в «коммерческого человека», нужно удержаться от позднейшей аберрации: от тех толкований, которые наложило на этот образ наше время. Для Лескова «коммерческий человек» противостоит отнюдь не «рабочему человеку» и тем более не «пролетарию», которого Лесков в России не видит и не предполагает увидеть. «Коммерческий человек» у Лескова противостоит человеку чиновному, правительственному, официальному. Коммерческий человек — это свободный человек: свободный от службы, это момент свободы в мире связанности, момент личной инициативы в мире круговой поруки и всеобщей лжи во спасение. Как вестника свободы Лесков ждет его на Руси.

Но опять: приходит некто, мало похожий на чаемого свободного работника и деятеля. Вместо договора и ассоциации возникает между людьми новое рабство, вместо кооперации в духе Оуэна — казарма в духе Аракчеева. «Торговая кабала» ничем не лучше чиновной: казалось бы, человек продает свой труд, так нет же: «у нас» он продает не труд свой, а себя самого, с потрохами: свои мышцы, дыхание, убеждения, нередко даже свою честь. И не хочет такой человек никакой свободы — он не знает, что с нею делать, куда с нею деться. Вековая азиатчина проступает сквозь европейские буржуазные формы. Дело, конечно, не только в формах — не в тех бытовых формах эксплуатации, которое приобретает торговое дело в русском охотнорядстве и гостинодворстве. Хотя и в этом тоже. Тут Лесков — прямой предшественник Чехова и Горького, в его «Торговой кабале» и «Наемной зависимости» предсказан «Ванька Жуков» и те скитания, которые начинаются для русского человека «в людях». Но главное — даже не эти азиатские формы, а то, что происходит с содержанием явления, с самим замыслом фигуры «свободного предпринимателя». Он ничего не собирается «предпринимать», ничего не хочет делать сам: он всего «ждет от правительства». Это открытие подрывает главную надежду Лескова. Русские люди, ищущие коммерческих мест, фа-

тально оказываются «не у дел». Сколько-нибудь грамотный, инициативный человек словно от «стены» отлетает, его отшибает круговая порука охотнорядства, его отбрасывает сама «мать сыра-земля» — почва у него плывет под ногами.

В известном смысле можно сказать, что Лесков продолжает здесь традиционную тему русской классики, идущую от Пушкина и Лермонтова: тему лишнего человека. Но разница! В «классическом» варианте честный и активный человек оказывается лишним, потому что но может преодолеть тупую машину всеобщего подчинения и начальственного самодурства. А у Лескова рвущийся к делу человек оказывается лишним потому, что вяжет его толща жизни, инерция «почвы», естественный уклад.

По внешности и по номиналу этический идеал Лескова-публициста кажется настолько элементарным, естественно здравым и само собой разумеющимся, что непонятно, с чем тут спорить и почему спорили. Идеал Лескова — честный труженик, сознающий свои права и соразмеряющий свои силы; этот герой не желает ничего большего, как только справедливой платы за свой труд; он не завидует счастливейшим, потому что счастлив тем, чего сам добился; он не замахивается на «всемирность», но постепенно наращивает общее благо; он все приобретает законным образом, и благодаря ему «наша Русь идет вперед». Однако же этот гармонический и даже пресноватый в своей разумности идеал представляет собой сплошной скрытый вызов тогдашним оппонентам Лескова, причем не только тем, что «справа», но еще более тем, что «слева». Идеал терпеливого труженика — вызов нетерпеливому стремлению в будущее, где брезжит скорое счастье для всех. Идеал законности — это отрицание бунта, отрицание черного передела, отрицание революционного насилия. «Русь идет вперед» — но по мнению многих, она вперед не идет, а топчется на месте или даже пятится назад. «Пусть каждый метет свою лестницу» — этому излюбленному Лесковым гоголевскому призыву противостоит в сознании противников режима другой призыв: сломать всю эту лестницу! Довольствоваться малым? Нет, есть другая программа: штурмовать небо! Все или ничего! Справедливость — немедленно! А если что мешает — долой!

Вот против всего этого и встает Лесков.

Можно понять ту ярость, с которой его отвергли революционные шестидесятники. Но их бойкот он кое-как перетерпел. Его ожидал сюжет более тяжкий: крушение надежд.

Итак, его вера в «средне-свободного», умеренного работника, сознающего закон и долг, проходит испытание реальностью. В реальности же, то есть не в теоретической реальности «вообще» а на конкретной земле («в Нижнем Новгороде»), на месте честного

«коммерческого» работника обнаруживается... человек, который вроде бы сидит на земле, но «трудиться не любит, а желает разбогатеть как-нибудь сразу».

Попытка совладать мыслью с этим героем — главное дело Лескова-публициста.

Осуждает ли он его?

Этот сложный вопрос связан с чрезвычайно тонкой проблемой лесковской интонации. В интонации глубина и противоречивость мироощущения сказывается иногда точнее, чем в позиции по тому или иному частному вопросу. Лесков пишет о разных слоях и сословиях реформирующейся и пореформенной России: о крестьянах, помещиках, рабочих, купцах, священниках, чиновниках. Но что характерно: он никого не осуждает безоговорочно. Даже чиновников, эту патентованную дичь для вольных стрелков русской обличительной печати, — он и чиновников прежде всего старается понять. Понять внутреннюю жизненную логику этих людей. Но не обвинить. Он неохотно употребляет в обвинительном контексте слово «они», даже по отношению к тем типам, которым безусловно чужд. Он охотнее говорит: «мы». Не они виноваты — мы виноваты. Для тогдашнего общественного настроения такая интонация не только не характерна, но тоже таит в себе оттенок вызова: инвективы куда больше в ходу. «Мы» — и «они»: так могут с пренебрежением именовать «массу простонародья» представители «избранных классов». И так же, со встречной ненавистью клеймят «избранных» люди социального «низа». Мы — товарищество, а они — начальство, и между «ими» и «нами» — война (так ярко описанная Помяловским). У Лескова другое: «мы» — это все общество. Тут сказывается изначальное понимание социума в его еще нерасколотом единстве и еще более сказывается русская традиция брать вину на себя.

Поэтому Лесков не ненавидит своих противников. Скорее он жалеет их, сожалеет о них, сокрушается.

Может быть, единственное, что вызывает у него чувство, близкое к ненависти (скорее, впрочем, к негодованию), — это «направленство»: нетерпимость групп и литературных партий, сектантская узость, и более всего — решительность левых радикалов. Ни на кого лично Лесков, надо сказать, отрицательных эмоций не переносит; Елисеев, Шелгунов вызывают у него безусловное уважение, не говоря уже о Чернышевском; даже к лютейшему из своих противников слева, к Писареву, Лесков относится корректно. Он «направленскую» узость отвергает в принципе.

Это уникальное сочетание проблемной жесткости и личной мягкости связано с глубинным ощущением ценностей у Лескова-

художника: с изумительно развитым чувством почвы, органики, внутренней неизбежности того, что даже и отвергается разумом и логикой. Какой-нибудь «вдохновенный бродяга», Василий Баранщиков из Нижнего, бросивший дом, пустивший по миру семью, обманувший своих соседей-кредиторов и пошедший колесить по градам и весям, — он ведь освещен не одним светом; читая о подвигах этого плута, прошедшего пол-Европы, пол-Азии и еще четверть Америки, Лесков испытывает сложное чувство, иногда кажется, что он... на грани невольного любования, что тайная гордость жизненной силой, сметкой и неунывающей душой этого русского ходока и умельца готова поселиться у Лескова рядом с возмущением, которое вызывает у него пройдошество. Стало быть, петляет-таки потайная тропка от «вдохновенного бродяги» к «очарованному страннику»?

Да, но там, в чистом художестве, в беллетристике объемное письмо. Там — очарованный странник, русский богатырь, удалец, первопроходец... Но здесь, в публицистике — иначе. Здесь, где решается для Лескова проблема, — он жесток и трезв. Проблема русской судьбы решается для него однозначно: если мы — стадо, если чести нет и нет закона, а одна только «ситуация»: «среда» которая заела, да волюшка, до которой надо дорваться, — то на такой почве ничего не выстроишь. Здесь будет гулять плут, сотканный из того же самого материала, что и герой. Не навязан же он народу из каких-то внешних «официозных» или «антиофициозных» сфер — он на той же почве растет.

В сущности, это вечный вопрос: о народе.

«...Я не изучал народ по разговорам, а я вырос в народе».

Еще: «Я перенес много упреков за недостаток какого-то неизвестного мне уважения к народу, другими словами, за неспособность лгать о народе».

И еще: «В простом, необразованном человеке не меньше, а напротив, — гораздо больше зла, чем в осмеиваемом ныне «интеллигенте» или даже слегка помазанном образованием горожанине...»

Не будем взвешивать: «меньше», «больше»... При любом балансе в устах Лескова это признание трагично. Его нелегко выдержать.

Главный противник Лескова — народничество, или, как он формулирует, «сентиментальное» народничество. Причем смысл полемики шире тех упреков, которые Лесков бросает писателям и публицистам народнического толка, тем более что многим из них (например, Глебу Успенскому) он в конце концов воздает должное. Смысл не в том, кто прав, а в том, какова почва, на которой стоят правые и неправые, или, лучше сказать, правые и левые.

В «простом» деревенском человеке вовсе нет той святой простоты, которую надеются найти в нем сентиментальные народники, пишущие о «пагубности» города. Деревенский человек, охотно сваливающий на влияние города свои пороки, внутренне склонен к ним не меньше, чем горожанин, которого он громко осуждает и которому тайно завидует. Лесков убийственно трезв во взгляде на народ, он опровергает мужиковствующих интеллигентов, вынашивающих концепцию «народа-богоносца». Лесков выбивает почву и из-под ног охранителей, уверенных, что мужик — опора трону и отечеству, надо только убрать смутьянов и поджигателей, и из-под ног теоретиков левого терроризма, уверенных, что мужик готов всем миром перейти сейчас же в светлое будущее, надо только взорвать препятствующее тому государство.

Лесков противостоит и тем, и другим, и третьим. Против всех! Это невероятно трудно, и морально, и практически, в обстановке журнальной полемики, в которой никто никого но жалеет, трудно и «теоретически», потому что все время приходится «переступать факты». Есть какое-то заполошное упрямство и вместе с тем тихое отчаяние в том, как Лесков, стоя перед убийцей, продолжает твердить о важности образования и просвещения, а убийца никакого раскаяния не чувствует, одно только смятение от оплошности. Увы, не большего достигает и евангельская проповедь, которую Лесков время от времени повторяет над буйными головами своих героев. Между идеальной, ориентированной на праведность программой Лескова и его конкретным знанием человека проходит грань, смутно предвещающая катастрофу, и Лесков эту грядущую катастрофу, социальную и духовную, явно предчувствует. Поразительно, но уже на следующий день после мартовского восстания парижан 1871 года и за десять дней до провозглашения Парижской Коммуны Лесков пишет о том, что эти события знаменуют всеобщий «переворот отношений, выработанных французской и вообще западноевропейской цивилизацией»!

Рядом с такой зоркостью странно воспринимаются лесковские уверения, что «у нас», в отличие от Запада, все иначе, что «безземельного пролетариата» у нас нет и быть не может и что «мы» (то есть Россия) на «все это» (то есть на европейский революционный пожар) можем смотреть «совершенно спокойно»... Что это? Самогипноз? Попытка выдать желаемое за действительное? Или — хуже того — уловка, хитрость: сбить с толку цензуру? Последнее вряд ли; Лесков цензуры не боится, уловок не любит и заранее ничего не умягчает и не сглаживает. Тут скорее другое: он не знает, как назвать то, что обнаружилось в России на место воображаемого идеального труженика. На парижского «безземельного

пролетария» это не похоже. Вроде бы что-то и земное, и родное, но — странное! Вроде бы вдохновенное, а — бредит.

Вот он перед нами, финальный персонаж лесковской драмы, герой последней публицистической работы Лескова, «вдохновенный бродяга». Кто его с земли гонит? Никто. Сам бежит. Хочется стать счастливым «как-нибудь сразу», да вот кругом все мешают. Дома заимодавцы требуют расчета, и куда ни сбеги — все совращают, соблазняют, с толку сбивают. Он «невиноватый», этот герой, а виноваты враги. Он не промах, да вот все хотят его обмануть. А он доверчив, хотя, конечно, плут. Он ворует, но душа его чиста. Он удалец, но его на каждом шагу подводят, не дают развернуться. Он, что называемся, «тертый калач», но он — «несчастливый». К тому же, он патриот, хотя и дает себя соблазнить, споить и окрутить всяким зарубежным ловцам душ. Ничего, зато он презирает свои несчастья. Из огней, вод и медных труб выходит чистеньким. Младенческая душа.

Нет, т а к о г о удивительного типа не найдешь не только в «пролетарском Париже», но и в родном отечестве, как описано оно русской классикой до Лескова. Это что-то такое, чего не знали ни Толстой, ни Достоевский, ни Салтыков-Щедрин, ни Глеб Успенский. Формулы для этого типа нет, да Лесков и не «теоретик», чтобы искать формулу. Он ощупывает реальность, пробует почву. Надстройками он не обманывается.

Есть, правда, убийственная связь между тем и этим, между почвой и надстройками. Есть роковая для России взаимозависимость между добровольным люмпенством снизу и произволом власти сверху. Это — поразительное открытие Лескова: проходимец, набравший денег в долг, облапошивший своих любезных соотчичей и, стало быть, за их счет проехавшийся по полумир у , — он ведь в чем кровно заинтересован? В демократии? Отнюдь. Он заинтересован в том, чтобы начальство было т и р а н с к и м , оголтелым, неподзаконным. Только т а к о е начальство может «простить» плуту его плутовство и оградить от гнева сограждан. Так что не ждите демократии. И не спрашивайте, отчего в России власть свирепая и закон что д ы ш л о , — зрите в корень.

Лесков в корень и зрит. И видит такое, что ни в какую «теорию» не влезает. Отсюда — драма его как публициста. Художник обживает «объемы», а публицист ведет линию. Художник пишет «Левшу», в подвигах которого можно углядеть столько же смысла, сколько и бессмыслицы, так что и за сто лет никак мы не решим, надо ли было ковать английскую блоху так, что она плясать перестала, однако самою магией образа мы любуемся, художественным объемом заворожены. А публицист пишет «Вдохновенных бродяг», он бьется над тем, как пристроить к делу этих завораживающих

умельцев. Герои Лескова — люди вдохновенные, очарованные, загадочные, опьяненные, отуманенные, безумные, хотя по внутренней самооценке всегда «невиноватые», всегда — праведники.

Да сам-то он трезв. Сам-то он — человек долга, остро чувствующий вину, склонный брать ее на себя. Сам-то он — здравомыслящ. Они расточители, он собиратель. Здесь драма Лескова. Драма писателя, давшего нам гениальный срез русской «почвы». Драма публициста, всю жизнь бившегося над тем, как эту «почву» поднять.

Есть ли нужда специально оценивать его мастерство? Многообразие публицистических жанровых моделей, тонкость письма, напор и гибкость мысли, виртуозность интонации, соединяющей иронию и пафос? Может быть, и надо, потому что Лесков-публицист, что называется, не проработан литературоведами и читателю не подан. Тем более по сравнению с беллетристическими текстами Лескова — здесь куда больше следов журнальной спешки, и есть явные длинноты, и чувствуется, что не шлифовались статьи для переизданий. Беря их из тогдашней прессы, как есть, мы, конечно, должны сделать мысленно и поправки, и скидки. Но сделав их, мы получаем филигрань: настоящую лесковскую словесную филигрань. И тогда Лесков-публицист встает рядом с Лесковым-художником, е щ е р а з подтверждая его виртуозность.

А все-таки уникальность лесковских статей в другом, и драма, в них запечатленная, не повторяет ни «Левши», ни «Соборян», ни «Запечатленного ангела». Это драма мысли, зарывающейся в почву.

Да, Лесков не из тех публицистов, что выдвигают новые идеи, строят новые системы и доводят теории до логического конца. Его воззрения легко уложить в общепринятую модель: либерал, просветитель, постепеновец, реформатор, демократ — все вполне типично для русской интеллигенции, сформировавшейся на послекрымской общественной волне. Но Лесков знает такие пласты реальности, которые другим мало ведомы. В его публицистике общепринятая система взглядов соприкасается с этими пластами, испытывая на прочность и их, и себя. Лесков исследует потаенные недра русской действительности, он пытается их понять, он действительно дает знать в «страну гласных» из «страны безвестных» — и он говорит обо всем этом трудное, небесспорное — ч е с т н о е с л о в о.

Он мало кому угодил при жизни. Современники не оценили в Лескове публициста.

Мы можем оценить.

Л. Аннинский

ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК
(1860—1861)

О РАБОЧЕМ КЛАССЕ

Чудище обло, огромно, стозевно и лаяй.
Тредьяковский

В июньской книге «Библиотеки для чтения» за 1860 год помещена статья Г. Ф. Тернера [1] «О рабочем классе». Статья эта особенно остановила наше внимание на сведениях, извлеченных автором из труда К. С. Веселовского [2], напечатанного в издании Русского Географического Общества, в 1848 году.

Заимствуем из сочинения Веселовского те данные, которые представляют нам много интереса со стороны гигиенических условий жизни нашего рабочего класса: «В 1841 году, при общем осмотре 1077 различных заведений, в которых помещалось 22 869 человек чернорабочих, признано было удобных 411, посредственных 428, дурных 185, совершенно неудобных 53 помещения. Вообще квартиры чернорабочих большею частию бывают в подвалах темных и сырых, в которых нет ни двойных рам, ни форточек; в некоторых даже не устроено печей, а в зимнее время воздух нагревается только от скопления живущих. Чтобы дать понятие о тесноте этих помещений, довольно сказать, что в комнате, длиною и шириною по 8 аршин и высотою в 3 аршина (значит емкостью в 192 кубичес-ких] аршина), помещается иногда до 20 человек, значит, полагается до $9^1/_2$ кубич[еских] аршин на каждого, тогда как известно из опыта, что для здорового и удобного жилища должно полагать на каждого человека от 80 до 110 кубич[еских] аршин. Теснота увеличивается еще более в летнее время, когда, с приходом рабочих из деревень, подрядчики удваивают и даже утраивают число наемных

людей без расширения для них помещения. Неопрятность в некоторых из этих квартир доходит до такой степени, что отхожие места не отделены в них от жилых. Приведем одно из нескольких наблюдений, почерпнутых автором из достоверных источников: «В С.П.Б., в 3-й Адмиралтейской части, в доме N, в квартире, нанимаемой подрядчиком М. для чернорабочих, зимою найдено 17 человек, а летом это число увеличивается до 40, тогда как и для 17 нет достаточного места; квартира очень сыра, а неопрятность ее доходит до того, что в сенях без всякого отделения — отхожие места; там же выливают всякую нечистоту. Некоторые квартиры в доме В., в той же части, содержатся чрезвычайно дурно; зимою в них нет двойных рам; отопление дурное и, сколько можно было заметить, комнаты нагреваются одним дыханием людей, чрез это сырость не только в окошках, но и на стенах; форточек для очищения воздуха вовсе нет, неопрятность в некоторых квартирах превышает вероятие, внутри двора во всех этажах стекла разбиты, в некоторых окошках вовсе нет рам; отхожие места и помойные ямы устроены внутри жилья; они обложены были досками, которые теперь совершенно развалились, и вся нечистота открыта так, что когда сливают в 5-м этаже, то вся нечистота протекает снаружи чрез все нижние этажи и даже по коридору. Чрез это происходит смрад невыносимый». — Довольно выписок. Перед ними бледнеют вертепы, описанные в Mystères de Paris и Mystères de Londres *. Скажем только, что описания эти относятся к сороковым годам; но, говоря словами г. Тернера, «не смотря на то, они сохранили еще полное значение и полный интерес, ибо хотя Правительство обратило свою заботливость на улучшение положения рабочего класса в столице, но эти меры не были в состоянии произвести основательное изменение в его положении, и в настоящее время можно еще встретить немало подобных темных картин домашней жизни нашего бедного работника».

Рамка специальной медицинской газеты не дозволяет нам делать более выдержек из прекрасной экономической статьи г. Тернера, и мы отсылаем всех тех, кого интересует

---

* Тайны Парижа, тайны Лондона (*фр.*). — *Сост.*

быт 120 000 человек рабочего класса в Петербурге, к этой полной интереса статье.

Если, по выражению одного писателя, воображение воспламеняется и слова льются при виде роскоши, вкуса и богатства в убранстве чертогов, то и зрелище нищеты, хотя и не возбуждающее приятных поэтических мечтаний, а напротив, часто сжимающее сердце и наполняющее его немою грустью, имеет также свою полезную сторону. Оно знакомит нас с бытом наших меньших братий, возбуждает к ним участие и дает возможность подать им руку помощи вовремя и кстати.

Эта возможность подать руку помощи вовремя и кстати может быть достигнута только при совершенном знакомстве с положением рабочего класса, а таким знакомством мы решительно не можем похвалиться. Русская литература чрезвычайно бедна наблюдениями этого рода, и большинство собранных сведений, без всякого спора, принадлежит деятелям политико-экономической науки, которые, собирая материалы для изыскания средств к развитию народного богатства, оказали важную услугу науке о народном здоровье, указывая на многие гигиенические язвы общественной жизни. Все эти сведения отрывисты и не всеобщи; они обнимают собою только небольшое число местностей и не проникают в глубь всего вреда, который терпит народное счастие от нарушения гигиенических условий обществом. Мы слишком далеки от всякой мысли упрекнуть в этом людей, работающих на политико-экономическом поприще. Боже сохрани! Напротив, мы благоговеем перед добросовестностью их труда и преклоняемся пред солидными выводами этой науки; мы только хотим сказать, что в деле гигиенических изысканий врачи могли бы составить сведения гораздо большие и гораздо обширнейшие, чем те, которые добыты политико-экономами. Кроме Петербурга, мы почти не знаем, как живут рабочие в других городах нашего государства, а у нас, кроме Петербурга, немного менее 400 тысяч жителей в Москве, 1000 т. в Одессе; семь городов с населением от 100 000 до 50 000 жителей и восемнадцать от 50 000 до 25 000 жителей. Все остальные города, числом 650, имеют каждый население менее 25 000 жителей. И как в каждом из этих городов живет бедный рабочий класс, способствуя увеличению процента смертности, — мы решительно не знаем. Между тем в каждом городе много этого бедного класса и весь он живет в самых невыгодных усло-

виях, и условия эти в каждой местности имеют свои особенные печальные оттенки и причиняют человечеству свой особенный вид вреда. Со всем этим не могут быть незнакомы врачи, впадающие в столкновение с разными слоями общества ближе и короче, нежели чрезвычайно малое число представителей юной политико-экономической науки. А между тем политико-экономы гораздо более разработали это поле. Литературная бездеятельность медицинского сословия в деле разоблачения общественных язв очевидна; страницы медицинских журналов почти свободны от гигиенических наблюдений. Мы ждем всего от Правительства, а ничего не хотим делать сами. Мы считаем пустым и бесполезным делом сообщение наших наблюдений, упуская из виду, что всякое открытие зла есть уже шаг к искоренению этого самого зла. И того более: есть лица, принадлежащие к так называемому образованному сословию, которые считают несовместным с своим достоинством высказать близкое знакомство с тем, что отвратительно на взгляд и скверно воняет. Оберегая свою эстетику, они оставляют бедный народ безгласно страдать и нюхать эту вонь. Пора бы нам освободиться от того табунного свойства, по которому люди без всякого желания делают все то, что делают все, и, в силу некоторых авторитетов, считают безмолвие добродетелью. Пора нам отвыкнуть от мысли, что предметом литературы должно быть что-нибудь особенное, а не то, что всегда перед глазами и отчего мы все страдаем, прямо или косвенно. Сбросив вековой хлам предубеждений, мы ощутим себя близкими к жизни наших меньших братий и сумеем помочь им вовремя и кстати, обнаруживая противящиеся гигиене стороны общественной жизни. Ряд таких наблюдений укажет людям, занятым разработкой вопроса о народной гигиене: чего должно избегать, чего бояться? Где такое или другое положение влечет за собою то или другое вредное для общественного здоровья следствие? Какие результаты в гигиеническом отношении оказывает питание «постною» пищей, постоянно или временно? Содействуют ли возобновлению в человеке рабочих сил те 100 праздничных дней в году, в которые русский человек считает предосудительным не освободить себя от всяких безвредных занятий? Имеют ли праздничные оргии рабочего класса вредное влияние на народное здоровье, чем, в каком виде и в какой мере? Сколько встречается в медицинской практике болезней, происшедших от побоев

и разного рода насилий, произведенных камрадами после дружеских возлияний и иными персонажами, вследствие неправомерного преобладания одного сословия над другим, и т. д. Все это чрезвычайно важно и чрезвычайно необходимо для успешного решения вопроса: «каким образом следует изменить законы и правила общественной гигиены?» Без этих данных составители гигиенических законов снова рискуют впасть в логические отвлечения, поставив обязательным веровать в их непогрешимость. Успех в этом деле будет возможен только тогда, если наши врачи, которым жилище рабочего народа и образ его жизни знакомы более, нежели провинциальных львов и аристократии, станут сообщать органам науки ряд своих наблюдений по этому предмету. Наука ничего не ждет от поклонников тьмы, этих китайских европейцев, которые горды как лорды своею способностью пугать человечество несостоятельностью молодого направления; она ждет всего от людей, которые не спешат протягивать свою лапу к львиной доле, не бросив ни одной лепты своего труда в сокровищницу науки, напоившей их знанием.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОЛИЦЕЙСКИХ ВРАЧАХ В РОССИИ

Это уж так самим Богом устроено и волтерианцы напрасно против этого восстают.
Гоголь (из комедии «Ревизор»)

Говоря о полицейских врачах русского царства, мы будем говорить о врачах, известных у нас под названием «городовых и уездных». Посвятим несколько слов определению быта и значения этих медицинских чиновников, достойных тщательного и глубокого изучения. Городовой и уездный врач, как зоологический человек, нуждается в пище, питии, крове, одежде и во многом другом, из предметов первой потребности. Кроме того, он иногда бывает отцом семейства. Для удовлетворения всех его нужд и всех нужд членов его семьи, если ему посчастливилось обзавестись ею, казна определяет ему 200 рублей серебром годового содержания, которым многие из них не пользуются, оставляя его управским * милостивцам. Практика — удел весьма немногих из этих врачей, а в больших

* То есть чиновникам Врачебной Управы. — *Сост.*

городах она вовсе не выпадает на их долю, потому что общество, не без основания, не верит их знаниям и не обращается к их помощи везде, где есть возможность найти другого врача. А как такая возможность увеличивается параллельно численности обитаемого места, то очевидно, что чем люднее город, в котором сидит данный городовой врач, тем более он должен страдать от конкуренции в медицинской практике, тем менее для него шансов к врачебному заработку. Стало быть, в больших городах, особенно университетских, где практикуют многие профессора медицинского факультета и где, кроме того, есть множество молодых врачей, очень падких на практику, положение городовых врачей должно быть несравненно хуже положения их собратий, живущих в уездных и небольших губернских г о р о д а х, — особенно если примем во внимание, что все Врачебные Управы — родные сестры, и что кодекс их положений хотя скверно скроен, но крепко сшит, так что ни один дерзкий не может идти против определенной им дани. Но, несмотря на это, на деле выходит, что чем более, многолюднее и развитее в коммерческом отношении город, тем богаче его городовой врач, тем равнодушнее он к практике и нередко смотрит на нее с совершенным презрением.

. . . .

Мы обойдемся без примеров, надеясь, что читатели наши не нуждаются в доказательствах сказанного положения. Чем же живут, как богатеют почтеннейшие городовые и уездные врачи? Этого бы не решили народы Запада, величаемого у нас «гнилою язвою» и «душевредным куколем», но мы, толстоносые скифы, можем отвечать на него. Только одни мы можем знать и верить, что таинственная рука, питающая городовых и уездных врачей, есть в з я т к а, в з я т к а и в з я т к а. Исключения весьма редки и в известной мере возможны только для некоторых уездных и очень небольшой части городовых врачей маленьких городов; всем остальным городовым врачам, кроме взятки, жить нечем, и мы вызываем их доказать нам противное. Если всякая взятка чиновника непозволительна в глазах человека развитого, то взятка, без которой городовым и уездным врачам нельзя жить, взятка cum eximia laude * и вовсе не может быть терпима. Чиновник, берущий взятку, иногда обманывает свою совесть

* Для вещей славы (*лат.*). — *Сост.*

тем, что эта взятка — безгрешная благодарность, что она взята только за ускорение дела, и привычная совесть спит под пошлый лепет этой песни, сочиненной чернильным воображением. Но городовой и уездный врач не может ничем извинить свою взятку, она есть всегдашнее вымогательство или подкуп на зло, на обман, на подлог. Разделим известные нам взятки городовых и уездных врачей, или, как они говорят, их «средства к жизни» на два отдела, на которые они делятся по своему существу, то есть на взятки определенные, текущие, и взятки экстренные, и взглянем: за что они берутся, в каком размере и какое количество благодати поставляют для берущих; причем возьмем в расчет какой-нибудь идеальный город с 75 тысячами жителей и заметим, что во взятом нами городе ни торговле, ни промышленности, по штату, не положено процветать. Допустив, что в этом городе 4 житных базара, 6 кондитерских, до 40 булочных, 2 временные ярмарки, до 300 лавок и магазинов, в которых продается мука, крупа, соль, сало, рыба разных видов и наименований и проч., съестные припасы и виноградные вина, около 60 мясных лавок, до 200 публичных женщин, известных полиции и записанных в разряде, и половина такого же числа торгующих своею добродетелью с ведома городовых врачей и полиции, без записи в разряд безнравственных, — мы будем иметь перед собою семь статей постоянных текущих доходов городовых врачей, коих там, положим, два. Эти семь статей дают постоянно такой доход: 1) 4 житных базара, по 3 руб. с рундука, полагая по 40 рундуков на каждом, с 160 рундуков, — всего 480 руб. серебра.

2) 6 кондитерских, по 50 руб. с каждой, — 300 руб. 3) 40 булочных, по 10 руб. с каждой, — 400 руб. 4) Две ярмарки огулом 2000 руб. 5) 200 лавок и магазинов со съестными припасами и виноградными винами, по 10 руб. с каждого номера, — 3000 руб. серебром. 6) 60 мясных лавок, по 25 руб. с каждой, — 1500 руб. и 7) 200 публичных женщин, записанных в разряд безнравственных и живущих в общих домах, каждый содержатель коих платит по 10 руб. в месяц с «заведения», а их во всех частях города 20 заведений, то общий итог дохода с этой статьи выйдет 2500 руб. серебром. Кроме того, в городе есть еще 100 безнравственных женщин, подразделяющихся на две категории; одна из них состоит из камелий, известных полиции и платящих городовому врачу по 3 руб. в месяц с персоны, а другая — суть персоны, не записан-

ные в полицейском адрес-календаре и платящие врачебную пошлину по обоюдному согласию с городовым врачом, не возбраняющим им «практики» и не тревожащим их своим осмотром. Общий доход со всех женщин, обративших непотребство в ремесло, должен составлять в этом городе около 5000 руб. серебром в год. Таким образом, весь текущий годовой побор будет равняться 12 680 руб. серебром текущего валового дохода, а за отчислением 20 процентов в пользу влиятельных лиц медицинской и гражданской части, то есть 3170 руб., составит чистого дохода 9510 руб., т. е. по 4255 руб. на брата. Эти доходы достаются только за невмешательство и освобождение от притеснений, совершаемых в силу прав, присвоенных должности; тогда как все экстренные взятки, определить которых нет никакой возможности, но которые тоже составляют значительную цифру, немыслимы без продажи правды и истины. Такие доходы суть: акты осмотров, составляющие чувствительную статью в стране, где много праздников, проводимых в пьянстве и драках, судебно-медицинские вскрытия, привоз несвежих и подозрительных продуктов, перегон скота и наконец рекрутские наборы, когда таковые случаются на слезы человечества и на радость городовых и уездных врачей, обыкновенно попадающих по распоряжению Врачебных Управ в члены Рекрутских Присутствий. Нельзя же иначе — «свой своему поневоле друг». Постоянные доходы городовых врачей в меньших городах уменьшаются пропорционально численности населения. У уездных врачей они идут гораздо сложнее, там они берутся «коллегиально» с временным отделением, в котором иногда пишут нечто вроде известной резолюции: «мертвое тело приобщить к делу». Во всяком случае мы видим, что городовые и уездные врачи, неизвестные в науке никакими трудами и не заботящиеся нимало следить за современным ее развитием, получают несравненно более средств к жизни, нежели многие университетские профессора, служащие двигателями науки. Это не новость, и мы не стали бы говорить обо всем этом из желания устыдить и исправить городовых и уездных врачей — они что ваш Добчинский и Бобчинский, им даже может быть приятно, чтобы о них поговорили. Мы, выставляя на вид незаконный способ существования городовых и уездных врачей, столько же преисполнены негодования к их недостойному нашего века способу жизни, сколько протестуем против равнодушия тех, кто, зная невозможность существовать на 200 руб.

годового содержания, не задает себе даже вопроса, чем поддерживается их существование. Однако поднятие такого вопроса убедило бы Правительство, что в теперешнем положении наших городовых и уездных врачей взятки есть conditio sine qua non *, а дойдя до этого убеждения, как же равнодушествовать к этому делу? Мы хотели сказать, что медицинское управление наше настоятельно требует радикальной реформы, что ему не помогут никакие реставрации, никакие односторонние поправки. Мы надеемся быть только справедливыми, сказав, что пока лица, занимающие места городовых и уездных врачей, не будут получать за свою службу вознаграждения, соответственного главным современным потребностям врача как члена общества, до тех пор нельзя ожидать, чтобы городовые и уездные врачи перестали считать свои взятки законными спутниками их должности. Тогда только можно будет заместить эти должности людьми, которым можно дать имя человека, не унижая человечества, и от них требовать добросовестного ему служения. А до тех пор, пока мы остаемся с теперешними нашими городовыми и уездными врачами и содержание их не будет увеличено, не умрет ни медицинская взятка, ни крайне злостное невнимание ко всему тому, что не дает взятки, без которой нельзя пропитаться. До тех же пор мы будем читать безобразные и бессмысленные акты, вроде следующих: «Такой-то, от тяжких побоев, не видя глазами зрения, впал в беспамятство». Или «такой-то противузаконно застрелился, отчего ему от неизвестных причин приключилась смерть; а при освидетельствовании оказалось: зубы исторгнуты из своих влагалищ и находятся близ науличного окна; прочие челюсти как будто из головы вовсе изъяты и находятся на отверстии лба; верхний потолок, на второй половице, прострелен дырою, имея при действии своем напряжение на север, ибо комната эта имеет расположение при постройке на восток». Много, много есть подобных нелепиц, много за ними кроется зла, неправды и лихоимства. Пора бы и очень пора открыто поговорить, каким образом завести, вместо врачей-взяточников, просвещенных и добросовестных медиков, на недостаток которых теперь уже нельзя опираться. Одна беда — их годовой труд нельзя приобресть за такое ничтожное возмездие, которым обходятся теперешние горе-врачи, а этой-то беде нужно помочь во что бы то ни стало.

---

* Необходимое условие (*лат.*). — *Сост.*

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МЕСТАХ РАСПИВОЧНОЙ ПРОДАЖИ ХЛЕБНОГО ВИНА, ВОДОК, ПИВА И МЕДА

Не подлежит никакому сомнению, что большая или меньшая дороговизна многих произведений зависит от большего или меньшего участия лиц, состоящих посредниками между потребителем их и производителем. Посредниками этими бывают неизбежные, вызываемые силою обстоятельств и такие, без которых, по существу дела, можно бы обходиться, но которые делаются неизбежными при существовании в потребительном классе известных привычек и предубеждений. К разряду посредников этого последнего рода относятся содержатели трактирных заведений и ресторанов, продающие водку, пиво и мед по несоразмерно возвышенной цене. Горячее вино, водку, пиво и мед в обыкновенных питейных заведениях у нас пьет только низший, менее образованный класс народа, привыкший, вследствие исторических причин, пропивать иногда свой заработок в один раз и, пропивая его, кричать, целоваться, плакать и браниться, а иногда и драться с собутыльниками и друзьями. Остальной класс, потребляющий горячее вино, водку, пиво и мед, но не желающий, вследствие своего нравственного развития, участвовать в криках, лобзаниях и побоищах и избегающий даже близкого соприкосновения с этими сценами народного сердцеизлияния, должен искать возможности удовлетворять своим потребностям другими путями. Хлебное вино и водку он может купить или в питейном доме, или в питейной конторе, а пиво и мед также или в этих же самых местах, или в портерной лавке, или же, наконец, в дозволенном количестве, на заводе и после волен употреблять их дома по благоусмотрению. Как ни прост такой способ приобретения питей из тех монопольно-посредствующих рук, которые мы довременно должны считать первыми и даже непосредственными, однако и он не всегда доступен, частию вследствие некоторых общественных условий, частию вследствие недоразвитости отдельных личностей. Идти в наше откупное питейное заведение для того, чтобы выпить там водки, пива или меду, не всякому удобно, потому что войти туда противно, а пить там еще противнее. По той же самой причине не пойдет никто из более или менее облагонравленных людей в большинство портерных лавочек, двери которых украшены изображением бутылки,

брызжущей дугообразной струей красной влаги с подписью: «эко пиво». Мы, конечно, не имеем в виду тех людей, которые думают, что входом в питейное заведение они могут уронить свое человеческое достоинство или, по крайней мере, достоинство своего звания, общественного положения или форменного платья: но и людям, чуждым этих предрассудков, нельзя войти в эти места перелива откупных специй в желудки потребителей по тому омерзению, которое они внушают всякому человеку, маломальски очистившему свой вкус. Их вечно грязная обстановка внесет в его душу самое тяжелое, самое возмутительное впечатление. Здесь от никогда немытого пола до облитого свечным салом гвоздя, которым нечесаный, с оплывшими глазами подносчик выковыривает из посуды бумажную затычку и обтирает своею грязною, немытою дланью горлышко откупоренной посуды, — все посягает на оскорбление эстетической стороны человека. Не говоря уже о том, что, заходя в эти заведения, рискуешь натолкнуться на самые неприятные сцены, в которых, подчас, можешь быть поставлен в необходимость взять на себя роль страдательную. А купить для себя вина в питейной конторе, а пива на пивном заводе не всякий может, во-первых, потому что контора и заводы нередко слишком удалены от потребителей, а во-вторых, потому что питья там продаются в определенном количестве, на которое у многих не всегда есть достаточно денег. Остается еще один способ покупать пиво и водку в местах раздробительной продажи, посылая за ними прислугу или вообще людей, не стесняющихся входом в эти заведения; но многие из людей, не ходящих в кабаки и пивные, не имеют вовсе прислуги, а сторонних людей и негде и некогда иногда бывает искать, да и нужно чем-нибудь вознаградить их за этот труд; а это значительно увеличило бы расход мелкого потребителя. К тому же, чем обширнее город, тем более в нем таких людей, которые нуждаются в подкреплении себя рюмкою водки или бутылкою пива неподалеку от тех мест, где они занимаются делами своей профессии. И таких людей в больших городах чрезвычайно много, и все они потребляют пиво или хлебное вино вне своего дома и вне питейных заведений. Места, в которых все эти потребители пьют вино, водку, пиво или мед, суть многочисленные гостиницы, трактиры и рестораны, в которых за все эти продукты берут не втридорога, по русской пословице, а в десять дорогов, по мудреному экономическому расчету бог весть какой народ-

ности. Понятно и естественно, что всякие руки, чрез которые проходит товар, начиная от крупного торговца, приобретающего его от производителя, отмечают на товаре свое к нему прикосновение возвышением его ценности; но содержатели трактиров, гостиниц и ресторанов делают свое посредствующее прикосновение к дорогим и без того откупным продуктам до крайности ощутительным для потребителя. Ведро очищенной водки, продающееся в питейных заведениях по 10 рублей серебром, в трактирах продается по 40—60 рублей серебром. Правда, что мы не можем определить, на сколько совестливо производится рестор採раторами продажа водок и пива, потому что откупщики не отпускают им питей и по тем высоким ценам, по которым продают их обыкновенным смертным, а еще значительно увеличивают их цену и к тому же облагают самые заведения произвольным налогом за право продажи напитков, и потому мы не беремся утверждать, что напитки эти можно бы продавать в трактирах дешевле, чем они продаются; но не можем и не жалеть о том, что в наших городах нет таких заведений, где бы пристойные потребители водки или пива могли употреблять их по той цене, по какой они достаются потребителям, не заботящимся ни о какой пристойности. В недостатке этих заведений лежит корень зла, вследствие которого человек с малым достатком, но с некоторым развитием эстетического чувства у нас лишен возможности удовлетворить своей потребности в вине или пиве за ту цену, за которую удовлетворяет ее человек с относительно большими средствами, но более грубый, более неразборчивый в отношении своих требований. Плотник, штукатур или землекоп, получающий 15 руб. в месяц, квартиру и хозяйские харчи, может выпить в кабаке крючок очищенной водки за гривенник и за 12 коп. бутылку пива; а чиновник, учитель, бедный студент и всякий другой человек, числящийся в высшем слое общества, но снабженный средствами, скуднейшими заработками землекопа, платит за четверть крючка водки 15 коп., а за бутылку пива от 25 до 40 коп., потому только, что он пьет их в трактире. А в трактире они пьют, как мы уже сказали, потому, что в кабаке и пивной лавке противно пить, а с другой стороны потому, что если бы кто-нибудь из этих потребителей зашел в кабак и пивную лавочку, то такой поступок повлечет на него порицание от собратий и отчуждение членов той корпорации, с которой связаны его интересы, и, может быть, потерю существенных выгод, состав-

лявших цель его долголетних исканий. Как ни неосновательны, как ни странны некоторые общественные воззрения, но не все могут оказывать им свое равнодушие; а наше общество снисходительно назовет кутилой человека, которого сносят на руках с трактирной лестницы какого-нибудь блестящего отеля, но непременно заподозрит в склонности к пьянству человека, хотя бы и твердою поступью сходящего с крыльца кабака или пивной лавки. Людям, стоящим в материальной зависимости от такого общества, которое величает шалунами развратников, разрушающих под маской дружбы семейное счастье, и затворяет двери перед человеком, предпочтившим «оригиналы спискам», нечего прать против рожна. Говоря о негодности наших питейных заведений для разнообразных потребителей вина и пива, мы вовсе не имеем в виду упрекать их постоянных посетителей в том безобразии, которым сопровождаются их грубые оргии, — грубость этих людей не их собственная вина.

Существующие питейные заведения нечисты сами по себе, не годятся для нашего времени и должны быть заменены такими, которые бы удовлетворяли требованиям разнородных потребителей, не посягая на чрезмерное опустошение их карманов. В Москве и особенно в Петербурге уже встречаются такие заведения, и хотя они еще не пользуются такою популярностью, как пивные погреба Германии, где офицеры, солдаты, богатые и бедные, извозчики, торговки и порядочно одетые дамы сидят мирно за столиками и пьют свою кружку пива за $1^1/_2$ гроша, — но, однако, имеют довольно посетителей из различных слоев общества, и питье пива там обходится не только без ссор, драк и побранок, как в кабаках и пивных лавках, но в них не нужен бывает даже немецкий «Hummel» (дурацкий колокольчик), звонивший всякий раз в Швейдницком погребе, когда кто-нибудь из посетителей позволял себе какую-нибудь непристойность. Стало быть, у нас есть люди, которые хотят пить пиво дешево, не делая непристойностей, нарушающих общественное спокойствие, а отсюда очевидна и нужда в повсеместном учреждении благопристойных мест для продажи этого напитка. Но кроме нескольких чистых заведений этого рода в Москве и Петербурге, их не случается встречать ни в одном русском городе. Мы полагаем, что такие заведения не имели до сих пор места в других наших городах по следующим причинам: 1) Откупа, продающие водку, пиво и мед, заботятся,

чтобы народ более всего пил специальные водки, на которых темные барыши крупнее, нежели на других продуктах, каковы пиво и мед, и потому они варят пиво дурное, которое народ мало употребляет, хотя и очень любит этот здоровый и дешевый напиток. 2) О чистоте и удобстве питейных заведений откупа не прилагают никакого попечения, потому что главные потребители их товара суть не те люди, которые только пьют водку и пиво, но те, которые пьянствуют водкою и опохмеляются пивом: а это народ не разборчивый. Для этих бедных людей все равно, где бы ни напиться, и откуп, не имея конкуренции, не опасается чрез безобразие своих распивочных заведений потерять верных потребителей своих снадобий. 3) Пивных заводов, не принадлежащих откупам в России, очень мало и вырабатываемый на них продукт часто бывает ниже всякой посредственности, отчего и не имеет большого сбыта. 4) Преизбыток в городских обществах непроизводительных членов, мало знающих цену добытка и незнакомых с заботой о производительной затрате его, порождает более потребителей на дорогое виноградное вино и влечет их в модные рестораны, недоступные людям, живущим на счет своего личного труда. И наконец 5) превратное понятие о приличии, в силу которого выпить в меру и не в меру в каком-нибудь известном ресторане прилично, а выпить бутылку пива в скромном пивном погребе — неприлично, прививает людям чувство ложного стыда и устраняет мысль о возможности благопристойных питейных заведений, не требующих излишней переплаты за нужный продукт. Последняя причина едва ли не самая существенная, по крайней мере, она имеет самые ощутительные последствия. Так, например, в Киеве, где очень любят пиво, в этом году открыта на лучшей улице большая, прекрасная пивная зала, с мягкою мебелью, мраморными столами и чисто одетою прислугою, где пиво продается только одною копейкою на бутылку дороже обыкновенных пивных, но заведение это встретило много осуждений со стороны некоторых господ, утверждающих, что порядочному человеку неприлично пить пиво вместе со всеми. Долгое время только немцы, университетские студенты, некоторые профессора и молодежь, не носящая форменного платья, были исключительными посетителями этой залы. Остальные люди форменные были против нее, а если кто-нибудь из них и заходил в эту залу, то не чрез парадные двери, как все другие, а пролезал

иначе и не садился в зале, боясь смешаться с людьми, а жался особнячком в боковых комнатах. Эти господа входили и выходили из пивной залы чрез ворота дорогого английского отеля, вопия против наглости людей, открыто входящих на ее крыльцо. Но глас их оставался гласом в пустыне. Число людей, заходящих в залу выпить бутылку пива за 13 коп., день ото дня увеличивалось, и, говорят, в городе скоро будет открыто другое такое заведение на Подоле. Желательно, чтобы для общей выгоды и в других городах появились такие заведения. Пусть в них пьют на здоровье хорошее и дешевое пиво, это далеко не так вредно, как пьянство в отвратительных кабаках и изящных трактирах, где не нужное потребителю изящество тяжело ложится на счет его кармана. За успех таких заведений можно смело ручаться. Их не убьют толки прелазящих инуде * везде, где найдутся люди, уверенные, что все невходящие дверьми суть тати и разбойники, которых не достоит слушать.

ВОПРОС ОБ ИСКОРЕНЕНИИ ПЬЯНСТВА В РАБОЧЕМ КЛАССЕ

Мужик год но пьет, два не пьет, а как
черт прорвет, так все пропьет.

Народная пословица

В числе девяти вопросов, решением которых в 1858 году занимался гигиенический конгресс в Дании, был рассматриваем вопрос о том: каким образом воспрепятствовать излишнему употреблению водки в простом классе народа? К крайнему прискорбию, мы не имеем сколько-нибудь верных сведений о мерах, придуманных 534 членами этого конгресса против пьянства, а между тем всякая мысль, высказанная по этому поводу, дорога истории человечества и в России стоит наряду с первыми очередными вопросами. Ни мор, ни глад, ни огнь и меч двунадесяти язык не ознаменовали так своих губительных нашествий на нашу отчизну, как укоренившийся у нас страшный порок пьянства — буйного, дикого, отвратительного и иногда обессмысливающего наше чернорабочее сословие. Что делать с этой страшной язвой нашего народа? Где рожон против

* Инуде — в другое место. — *Сост.*

этого губительного зла? Наши благонамеренные адепты откупной системы долго уверяли нас, что только одна эта система удерживает народ от пьянства и что без нее он совсем разопьется, а сами, движимые христианской любовью к народу, занимались разведением воды вином. Закон поставляет некоторые ограничения, при которых напитки делаются менее доступными народу и особенно бедному классу, а народ, преимущественно бедный, все преуспевает в пьянстве — то с горя, то с радости, то по божьему попущению, то по бесовскому наваждению. Стало быть, все меры, возвышающие цену этого продукта и ограничивающие число мест его продажи, нимало не искореняют в народе злоупотребления спиртными напитками. Напротив, высокая цена хлебного вина в некоторой степени сама доводит народ до неумеренности, ибо известно, что человек, не имеющий возможности капитализировать свой заработок, делается равнодушным к сохранению своих добытков, а все остающееся за удовлетворением первых своих потребностей употребляет на удовлетворение своим порочным желаниям. Нужно искоренить наклонность рабочего класса к пьянству, а не домогаться воспрепятствовать излишнему употреблению водки, как выразился скандинавский гигиенический конгресс.

Мы полагаем, что ни один конгресс в мире не придумает никаких рациональных мер, которые бы воспрепятствовали излишнему употреблению водки, пока народ не уверует в гибельные для него последствия пьянства. Хороший пьяница перескачет все препятствия и (как говорят) украдет и достанет денег на то, чтобы напиться до чертиков. Запрещения и препятствия ни к чему не ведут, кроме злоупотреблений запретительными правилами. Запретите излишек в пище, достигнете ли вы успеха? Нет и тысячу раз нет. Как же надеяться препятствиями отучить народ от пьянства, когда и оно может совершаться так же незримо для запретительного надзора, как обжорство, тем более что некоторыми лицами, особенно подверженными искушениям исконного врага человеческого рода, эти возлияния производятся с подобающим секретом и смирением? Предполагать успех охранительных мер значило бы предполагать неисполнимое. Итак: как ни велико и ни возмутительно зло, причиняемое пьянством, но все-таки бесполезно стремиться противодействовать ему изданием охранитель-

ных правил, и ничего не сделают с этой постыдной страстью никакие конгрессы, кроме тех, которые будут иметь неиллюзорное намерение просветить массы от одержащего их невежества и освободить их волю от кабалы у черта, имеющего в глазах нашего простолюдина неограниченную власть на подвинутие его ко всему недоброму. Недавний пример отрезвления жмудского земледельческого класса[1] лучше всего доказывает справедливость этого положения.

Врачам, телесным и гигиеническим комитетам нечего делать с пьянством народа, и остается только запасать в госпиталях к каждому празднику более кроватей для поступающих с delirium tremens *. В деле искоренения пьянства, по нашему убеждению, всего приличнее обратиться к другим врачам и к другим аптекам. Нужно пролить в массы свет разумения, нужно очистить их вкусы, нужно указать им другие наслаждения, вне кабачной атмосферы, и уронить в их понятиях сотрудничество черта в деятельности Ив. Ив. Елкина; а все это достигается только образованием масс и допущением их к участию в эстетических наслаждениях. Воскресные школы, народные театры, клубы, лектории и примеры воздержности — вот источники отрезвления рабочего класса, и мы не знаем, как не видел этого скандинавский конгресс. Здесь только нужно действовать с любовью и энергией. Смерть не ждет, и жизнь не должна ждать.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИЩУЩИХ КОММЕРЧЕСКИХ МЕСТ В РОССИИ

Некоторые правительственные реформы, по сокращению штатов в гражданской и военной службе в последнее время, оставили без занятий таких людей, которые обрекали себя на пожизненное чиновное служение; а обличительная литература, влияя по возможности на натуры, доступные голосу совести и чести, становилась страшилищем для многих соискателей служебного самовозна-

* Белая горячка (*лат.*). — *Сост.*

граждения и, мало-помалу, убедила многих в необходимости приложить свои силы к другому труду. Все это повело к тому, что в рядах соискателей частной службы, в самое короткое время, появилось очень много по преимуществу молодых людей, из которых одни волею или неволею оставили государственную службу, а другие, только приготовясь к ней, сознали необходимость избрать себе вместо ее другую дорогу. Все эти люди, вследствие прежнего взгляда на воспитание, были лишены всякой полезной специальности, и потому не могли заняться никаким самостоятельным делом, требующим известных познаний и известного вещественного капитала, которого также почти ни у кого из них не было. Учиться ремеслам было поздно и по многим причинам невозможно. Оставалось обратиться к таким занятиям, которые, в пору доброго старого времени, русский человек делал так, зря, самоучкою, а чаще и вовсе ничему не учась и ничего не зная. В кругу таких занятий более других привлекали к себе места управляющих помещичьими населенными имениями, над разорением которых спокон века трудились и заграничные недоучки, выдававшие себя у нас за энциклопедистов, и доморощенные наши аферисты. Но мест этих, конечно, далеко не достало на всех конкурентов данного района; а между тем число ищущих мест день ото дня увеличивалось, а с ним возрастали и нужды и скорби конкурентов, и разборчивость их в выборе занятий переходила в безразличие. Воспитанные при условиях, неблагоприятствующих телесному развитию, люди эти не могли обратиться ни к какому физическому труду. С одной стороны, он был им не по силам и по скудости задельной платы не удовлетворял потребностям, сделавшимся их необходимостью; а с другой — каждый из них ощущал в себе столько знаний и способностей к несению труда более ценного, труда, который исполняли люди, лишенные всяких, нужных для него познаний, и пользовались вознаграждением, доставляющим целому семейству относительное благосостояние. Я говорю о службе по торговым и промышленным делам, известной у нас под общим именем службы коммерческой. К хозяевам таких дел обратились люди, нуждавшиеся в работе, но едва ли и один процент их сыскал себе дело у отечественных коммерсантов. Причина этой неудачи заключалась, во-первых, в том, что значительная и притом самая оборотливая часть наших торговцев — иностранцы,

у которых вся корреспонденция и книговедение идут на иностранных языках, с которыми большинство ищущих службы людей оказалось или совершенно незнакомым или знакомым до такой степени слабо, что знание их никуда не годилось и потому служба у иностранцев делалась невозможною для русских. Русское же купечество не протянуло руки соотчичам, искавшим работы, и как бы в один голос отвечало дворянчикам: «нет-с, нам не требуется; у нас своих много-с». Поводом к таким ответам было не то, чтобы русскому купечеству действительно не требовались люди; напротив, люди ему постоянно нужны, но люди не того разбора, какие являлись с предложением своего труда, вследствие сокращения штатов государственной службы. Нужны были люди малограмотные и стоящие на одинаковой степени образования с хозяевами, к которым они являлись просить работы и платы; люди, прошедшие степени мальчиков и молодцев и за прилавком изучившие необходимость слепого признания хозяйского авторитета и собственного бесправия. А дворянчики, искавшие мест, представляли в глазах хозяев следующие неудобства:

1) многие из них, — а по понятиям, составленным большинством русских торговцев, — даже все они, вовсе не способны ни к какому делу, кроме того, чтобы крючки гнуть или плечами трясти;

2) что у них много фанаберии и хозяин не жди от них почета, и

3) что «всякий Гришутка и Мишутка для нас как-то сподручнее».

Вот принципы, руководствуясь которыми, русское купечество отказывало и отказывает разночинной русской молодежи в работе и куске хлеба, в то самое время, когда торгующие в России иностранцы стараются заместить у себя на службе своих земляков.

В таком положении застало соискателей коммерческой службы учреждение в нашем государстве разнородных акционерных обществ и компаний. При открытии каждой из них рассеянные по лицу земли русской люди без дела стремились к ним с предложением своих услуг, кто письменно, а кто был понеосторожнее, собрав последние средства, тянулся с одного конца России на другой, и лично предлагал свои услуги, и лично же имел удовольствие выслушивать всегдашние постоянные отказы. Я думаю, излишне говорить о том, как много из этих

несчастных соискателей ошиблись в своих расчетах. В Петербурге, Москве и Одессе, не далее как нынешним летом, можно было встретить сотни таких людей, прибывших из разных углов России раздобыться какою-нибудь службою в акционерных обществах. Но надежды их почти всегда были тщетны. В одних русских обществах принимали на службу только одних иностранцев; в других — людей известных фамилий и с известными чинами; в третьих — места раздавались по протекциям. Словом, везде были нужны побочные рычаги для того, чтобы добыть себе работу. Смышленой головы и здоровых рук было мало для того, чтобы найти себе место. Приемное испытание, мера самая рациональная, не имела места почти ни в одном акционерном обществе, и в отсутствии-то этой меры, конечно, лежит причина переполнения многих акционерных обществ людьми бесполезными, неспособными и обременяющими акционеров получением невыслуженной пенсии, тогда как множество способных и даровитых людей погибают без дела и с немым отчаянием смотрят на свою исчезающую в безделье молодость. Положение их нередко бывает ужасно. Я не могу не вспомнить двух молодых людей, которые весною этого года пришли в Одессу искать коммерческой службы; долго они искали ее и сами, и чрез факторов *, до тех пор, пока проели последние сюртуки и стало не в чем ходить за отысканием мест. Я встретил их в числе работников, которые переносили на пристань апельсины... А один из этих молодых людей был кандидат К. университета, человек с большими дарованиями и прекрасным направлением. Обоим им, кто-то что-то обещал в будущем — бог весть, сдержал ли он свое слово, а я так и оставил их между носильщиками, которые подтрунивали над слабосилием у ч е н ы х **. Но возвратимся к нашему предмету. Мы уже сказали, что с тех пор, как разночинная молодежь русская стала мало-помалу отрешаться от чиномании и стремиться к труду производительному, обнаружилось, что предлагаемого этими людьми труда никому на святой Руси не нужно; иными

---

* Посредник (*лат.*). — *Сост.*

** Впоследствии я слышал, что один из этих молодых людей покончил расчет с жизнью с помощию утиральника. Дай бог, чтобы это было несправедливо. — *Авт.*

словами, что предложение труда русских людей превышает запрос его в России, стране непочатых работ и невозделанных богатств. Очевидно, что такое положение неестественно и ложно, но тем не менее оно существует и влечет за собою следующие последствия.

Устранение разночинцев от торговых дел и допущение к ним исключительно мещан и крестьян в одно и то же время лишает земледелие и домашнее хозяйство рук, приспособленных к нему с детства, в ущерб многостороннему хозяйству и оставляет без дела и без хлеба людей, которые могли бы быть полезными на коммерческом поприще, но которым не над чем хозяйничать дома, ибо у них часто нет никакого дома или дом их — вся мать сыра-земля. Способности же этих людей к торговле, за небольшим исключением, не могут быть ничтожнее способности Мишуток и Гришуток, а вряд ли подлежит сомнению, что только этим Мишуткам, в дальнейшем их развитии, обязана наша торговля настоящим плачевным ее состоянием. Продолжительное страдание соискателей торговой службы убивает их способности, гнетет, давит их, и наконец, многих из них, не обладающих геройским духом, доводит до пороков и преступлений и в то же время, лишая их возможности вести семейную жизнь, лишает государство, бедное народонаселением, приращения его. Наконец: несчастия разночинцев в приискании себе занятий в глазах невежд, имеющих места, служат доказательством, что ученым быть плохо и что, ничему не учась, можно жить в большем довольстве и счастии, чем с наукою. Отсюда равнодушие к науке и нередко невежественная насмешка над нею.

Все эти безотрадные явления созданы упорным убеждением наших торговцев в неспособности людей, не выросших за прилавком, к служению торговым делам и в стремлении правлений наших акционерных обществ обставиться иностранцами и людьми с весом и с протекциями (как будто вес и протекция служащих могут иметь значение в торговле)! Мы, конечно, не можем разделять всех этих стремлений и убеждений, и нам остается только скорбеть за тех, кто их питает, и за тех, кому приходится так тяжело терпеть от них. Мы далеки от всякой мысли утверждать, что вся разночинная

молодежь, ищущая коммерческой службы, готова и приспособлена к ней, но мы убеждены, что теперь часть ее действительно приспособлена к торговому делу, а остальные легко могут приспособиться к нему, ибо почти в каждом из людей этой страдальческой корпорации, грозящей стать зерном русского пролетариата, есть более научного образования и общежитейского развития, чем в тех приказчиках, которые дошли до своего звания пятилетним закликанием покупателей в хозяйскую лавку, и мы уверены, что приказчики из чиновников, офицеров и вообще из всех людей, которых приказчичий кружок, в каком-то озлоблении, зовет дворянчиками, скорее бы успели убедить общество, что в торговом сословии русском не должно видеть гнезда смешных и тривиальных сторон, жениха из ножевой линии, характеризующих теперешнего гостинодворца. Пусть сначала эти люди не могут быть употреблены к самостоятельной деятельности в больших торговых операциях, производимых за глазами хозяина, но размерить товар по фактуре, продать его по мете: «Португалия», заприметить требования публики да написать или дисконтировать вексель * — право, не велика премудрость и человеку, который чему-нибудь учился, мудрено быть неспособным к ней через несколько дней по прибытии в лавку. А ведь за такую службу у нас часто платят от 800 до 2000 рублей серебром в год. Ведь за эти деньги пойдет служить человек, которому покупатель не откажет в доверии, не вынуждая его ротитися ** и клятися на чем свет стоит. Что же касается до фанаберии и других неудобств найма дворянчиков со стороны их нравственной беспокойности, то — боже мой! — неужели же фарисейское низкопоклонство и лесть могут более нравиться в человеке, нежели его самоуважение? Неужели долго еще не переведутся на матушке Руси люди, которые верят, что образование учит не уважать в человеке человека и не разуметь в должной степени своей зависимости и долга? Грустно и повторять такие истины, и еще грустнее видеть, что русские торговцы избегают в выборе людей именно того самого, чего со всею тщательностию ищут в своих служащих торговцы английские и амери-

* Произвести учет векселя и процентов. — *Сост.*
** Божиться. — *Сост.*

канские. Не в этом ли лежит разгадка недолговечности наших торговых домов, тогда как родовые капиталы Англии целые столетия переходят из рода в род? Как кто хочет, а выбор людей — дело великое, и на Мишутках с Гришутками далеко не уедешь. Их век прошел, и благо тому, кто ранее поймет это. Европа движется к нам — мы движемся к Европе, и встреча наша потребует в торговом деле людей с образованием, а не Мишуток, которые никуда не годятся, несмотря на свои лакированные сапожки и циммермановские шляпы[1], которые они поднимают на отмах, с ловкостью полувоенного человека.

ТОРГОВАЯ КАБАЛА

Мальчик был он безответный:
Все молчал, молчал;
Все у ч и л его хозяин —
Да и доконал...........

А. Комаров

Грустное и тяжелое чувство налегает на сердце по прочтении заметки, помещенной в одном из московских периодических изданий, об угнетенном положении московских гостинодворских мальчиков и приказчиков. Это живо сохранившийся остаток кабального холопства древнекабальных времен нашего отечества. Варварское обхождение хозяев-гостинодворцев с приказчиками и особенно с мальчиками, отдаваемыми им в кабалу, под видом приучения торговому делу, мы думаем, ни для кого не новость; но странно, что оно до сих пор как-то ускользало от внимания прессы и тех лиц, которые нашли нужным учреждение контроля над содержанием учеников фабрикантами и ремесленниками. Мы, по несчастию, никогда не смели сомневаться в полной необходимости распространения такого контроля и на мальчиков, отданных купечеству для приучения торговому делу, но до сих пор не решались высказать об этом нашего мнения только потому, что боялись погрешить, считая известные нам факты жестокого обращения торговцев с мальчиками, отданными им на в ы у ч к у, общим мерилом отношений хозяев к вверяемым им детям. Теперь «Московский курьер» в 27 и 28 №№ этого года сообщает о быте московских гостинодворских мальчиков такие вещи, что, как мы сказали, сердце сжимается от ужаса и страха за эти

несчастные создания, выводимые в люди путем холода, голода, бесприютности и затрещин.

Коротко знакомые со взглядом русского купечества на людей, служащих его торговым делам, мы к несчастию лишены всякой возможности заподозрить заметку «Московского курьера» хотя в малейшем пристрастии преувеличения фактов. Напротив, мы вправе думать, что, в частности, существуют факты более грустные и возмутительные, чем те, которые взяты на выдержку автором заметки; но так или иначе, довольно того, что не нам одним известно ничем не оправдываемое жестокосердие иных хозяев в отношении к мальчикам и крайнее пренебрежение к их нуждам и цели, с которою они отданы в лавку родителями или вообще лицами, распоряжающимися младенческими годами детей, торчащих перед лавками и магазинами с целию закликания покупателей.

В этой школе ребенок не учится ничему полезному. Торговые соображения по выбытии им пяти лет у хозяина так же чужды его понятий, как неведомы ему понятия о чести, о долге, о нравственности. Развитие для него невозможно. Он кабальный холоп хозяина, лакей и помыкушка приказчика и «молодца». Им всякий орудует в свой черед, всякий требует от него услуг и слепого повиновения на свой лад. Мальчик ни у кого не может, т.е. не смеет, спросить объяснения ни одному жизненному явлению, на котором останавливается его детское внимание; он не имеет никогда в руках ни одной книги, доступной его детскому пониманию и способной хоть маломальски осветить его разум объяснением самых простых явлений в жизни природы и человека. Коснение — это неизбежный удел, и разве только одна гениальность может выбиться из этой среды, не одурев в кругу исполнения тех обязанностей, в которых пять или шесть лет остается торговый мальчик, пока наконец получит первый чин торговой иерархии, т.е. сделается «молодцом». И во все время службы до этого первого чина, чего не переносит несчастный ребенок! Бьет его хозяин, но это, впрочем, еще не велика беда, хозяин занят делом, так ему некогда бывает драться, разве иногда так «взвошит» с сердцев или под пьяную руку, а то «взвошивает» его приказчик, взвошивают подручные, один и другой, взвошивает и молодец, и все эти колотушки достаются как-то зверски, не в привилегированное место человеческого тела, а по голове да под «воздыхало». Спит мальчик кое-как, часто

на полу, и то мало, потому что ложится позднее всех приказчиков и молодцев, а встает раньше их; вставши, он должен перечистить им платье, обувь, приготовить самовар, сбегать за булками, а иногда еще за чем-нибудь для приказчика так, чтобы не сведал об этой закупке, и все это живо, скоро, иначе «взвошат» так, что небо покажется с овчинку. В течение целого дня мальчик не смеет садиться (это обычай, освященный временем и вошедший в силу закона); для отдыха от утомительного стояния, превосходившего трудность афонского бдения, мальчик посылается с одного конца города на другой «долги править» или разносить проданный товар, с секретною обязанностию занести иногда стянутый приказчиком из хозяйской лавки гостинец «матреске»[1]. Но да не подумает читатель, что поверенничество мальчика в сердечных делах приказчика смягчает сколько-нибудь их взаимные отношения... Ничуть не бывало, это так уж устроено, что приказчик, употребляя его в качестве фактора по «матресской» части, не допускает и мысли, что мальчик может его выдать, — да и мальчик действительно никогда не выдаст. Он знает, что отомсти он приказчику или молодцу за побои, которые они ему наносят «пур селапетан»[2], им ничего не будет, кроме потревожения памяти их покойной родительницы напоминанием о некоторой интимности с нею, а мальчика взвошит[3] хозяин, «зачем-де шельмец ходил», а потом уже пойдут взвошивать и тот, на кого сделан донос, и те, на кого таковые впредь учинены быть могут. А защита где? Нигде. Отец или опекун еще порадуются, что вот, мол, парня уму-разуму учат, да еще сами, пожалуй, набавят, не жалуйся, дескать, знай, что за одного битого двух небитых дают.

Такова-то вот жизнь, таково-то положение торгового мальчика у иного купца, доводящего его пятилетним взвошиванием до людей, т.е. до способности обезмыслиться и завернуться в узкую рамку аршинной жизни прасольства или лабазничества. И тянется эта страдальческая жизнь мальчика, пока наступит радостный день вступления его в сан «молодца», и прежнее начальство уговорит его закинуть первых щенят, т.е. пропить с компаниею первое жалованье, «во оставление сухомордия и в мочимордство вечное».

Со вступлением в сферу плутней и обмана, составляющих специальность молодца и приказчика, начинается новая, светлая полоса жизни мальчика. Изучая на-

дувательное искусство и прикладывая его на практике к хозяину, он наконец выходит в люди, заводит лавочку, делается хозяином, устроивает порядок в своей молодцовской, по образцу того загона, в котором сам вырос, и «взвошивает» тех, кого вверит ему родительское благоразумие для вывода в свою очередь в люди.

Не знаем мы, когда прорвется этот отвратительный круговорот опошления русского торгового люда, а думаем, что не скоро. Наверное можно сказать, что та генерация, которую теперь еще «взвошивают», ничего не даст хорошего, а она еще молода, ее век длинен, и кора ее умственного застоя так крепка, что ее не проймет никакая пропаганда. Дух религии и слова Христова — чужды ее понятиям. Люди эти ходят в храмы, но выносят оттуда воспоминание не о слове мира и любви, а об октавистых голосах, в подражание которым ревут дома долголетия и анафематства. От них нечего ждать, а между тем в силу обычного течения дел они выйдут в люди, т.е. откроют лавки и в свою очередь замордуют еще одно поколение.

Этому нужно положить бы конец, особенно теперь, при эманципации крестьян следовало бы русскому обществу подумать об улучшении положения торгового малолетнего люда.

О НАЕМНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Нанялся — продался.
Русская пословица

Если верить, что пословицы суть выражение народной мудрости, то нельзя по крайней мере распространять этого верования на все пословицы, живущие в народе. Есть между ними много таких, которые свидетельствуют о качествах совершенно противуположных мудрости и, конечно, относятся ко временам дикости нравов, стремления к порабощению и бесправию. К числу таких пословиц, без всякого сомнения, должно отнести ту, которую мы выставили вверху нашей статьи, ибо в понятии, ею выражаемом, лежит корень тех тяжелых отношений, в которые у нас поставлен труд к капиталу, работник к хозяину. Мы не знаем, когда сложилась эта безнравственная пословица, но знаем, что проповедываемому ею понятию суждено было пустить у нас глубокие корни,

войти в нашу плоть и кровь и устроить между наемщиком и нанимателем те фальшивые и тяжкие отношения, от которых новое поколение рабочих людей освободится мало-помалу. Ни в одной стране, где труд — свободное достояние человека, не думают, что нанялся — значит продался. Везде человек отдает только свой труд; а у нас он нанимается сам, он продает нанимателю не только свой определенный труд, но все свои мышцы, свое дыхание, свои убеждения и нередко даже свою честь. Словом, по настоящему смыслу приведенного изречения народной мудрости, он продается сам. Недостаток капитала, отсутствие предприимчивости и кредита и другие причины исторические всегда сохраняли у нас достаточное количество людей продающихся и, если не равнодушно, то, по крайней мере, терпеливо сносивших свое кабальное положение, вероятно, по убеждению, что улучшить его невозможно; что во всяком найме не минешь такого положения, что «нанялся — продался», себе уже не принадлежишь, стало быть, и стоять за себя не вправе. Чудовищными последствиями разродилось это дикое понятие в русской жизни и сделало для весьма многих мало-мальски развитых людей невозможным никакой труд по найму, ибо всякий наниматель, платя деньги за совершаемый в его пользу труд, считает себя вправе требовать, чтобы труженик смотрел на все его глазами, мыслил его понятиями, жил его верой, его убеждениями, что решительно невозможно, немыслимо для честного человека, могущего продать только один труд, а не совесть, не свободу, составляющие его непродажную собственность. Отсюда же, из этого же понятия о праве безответно располагать всем существом нанятого человека, произошла привычка требовать от него кстати всяких услуг, часто самых безнравственных. Не говорим об откупных штукарях, которые высшею добродетелью служащих почитали особенную мягкость совести и пружинность убеждений, наше дворянство и купечество, даже правления наших акционерных обществ, где так часто раздавались слова: «гласность, прогресс, просвещение», — смешивали служение с прислужничеством и на самом деле требовали от своих служащих только рабских добродетелей и, вопия против деспотизма, сами отстаивали его идею собственным примером. Нигде, может быть, в наше время наниматель не верит в такую ширину своих прав на

наемника, как [на] матушке святой Руси, где честному человеку нет возможности, оставаясь честным, удовлетворять всем требованиям своего принципала. Кому не случалось слышать, как часто и бесцеремонно просвещенные владельцы тысяч десятин, населенных крестьянскими душами, выгоняли управителей за мягкость обращения с мужиками, за редкое употребление душеспасительных орудий исправления. Кто не знает, с какою бесцеремонностью и простосердечием иной Ловелас-помещик, Мирабо[1] с киргиз-кайсацкими нравами, забежав из дальних милых стран иль со стогнов северной Пальмиры под сень лазуревых небес села родного, от безделья и пустоты обращался нередко с самыми низкими и безнравственными искательствами к жене или дочери своего управителя, по праву человека, платящего жалованье их мужу или отцу. Охота за управительскими дочерями, и особенно за женами, была явлением, так сказать, естественным, равносильным праву охотиться в арендованной лесной даче. И боже мой! сколько зла, сколько горя наделала эта охота! Сколько брошенных жен, оставленных детей, спившихся с горя мужей, не вынесших смертельного удара, нанесенного минутною прихотью безнравственного сластолюбца и легкомысленною доверчивостию несчастной женщины, навеки им погубленной. А Мирабо? да что ему делается! Он и не понимает, что он сыграл на жизнь и смерть целого семейства, что его гнусный поцелуй, как клеймо палача, отвергает жертву от участья во всех радостях жизни и разбивает все ее будущее. Для него, кроме проигрыша на зеленом поле [2], нет вопросов на жизнь и смерть. Пусть пропадают люди, не разумеющие, что жизнь состоит не в любви, а в обращении других в средства для удовлетворения минутной прихоти. А женский наемный труд!.. Боже мой, что мы с ним сделали? Чего мы к нему не применили, чего не поставили в обязанность наемницы? Нанятая женщина, к какому бы роду занятий она ни была ангажирована, как бы высоко она ни стояла по своему образованию, нравственности и общественному положению, великим большинством общества рассматривается нередко как конкубина *, ибо она «нанялась — продалась», она — рабыня, а рабыня не удобомыслима вне наложничества с господином. Если бы наши жен-

* Наложница (*лат.*). — *Сост.*

щины, получившие несчастную привилегию наниматься, захотели отбросить стыд и рассказать все, что с ними случилось во время их наемной жизни, они указали бы нам на многие образцы связей, возникших не из чувства влечения и страсти, а по необходимости подчиниться хозяйскому п р а в у. Понятие об этом п р а в е до такой степени вошло в нашу кровь и плоть, что мы даже не задумываемся над возможностью практиковать его в жизни, с какою бы женщиною судьба ни поставила нас лицом к лицу в качестве нанимателя. Гувернантка, кухарка, экономка, горничная, швея или специалистка другого какого рода — нам все равно, за всяким рукомеслом мы рассчитываем на п р а в о хозяина. Договариваясь о плате за условный труд, мы видим в этой плате цену и неусловных обязанностей. Рассматривая способность к приготовлению кушанья или даже к образованию и развитию наших собственных детей, мы не умеем отрешиться от п р а в а хозяина. А совершен наем, чуть только перешла женщина под мирную сень домашнего крова, гляди, хозяин уж и пошел предъявлять хозяйские права. Гувернантка или кухарка — все равно, одни стремления, разница только в приемах, да и то весьма небольшая. А вступится женщина за свои права — беда подымется! Скотская страсть разгорается и делается все дерзче до тех пор, пока толчок ухватом в кухне или нулинская пощечина [3] в классной комнате не обратит их в гонения и клеветы, которым так охотно верит весь род человеческий вообще и нежная его половина — в особенности. За сим отвергнутый хозяин встает на дыбы, начинает бодаться и устраивает изгнание к а п р и з н о й женщины, если она сама не предупредит его и не уйдет от разврата в бесприютность, встречать там новые оскорбления и ловушки со стороны общей развращенности, рассматривающей в с я к у ю женщину как предмет для удовлетворения минутной прихоти.

Делается все это, конечно, и не в одной матушке России; нанимают женщин о г у л о м на в с я к и е у с л у г и даже и в философской Германии, а во Франции это случается, может быть, еще и чаще, чем у нас; но сила в том, что везде это — дело любовное, стало быть, тут уж и говорить нечего — просто судит их бог; а то худо, что у нас все это сделалось возможным не ad libitum *,

* По выбору, по желанию (*лат.*). — *Сост.*

а de jure * по львиному праву, основанному на злой сатире «нанялся — продался». Вот отчего у нас порядочный человек — мужчина, а наипаче благонравная женщина смотрят на наемный труд как на тяжкое горе и среди живой потребности заработка стесняются предложением своего труда. Не разумея здесь лентяев и тех женщин, которых несчастное воспитание приготовило к неминуемому падению, мы знаем много и очень много людей, из среды которых раздается известный стих Грибоедова «служить бы рад — прислуживаться тошно», и самые отчаянные, самые болезненные раздирающие душу ноты в этом вопле поются слабыми голосами наших жен, сестер и дочерей.

А еще, помнится, какой-то из современных мыслителей не довольствовался правами нанимателей и предлагал ввести обязательные аттестаты для нанимающихся. Хороши бы мы вышли с этими аттестатами; оправдывайся там себе чем знаешь, как хозяин пропишет в аттестате, что ты вот такая-то и такая-то. Ищи общественного мнения, как ветра в поле или Франклина [4] в море. Теперь, когда Россия призвана к новой жизни, вольнонаемный труд становится господствующею формою труда, нам следует оглянуться на свое прошлое, забыть разные свои права бесправия, отрясти пыль предубеждений, насевших на наши ноги, и подумать о том, чтобы наемная служба у нас была возможною для людей, не торгующих своею честью и своими убеждениями.

Пора уважать в людях неотъемлемые права человеческой свободы.

РУССКИЕ ЛЮДИ, СОСТОЯЩИЕ «НЕ У ДЕЛ»

> Явление существует таким образом, что его самобытность непосредственно отрицается.
>
> *Гегель.* «Логика»

Когда после долгой дремоты русская литература заговорила о живых интересах общества, с особенною быстротою стали появляться статьи, обличающие деморализацию русского чиновничества; рассказывались

* Юридически, по формальному праву (*лат.*). — *Сост.*

разные смешные и гнусные проделки, которыми люди этой корпорации добывали себе и своим семействам возможность существовать сыто и довольно или с нуждой пополам и впроголодь. Очевидно, что статьи, обличающие чиновников, были выражением общественного негодования, возмущенного их неправдами и чужеядностью, а потому рассказы Щедрина, Селиванова [1] и других русских авторов, приподымавших покров, которым были завешены пружины нашей судебно-административной неурядицы, читались нарасхват, с глубокою признательностью авторам, рассказавшим о том, о чем всем очень давно хотелось разговориться, но о чем прежде разговориться не удавалось... Очень жаль, что литература не могла уделить другим сословиям одинаковой доли своего внимания и что лица, не принадлежавшие к почтенному званию гражданских чиновников, но не менее их достойные внимательного исследования, до сих пор очень редко пришпиливаются знатоками российской фауны к листкам русской журналистики. «Изнанка Крымской войны»[2] в покойном «Атенее», несколько строчек по поводу одной русской книги, вышедшей в свет в Берлине, две-три недомолвки о «купецких делах», да и только, и опять за чиновников, и все что ни есть за самых этаких маленьких, что называется — сверчков коротко-брюхих. После литераторов и журналистов чиновничество оказывается самой удобовозделываемой почвой, над которой вот уже около семи лет обличительные таланты не теряют права изощрять острия своих перьев, и пусть что хотят говорят, а нельзя отказать нашему обществу в готовности самым внимательным образом вслушиваться в литературные мнения и усвоивать их себе во всем, касающемся обличения чиновников. Негодование на чиновников до такой степени овладело нашими сердцами, что все мы с неизъяснимым удовольствием встречали слухи, что то в том, то в другом ведомстве упразднялись места писцов, а иногда и чинов по уряду несколько крупнейших. Сколько отрадного мы иногда видели в этом упразднении писцовских ваканций! И государственная экономия, и улучшение судопроизводства, и очищение нравов — все представлялось нам уже близким и достижимым. Всем сердцем сочувствовали мы готовности некоторых молодых людей отречься от служебной карьеры и искать дела в другой сфере, в занятиях частных. Не прошло семи лет с тех пор, как началась

эта пересыпка, как литература начала увещевать нас оставлять неуместные всеобщие притязания на чиновническую деятельность, а в обществе уже недружелюбно смотрят на всякого молодого соискателя должности писца с надеждами на благоприобретения. В эти семь лет наши присутственные места освободили от службы огромную цифру крошечных чиновников, и в эти же семь лет учебные заведения выпустили немало молодых людей с знаниями, которые вне коренной службы весьма редко почитаются за знания. По весьма странному случаю к этой категории приходится отнести и множество молодых медиков, бродящих с дипломами без мест или упражняющихся в занятиях вовсе не медицинских. Народ нуждается во врачебной помощи, врачи (не говоря о знаменитостях) не имеют никакого заработка. Словом, в последнее время у нас явилась весьма чувствительная цифра людей, воспитанных по программе, которая во второй четверти настоящего столетия составляла идеал воспитания русского человека, а потом вдруг признана несостоятельною и воспитанные по ней люди поставлены лицом к лицу с приятным положением не получать никакого запроса на свой труд. Литература делала свое дело, убеждая нас трудиться вне канцелярской атмосферы; но она остановилась на половине пути. Карая стремление всероссийского человечества очиновничиться и возбуждая в обществе противодействие этому стремлению, укоренившемуся вследствие долгой исторической необходимости служить, она упустила из виду напомнить обществу его обязанность подумать и о том, чтобы дать людям, сошедшим с чиновной дороги, доступ к другим делам. Общество как бы обрадовалось этой недомолвке и показало весь свой смысл и весь свой характер над людьми, не находящими места на службе. Оно слышало, что у людей, приготовлявшихся к чиновничеству, не бывает запаса полезных знаний, и подумало, что все эти люди лишены вовсе и тех познаний, которыми обладают лица, занимающиеся некоторыми частными делами; оно знало, что чиновники, получая по 2 и по 3 рубля месячного жалованья, пробавлялись темными средствами, т.е. «принимали благодарность» или, попросту, брали взятки, и порешило, что это люди самые зловредные, из которых ничего не выйдет. Судьи не принимали в расчет ни собственного блаженства неведения, ни собственной склонности припахать

борозду от чужого поля, ни даже той простой вещи, что чиновников вырастило и кое-чему научило само общество, от которого они, и в нравах, и в обычаях, ничем существенным и не отличаются. Все это было забыто — и заштатные чиновники вместе с множеством молодых людей, вышедших из учебных заведений без права поедать труды ближнего, остаются у нас без дела и без хлеба. В одном Петербурге насчитывают в таком положении несколько тысяч человек; нет города, городка, городишка, с зданием присутственных мест и конторою акцизно-откупного комиссионерства, где бы не встречалось этих несчастных прообразов пролетариата на земле русской. Это явление очень нерадостное. Из него не может выйти ничего хорошего для самого общества, которое с невозмутимым равнодушием отвергает всякие услуги этих бедняков. Как ни кажется невозможным пролетариат в России, но нельзя не согласиться, что рассматриваемые нами люди весьма близки к положению западных пролетариев, потому что у них не только нет хлеба, но нет и возможности его заработать. А отчего нет этой возможности, когда дела в России непочатый угол, когда отовсюду слышится жалоба на недостаток людей, на крайнюю дороговизну рабочих рук? Очевидно, что здесь важную роль играет предубеждение, которое живет у русских землевладельцев и торговцев против найма людей, остающихся «не у дел». Еще более виновато отсутствие справедливости, без которой мы не можем постичь, что взяточничество практиковалось не только одними чиновниками, оставшимися за штатом, но и теми, которые не остались за штатом, и выборными людьми, и даже самим народом, который, по мнению многих, как Ноев ковчег хранит безупречно идеальную справедливость, спрятавшуюся в него от влияния западной цивилизации. И в этом народе жила взятка, когда он мирскими сходами «по сердцам» сек бедного мужичонка и мирскими приговорами «за вино и посулы» освобождал от рекрутства «хозяйских детей» и сдавал в военную службу горемычных «бобылей — вдовьих кормильцев». Но несмотря на то, что деморализация была общая, что «ворон ворону глаза не выклюет», у всех осталась, благодаря обстоятельствам, хоть какая-нибудь возможность жить: у одних земля, у других и земля, и капитал, и известные привилегии, а у чиновников ничего, как есть ничего; у них даже отнята возможность исправиться и стать людьми,

ибо у них теперь нет средств заработать кусок хлеба; а известный философ Гегель утверждает, что в душе, порабощенной вседневными нуждами, нет места для той деятельности разума, которая требует отречения от личных пристрастий. Как же отречься от своих пристрастий людям, которых никто не берег, которым нет нигде ни веры, ни кредита, ни угла, ни пристанища? Куда же им деться? Что им делать? Неужели все это не должно обратить на себя внимания общества и литературы? Если общество наше понимает, что несчастие каждого отдельного лица уменьшает известною долею сумму общего счастья, то оно вероятно поймет, что появление русских разночинцев в качестве русских пролетариев есть зло общественное, которому нужно помочь, пока оно еще не пустило глубоких корней и не сделалось постоянным спутником нашей жизни. Каковы бы ни были наши чиновники, оставленные за штатами, есть основание во всех их недостатках видеть не одну их собственную вину, а потому есть основание и простить их, и подать им руку помощи, дать им возможность жить честным трудом и понять, что есть мир честного труда, а не замыкать пред ними дверей этого мира.

Кто знает этот класс, понесший на себе всеобщие упреки, тот поверит, что все пришлые вольные и невольные чиновничьи грехи пора уж отпустить им во имя человеколюбия за их настоящие скорби и нищету. Мы благородно восторгаемся слухами о человеколюбивом Британце [3], который воспитывал людей в New-Lanark'е и с легкой руки которого в Англии начали развиваться кооперативные ассоциации (их теперь насчитывают до 200), а сами заботимся не о перевоспитании людей, не об обращении их к труду теми путями, которые не должны быть неизвестными по крайней мере литературным деятелям, а отвергая своих разночинцев, бросаем их на произвол всех случайностей и доводим свою строгость до того, что она становится не мерою исправления, а орудием озлобляющей кары. Роберт Оуэн, справедливо уважаемый за его честную, гуманную натуру, довел свое всепрощение до того, что отвергал уместность самого наказания, видя в преступнике выражение общественной испорченности, и заботился перевоспитать его и приучить к труду в New-Lanark'е, а у нас, в самой среде нехладнокровных почитателей этого честного человека слышатся хлопоты не об исправлении лю-

дей, которым с детства внушали, что «от трудов праведных не наживешь палат каменных», а о награждении их полным презрением и удалением от всякого участия общества. Хорошо отрицать что-нибудь во имя созидания чего-нибудь; но отрицать ради отрицания, заниматься этим искусством для искусства, — не значит служить идее человеческого счастья. При одном отрицании не создается ничего, подобного ассоциации Рочдельского общества [4], которое 15 лет тому назад началось с капиталом в 28 ливров, а теперь строит фабрику, стоящую ассоциации за 30 000 фунтов, и издает журнал «The cooperator», который пишется исключительно работниками. Такие великие успехи достигаются всепрощением, перевоспитанием и приобщением к общему труду, а не одним отвержением уклонившегося с прямого пути. Беспомощным состоянием русских разночинцев и пресмыкательством их без работы и без хлеба не водворится правда в тех судах, откуда вышли или куда не попали эти люди; а потому презрительное равнодушие, которое показывает им общество, не выражает ни его мягкосердечия, ни его дальнозоркости. Есть профессии, упразднения которых может желать современное человечество, но нет людей, которые бы не стоили человеческого внимания и содействия. Задача истинных друзей человечества состояла вовсе не в том, чтобы отрицать в человеке способность к самоисправлению, а в том, чтобы из жертв нищеты и всяких заблуждений создать людей, способных жить без нужд и умирать без страха.

Не так, далеко не так поступаем мы, почитая чуждым для себя положение людей, которые испытывают удовольствие быть никому не нужными и отогнанными от всякого дела, сколько-нибудь сообразного их подготовке. Правда, они не несут повинностей, да за то лишены и средств понести их; а это, полагаю, не лучше. Пишущий эти строки, конечно, далек от всякой мысли оправдывать известные наклонности чиновников, еще далее от намерения безусловно защищать их нравы; но он не может разделять мнения о необходимости бесконечного преследования их, без предоставления им способов повести новую жизнь. Он уже пытался обратить на это общественное внимание и в некоторых своих статьях и упоминал об этом на одном из заседаний Политико-экономического комитета Русского географического Общества, когда шла речь о заселении пустопорожних земель;

но... никакого отклика ниоткуда не слышно; а, право, желательно, чтобы об этом зашло слово в литературе. Нельзя же не попробовать хоть что-нибудь сделать для облегчения участи десятков тысяч людей, томящихся без всякого заработка в виду дел, ожидающих прикосновения человеческой руки. Мы уверены, что совместным силам общества и литературы не может не удаться дать этим лицами способ быть полезными.

Нельзя же думать, что литература, проникнутая сочувствием к русской народности, не возвысится до великодушия, выражаемого народною пословицею: «Где гнев — там и милость!» А праздношатательство наших разночинцев вовсе не такое ничтожное явление, о котором бы не стоило подумать нашим публицистам и политикоэкономам.

О ПЕРЕСЕЛЕННЫХ КРЕСТЬЯНАХ

Обыкновенно, если при применении высочайше утвержденных положений о крестьянах встретится какое-нибудь затруднение, — возбужденный вопрос переходит на разрешение губернского по крестьянским делам присутствия. При этом оно обязано в постановлениях своих строго держаться закона и только в случае неясности его испрашивать объяснений от министерства внутренних дел, а в случае неприменимости ходатайствовать о том, чтобы министр вошел с представлением в главный комитет об устройстве сельского сословия для изменения неприменимого закона. Вот каким путем разрешаются недоумения, возникающие при применении положений.

Просвещенная либеральность главного комитета и министерства внутренних дел, в высшей степени похвальная деятельность большинства мировых учреждений, сознание самого дворянства в необходимости полного уничтожения крепостного права — представляют верные ручательства в том, что предпринятое преобразование достигнет своей цели.

Несмотря на это, некоторые вопросы несомненной важности ищут другого пути для их разрешения. Тысячи случаев, к которым вполне применима та или другая статья, составляют такие редкие исключения из общих правил, что разрешение их, на основании общего

закона, представит полное противоречие духу законодательства. Между тем, мировые учреждения не могут отступить ни на шаг от буквы закона: а так как в этих случаях он чрезвычайно определителен, то мировой посредник, на основании статьи, разрешает вопрос окончательно, и он редко доходит до губернского присутствия, которое, при помощи прокурора, совершенно легально, с совершенно правильным толкованием закона, подводит под него известный случай и уж затем не встречает никаких сомнений. Одним словом, вопросу не дают хода, и он ищет другого пути, чтобы обнаружиться. Он чувствует всю свою основательность, с разрешением его сопряжены интересы, участь тысячи людей. И обязанность литературы заявить его: только этим путем может он преодолеть препятствия, обнаружиться и, очистившись от грязи ложных понятий, предстать пред правительством для окончательного и справедливого разрешения.

Один из таких вопросов составит предмет настоящей статьи *.

Положим, какой-нибудь помещик Кондратьев имеет два имения в двух разных Великороссийских губерниях. В силу различных финансовых соображений, большею частью в виде наказания, Кондратьев до прошлого года переселил своих крепостных из одного имения в другое. Кто скажет, что такие случаи были невозможны? Кто скажет, чтоб они не были часты? А знаете ли, что значит переселить крестьянина из одной губернии в другую, за несколько сот верст? Это значит вырвать его из кружка людей, к которым он с детства привык; оторвать от места, к которому он привязан больше, чем к людям; часто — оторвать от семейства, потому что иные помещики переселяли своих крестьян, для избежания ненужных расходов, без жен и детей. Это значит бросить его к людям незнакомым, а он с детства не выезжал из села. Это значит разорвать все связи, которыми он держался на родине; разбить все основы, поддерживавшие его существование, его веру в людей, его любовь к труду.

Но вот в грустную хижину его долетело слово: свобода. Как ни смутно понятие его, соединяющееся с этим

* Из постановлений губернских присутствий видно, что этот вопрос был уже не раз возбуждаем мировыми учреждениями, но, не встречая неясности в соответствующем ему законе, губернские присутствия не давали ему хода. — *Авт.*

словом, первое желание крестьянина будет воспользоваться ею для возвращения на родину. Да притом, как и понять свободу без права жить на родине, без права, которым пользовалась даже большая часть крепостных? Несмотря на это, надежде его не суждено осуществиться. Всем приносит радостную весть новое положение — он один остается забытым, неудовлетворенным. Статья 7 местн. Великор. Положения положительно определяет, что такие крестьяне получают надел с обязательным правом им пользоваться в течение 9-ти лет, в том имении, где они водворены.

Но предположим, что помещик Кондратьев умер до обнародования Положения и одно из имений его перешло к одному сыну, а другое к другому. В этом случае переселенные крестьяне таких имений подлежат действию Высочайшего повеления * от 27 июля, на основании которого они «могут, по желанию: или оставаться на месте настоящего их водворения и сохранить за собой право на надел землею, или, отказавшись от надела в имении, где они водворены, возвратиться в то имение, где они записаны по ревизии» (т. е. откуда они выселены), и в этом последнем они, в большей части случаев, имеют право на надел, даже без согласия общества, к которому припишутся **. Итак, крестьяне разных помещиков, переселенные из одного имения в другое, имеют больше прав, чем такие же крестьяне одного и того же помещика. Но на чем основывается это различие? За что последние не освобождаются от прикрепления к земле, тогда как первые в самом деле свободны? Разве одни не так же терпят от принудительного выселения из родины, как другие? Разве желание одних возвратиться в родное общество не так же натурально, как других, разве одни не такие же люди, как другие, и на этом основании не должны пользоваться одними общечеловеческими правами? — Если на все эти вопросы должно отвечать утвердительно, то на чем же основывается законодательство, разделяя на две категории людей, в [общей] сложности составляющих одну? Наш пример показывает ясно, что в основании такого различения лежит не идея

* О крестьянах, записанных в имении одного помещика и водворенных в имение другого. — *Авт.*

** См. означенное Высочайшее повеление. — *Авт.*

правды, а простая случайность: не умри Кондратьев — его крестьяне оставались бы на месте водворения; но он умер, и у него два наследника — и вот крестьяне его получают право возвратиться на родину; наконец, если б Кондратьев даже не умер, но оставил бы только одного сына, то крестьяне его все-таки продолжают быть прикрепленными к земле. Закон ясен; недоумения быть не может. Но чувство справедливости оскорблено. Интересы, личность тысячи людей принесены в жертву. Вопрос остается нерешенным, потому что несправедливое разрешение вопроса не уничтожает его.

Но до сих пор мы имели в виду только крестьян, переселенных из одного имения и водворенных в другом, т. е. получивших там усадебную оседлость и даже полевой надел; судьба таких людей все-таки довольно сносна; заведясь своим хозяйством, найдя на новом месте некоторое удовлетворение своим интересам, они, быть может, слабее чувствуют тоску по родине и по родным. Но возьмем вот такой случай: тот же помещик Кондратьев перевел из одного имения в другое несколько душ крестьян, которые не получили земельного надела, но их поселили в помещичьих строениях и заставили работать все 7 дней на помещика. На основании ст. 8 и 7 местн. Великор. Положения такие крестьяне имеют право или отказаться от надела и удалиться из общества, или получить надел там, где они поселены *. Нечего и говорить, что они откажутся от надела и пожелают возвратиться на родину; но это они в состоянии исполнить не иначе, как если сельское общество, к которому они захотят приписаться, согласится их принять. Здесь они должны встретить тысячи непреодолимых препятствий. Во-первых, сношения с обществом. Кто не знает, какое это затруднение для большинства наших крестьян? Письменно снестись с сельским обществом, изложить свое желание перейти к нему, предложить условия для такого перехода и просить своих соотечественников не отказать в приюте — да это и не нашим мужичкам может показаться нелегким. Но, положим, первое затруднение побеждено: крестьяне толково

---

* На основании ст. 142 Общ. Полож. всякий желающий приписаться к сельскому обществу должен испросить приемный приговор оного. — *Авт.*

объяснили в письме, чего они хотят, и общество их поняло. Вы, может быть, думаете, что оно тотчас им обрадуется, согласится принять и вышлет приемный приговор? Нисколько. Оно почти наверно им откажет или предложит такие условия, которые их хуже закабалят, чем самое крепостное право. Дело в том, что каждое сельское общество получает в пользование известное количество земли, смотря по числу душ, его составляющих; но при этом ежели количество земли, предоставленной обществу, не менее низшего размера, то прирезывать к ней помещик не обязан, хотя бы общество приняло к себе еще 50 человек! Такое правило бесспорно справедливо; но кто не видит — какие громадные неудобства представляет оно в нашем примере. Вот известное сельское общество, состоящее из 100 человек, получило в надел высший размер по той местности, положим, по 4 десятины на душу, что составит 400 десятин. Ежели оно примет еще хоть 10 новых членов, то, понятно, состоя из 100 человек и пользуясь прежними 400 десятинами земли, оно будет более стеснено, а вследствие этого, конечно, пожелает вознаградить себя за такие стеснения на счет новых членов. Но предположим, что общество наконец приняло условия выселенных крестьян, вы, может быть, думаете, что они теперь могут возвратиться на родину? Не тут-то было: на основании ст. 142 Общ. Положения, они должны предварительно испросить согласие помещика, т. е. господина, который несколько лет тому назад их переселил. Из этого можно заключить, как облегчен их переход на родину.

Итак, безземельные крестьяне, переселяемые против их желания из одной губернии в другую, ждавшие воли, чтобы наконец снова перейти на родину, получают право такого перехода, но на условиях в высшей степени отяготительных, часто невозможных. И вот они по-прежнему прикреплены к земле, по-прежнему живут между чужими людьми и ждут не дождутся, не будет ли им другой воли, так как настоящая — не воля для них.

Не то бы было, если б этим крестьянам, записанным по ревизии в одном, а водворенным в другом имении того же помещика, дозволено было, как крестьянам разных помещиков, получать в надел землю в одном из означенных имений, которое они выберут наравне со всеми членами сельского общества, к которому припишутся. Тогда бы им не нужно было входить в сношения с об-

ществом, в которое переходят, и из милости просить то, что принадлежит им по праву.

Наконец, чтобы предупредить некоторые возражения, которые бы можно мне сделать, я считаю нужным сказать, что интересы самих помещиков в большей части случаев не затронуты этим вопросом: крестьяне получают надел из мировой земли, а не от помещика, и только в самых редких случаях, когда общество пользуется менее чем низшим размером, делается прирезка. Вследствие этого полного отстранения помещиков от настоящего вопроса, он выступает еще рельефнее; невольно спрашиваешь себя: почему же на разрешение всех приведенных случаев имеет влияние не положение крестьян, не их права и нужды, а то: принадлежат ли означенные имения одному или нескольким помещикам, для которых этот вопрос не имеет никакого значения.

О РУССКОМ РАССЕЛЕНИИ И О ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ

> Ошибка их заключается не в том, что они забиваются в один какой-либо угол ведения, а в том, что в этом-то углу они думают найти решительно все.
>
> Пред. к пер. риттеровой [1] «Истории новой философии»

«Время» в сентябрьской книге обратило внимание на прения, происходившие несколько месяцев тому назад в Политико-экономическом комитете географического общества по вопросу о колонизации. В статье, посвященной обсуждению этих мнений, очерчен самый характер дебатов и сделаны замечания на слова некоторых лиц, принимавших участие в решении вопроса о переселении. Совершенно разделяя взгляд этой статьи на общий характер комитетских рассуждений, я вполне согласен, что «прекрасное начинание много потеряло от отвлеченности и бессистемности прений». Но я далек и от мысли безусловно отрицать относительную пользу прошлогодних заседаний комитета и разделяю сожаление многих и о том равнодушии, с каким прошла [мимо них] наша периодическая литература. Впрочем, цель моего письма заключается вовсе не в определении значения комитет-

ских заседаний, а в пояснении моей мысли о ходоках.

Автор статьи, помещенной в сентябрьской книге «Времени», сказал, что я и г. Тернер говорили в комитете «о необходимости предоставить передовым колонистам, ходокам, там сказать, соглядатаям всего переходящего населения, выбор мест для колоний — и никому больше». Формулировав таким образом наше мнение о ходоках, автор заметил непрактичность этого предложения и указал на средства более современные: на хорошие описания.

Очень жаль, что у меня нет под руками протокола, в котором записаны слова, сказанные в комитете при обсуждении вопроса о колонизации, а без него я не могу утвердительно сказать, какое значение придавал ходокам г. Тернер; но я очень хорошо помню случай, побудивший меня поставить существование ходоков на вид собрания ученых экономистов. (О необходимости ходоков или о необходимости предоставить выбор мест «им и никому больше» я, помнится, не говорил.) Повод к указанию комитету на ходоков, надеюсь, освободит меня от упрека в непрактичности, замеченной автором прекрасной статьи, напечатанной во «Времени».

Во время прений о способах колонизации я имел случай указать на некоторые стеснительные правила, запрещающие у нас переселения без исполнения натуральных и денежных повинностей по месту прежнего жительства; приводил затруднения переселенцев в получении разрешения на переход и неудобство самого перехода под правительственным покровительством и упомянул об обязательных преимуществах коммерческого способа колонизации перед тем, в котором принимают участие различные чиновники. Некоторые из лиц, присутствовавших в этот раз в комитете, решительно отвергали возможность допущения у нас коммерческого способа переселений. Опровержения их основывались на том, что в чужих странах, где допускается такой способ колонизации, обыкновенно являются спекулянты и, с своекорыстными целями, возбуждают народ к переходу в такие места, переселение куда более отвечает видам переселяющих, чем интересам переселенцев. Зная, что в истории иностранной колонизации такой факт действительно существовал, но не видя никакого основания предполагать этот факт необходимым усло-

вием коммерческого способа колонизации, особенно у нас, где идет речь не о заморской колонизации, а о расселении по лицу земли русской, я позволил себе сказать, что эти опасения недостаточны для того, чтобы отрицать возможность у нас коммерческого способа переселений и указал на ходоков, посылкою которых крестьяне ограждают себя от неосторожных увлечений, вообще мало свойственных нашему народу, недоверчивому вследствие причин, сопровождающих его гражданскую жизнь. Таким образом, я не говорил о необходимости ходоков, но самым существованием их, вследствие народного недоверия к слухам и книгам, которые «господа пишут», старался доказать безопасность допущения у нас коммерческого способа переселений.

Я, может быть, заблуждаюсь, веруя в пользу допущения у нас коммерческого способа переселений, и буду очень признателен редакции «Времени», если она позволит мне (в видах возбуждения этого вопроса в литературе) несколько развить мою мысль о преимуществах коммерческого способа переселений перед известными у нас способами и при этом случае сказать кое-что о некоторой пригодности ходоков.

Оставляя в стороне рассматривавшиеся в комитете вопросы: уместно или неуместно желать у нас выселения из серединных мест империи к ее окраинам (потому что считаю бесполезным говорить о несправедливости препятствовать раздвижению народонаселения, которое, вследствие своего незнакомства с успехами высшей агрикультуры, находит, что ему стало тесно), я буду говорить с точки зрения человека, полагающего, что выселению, точно так же как и всякому свободному проявлению народного желания, — должно способствовать. Свободные переселения нельзя относить к явлениям беспричинным и неразумным.

Сколько я понимаю дух наших законов, в них не встречается никакого намерения противодействовать передвижениям свободных сословий. Но некоторые последующие административные постановления не только но клонились к предоставлению народу всех средств расселяться сообразно своим вкусам и желаниям, а напротив, задерживали его в этом стремлении. Я не стану распространяться о том, что места, заселением которых особенно заботится правительство, очень нередко не

нравятся народу * и что потому заселение их, совершаемое при одном содействии льгот и привилегий, непрочно; а заселение, совершаемое тем путем, которым несколько лет назад переселены однодворческие крестьяне, дает самые печальные результаты. Обращаюсь прямо к местностям, на заселение которых есть охотники, рассчитывающие там жить, а не «обольготиться». При переселении в такие «облюбованные» места народ наш встречает три главнейших затруднения, из которых первое заключается в недостатке полных и достоверных сведений о естественных средствах страны, второе — в непременном обязательстве исполнить перед выселением некоторые тяжкие, а иногда и невозможные условия, и третье — в недостатке денежных средств для передвижения с старого места на новое.

В первом затруднении, или первом горе, т. е. недостатке сведений о местах, удобных для заселения, крестьяне, не доверяющие в своей патриархальной простоте книжкам, «которые господа пишут», сами себе помогают, посылая доверенных ходоков, взгляды, вкусы и соображения которых в той самой мере сходны с понятиями переселенцев, в какой тождественны их общие интересы. Когда у нас появятся ясные, полные, верные и удобопонятные для народа описания открытых для заселений мест, тогда, может быть, народ не станет и посылать своих ходоков. Но для этого нужно не только чтобы были основательные описания, но и чтобы народ убедился в их основательности, — а это еще «улита едет, когда-то будет». Кроме того, серединные места нашей империи стоят вовсе не в тех отношениях к своим пустыням, в которых находится Англия к своим заморским колониям. Там путь к этим колониям известен, и расходы и затруднения, нужные для совершения этого пути, могут быть приведены к определенной норме; а у нас совершенно иное дело. Как у нас совершаются переселения? «Облюбовали» мужики новое место, вымолили себе право на переселение, «выправили бумаги», поскорее распродадут избы, громоздный скарб, поклонятся стариковским могилам, уложатся на возы, отслужат молебен «на путь шествующим» — и потянутся

* См. «Заселение верховьев Амура» С. В. Максимова [2] (Морской Сборник. — 1861. — Окт. — Кн. 10) и речь полковника Венюкова, напечатанную в протоколах комитета.

с старого пепелища длинным обозом. Тянутся они долго, долго. Не одного старика, не одного младенца зароют по дороге, а сами все тянутся журавлиною вереницею. Проходят они и грады, и веси, и хотя не останавливаются в городах, даже лошадей в них не кормят, а все-таки во всяком из них порядок соблюдают, начальству кланяются. Стоят же они за заставами, на городских да на сельских выгонах, где и утомленные кони погложут сожженной солнцем и вытоптанной травки, и бабы малых детей на бережку обмоют, а ребятишки щавелю или сныти нарвут на хлёбово, а баранков или сербигузу на десерт. Тут же и складчина собирается на свидетельство о «ненасильственной смерти» скончавшегося от недуга путника. Где же, в каком описании все это опишешь и вычислишь? А ходок — живой человек: он все сообразит, все расскажет, где есть какие дорожные удобства, где какие люди живут и какие порядки начальство наблюдает. Написать всего этого нельзя, никак нельзя, да и никто не поверит.

Иного же способа переселений у нас почти нет, да и в тех редких случаях, где возможен иной способ переселения, крестьяне его не только не любят, но даже всячески стараются избегать. Я был свидетелем большого переселения крестьян из Орловской губернии к жигулевским горам и в саратовские степи. Часть переселенцев отправлялась по Оке на барках, а остальной части было предоставлено идти обозом. Те, на долю которых выпал сплавной путь, смотрели на свою «нагрузку» на суда как на тяжкую обиду и на ужасное горе; а дорогою набрались с ними всякого горя и те, кто сопровождал их по Оке и Волге. Плач, сетования, ссоры и побеги не прекращались во все время плавания, тогда как другая партия, снятая с одного и того же места, но пущенная на своих подводах, как переселенцы выражались: «повольно», переносила свое непроизвольное переселение гораздо покойнее и почти не жаловалась. По мере удаления от старого пепелища и от тяжелых впечатлений непроизвольной разлуки с «сродственниками» мужики становились все веселее и с теплым упованием смотрели на свое будущее. Тут очень много значит, что крестьянин, сплывая на барке, лишен возможности забрать с собою многое, с чем он не хочет расставаться. На своей лошаденке, с которою он тоже свыкся и не хочет ее покинуть, он везет все, что можно уложить на телегу: и

ложку, и плошку, и стан колес, и корыто, и баб, и детей. Кроме того, на барке ему скучно, он идет не «повольно» он ежеминутно чувствует порабощение своей soi-disant * «художественной натуры» непривычными порядками, чувствует себя в команде; а спокойствие, которое представляет сплавной путь перед гужевым, он ни во что не ценит. Даже более: он тяготится таким спокойствием; оно ему противно.

В обозе он «козакует»; с детским любопытством он всматривается в новые места и в новых людей; толкует, какая «губерня» (т. е. какой губернский город) лучше, а какая хуже супротив его старой «губерни». Запримечает, чего, например, не любит мордвин или что любит татарин, где какие горохи, где какая картошка родится. Все это его занимает, обо всем он промеж себя всласть натолкуется и настроит разных предположений, что вот «кабы тут жить, каково бы жилось?». А на барке он лишен этого удовольствия, тоскует о нем, сердится сам и сердит других. В обозе он с изумительным терпением сносит все и все ему нипочем; на барке ему все в тягость. Измочит его в обозе дождь, слякоть в колено растворится, небо серое, обогреться и обсушиться негде, продрогшие ребятишки поднимут писк... но все это еще не угнетает привычной к страданиям души переселенца. Он наденет себе на плечи старый рогожный куль и, насупив брови, шагает по дорожному «тротуару»; но он не сердит. Он готов разговориться и о том, какие господа бывают на белом свете, и отчего Симка в «вошпитале» помер, и как его в этом вошпитале «потрошили», или же «как черт шутки шутит». И ничего! Ни на что он не жалуется, и не скучно ему. Ночлег на мокром выгоне, под рваною свитенкою — штука некомфортабельная, но мужичок и о ней мало заботится. Бабу с ребятами на телеге лубком накроет, а сам прислонится на корточках к оглобле или к колесу, подберет под локти свой рогожный плащ, надвинет на брови шляпенку да так и продремлет чутким сном до тех пор, пока на востоке забрезжится первая светлая полоска ранней зари. Да и велика ли летняя ночь тому, кто днем намаялся и спит только одним глазом, а другим смотрит «как бы чертов цыган коня не схимостил или хвост не отлямчил»? А пошлет господь на утро ведрышко — в обозе

* Так называемая (*фр.*). — *Сост.*

рай пресветлый: вчерашняя нудьга забыта, на сердце светло, как на небе. Переселенцы обчищаются, оскребаются с острым словцом да с прибауточкой, самое горе-то свое осмеют и снова тянутся длинною вереницею в свой дальний путь. Дорогою тоже весело. Идет мужичок по лесу, недозрелый орех найдет: сорвет его, расколупает и дает мальчикам высосать белое, рыхлое тесто сырого плода. Найдет диких пчел, достанет у них медку «губы посластить»; а нет ничего съедобного — сорвет листок с дерева, положит его на левый кулак, а правою ладонью расхлопает; либо из подорожникового листка конька ногтем вырежет, с встречной бабой приятным словом обменяется, проезжему барину с дороги не своротит (потому — «обоз», нельзя, значит, воротить). Все весело, не то что на барке. Опять в городах и в местечках есть базары, а до базара мужичок, как бы он ни был беден, мертвый охотник. Базар ему — первое удовольствие, потому он там купец; на базаре он дает что знает, рассуждает как вздумается. Опять развлечения сколько: «на грош купли, на семь гривен разговора». Что нужно и что совсем не нужно, он все поторгует. «Да ну, будет! Иди, иди, чееерт! Тебе вещь не купить. Чего зубы-то чешешь?» — урезонивает его лавочник. А он все свое, свой термин держит: «Да ты, милый человек, не ругайся. Чего ты ругаешься? — ругаться нечего. Черт нешто такой? черт черный, а я глякась какой? Ты вот скажи — может, и куплю. Чего не купить-то? Нешь мы какие? Эва не купить!.. Скажи, милый человек, почем бесчестья-то?» И таки добьется, что «милый человек» и плюнет и скажет цену, прибавив: «А вздуй те горою! Ну, полегшело?» И точно, мужику словно полегчеет, и он пойдет мучить другого торгаша, пока и у того не добьется подобного же ответа. Не думайте, однако, что во всем этом руководит мужиком одно праздное любопытство. Слова нет, «охочь он и зубы почесать»: пойдет купить пирог с горохом, а станет торговать медный кран с винокуренного завода; но он хоть и не политикоэконом, а понимает значение цен и смекает по ним, «каково тут народушку жить». Запоминает он цены надолго с такою же почти точностью, с какою помнит их вернувшийся из посылки ходок. Идя «повольно», обоз переселенцев часто делает в дешевых местах запасы. Так, например, отправляясь в низовые степные места, переселенцы закупают себе

в Пензе или в Городищах деревянные чашки, ложки, дуги, ободья, циновки, рогожи и т. п. и везут все это на новое место, где за такие вещи, по отчету ходока, нужно заплатить впятеро, а у мужичка карман жидок. Отчетливость и соображение ходоков изумительны. Мне случилось раз на пензенском базаре спросить у кучки переселенцев из Курской, кажется, губернии: зачем они покупают рогожи в Пензе, когда им путь лежит на село Куракино, известное рогожным производством? Мужички переглянулись, послышалось: «Исправди так!» Но в то же время сортировавший рогожи ходок крикнул: «Добро! бери знай. Чего уши-то развесили? Знаем мы куракинскую рогожу! Куракинская рогожа — во какая». Он черкнул ногтем по рогоже вершков на пять от края. Переселенцы принялись набирать рогожи. После я узнал, что куракинцы действительно лучшие и полномерные рогожи вывозят в Пензу, а дома держат что похуже: «зрячий товар». Как же после этого не держаться ходока этому народу, пока он живет еще в тех же натуральных условиях, в какие лежат натуральные дороги тех мест, которые он проходит, и где сказания о чугунках считаются менее вероятными, чем сказания о лешем и о белоарабской войне? Как же этому народу, повторяющему пословицу: «гляженое лучше хваленого», лишить себя, при всех тягостях, «повального» пути, еще и уверенности, что он идет в место хорошее, «облюбованное», а не такое, откуда опять придется «заниматься бродяжеством» и писать к старым дворам оригинальные письма вроде тех, о которых рассказывает С. В. Максимов в своей статье о заселении Амура? Содержание же писем от крестьян, переселенных без ходоков на «необлюбованные» места, коротки и ясны: «а только нам тут уж оченно плохо и ребята все пошли наутек» и т. п.

Русское расселение, как я уже сказал, встречает еще большое препятствие в обязательстве переселенцев исполнить перед выходом с старого места все свои бытовые условия в отношении к правительству: заплатить податные недоимки, поставить рекрута *. Первое бывает очень трудно, потому что у переселенцев, дошедших до несостоятельности к своевременному взносу податей

* Я говорю о вольных переселениях в места, не пользующиеся особыми привилегиями, какие даются переселяющимся на Амуре или на Мангишлакский полуостров, на восточном берегу Каспийского моря.

и допустивших недоимку, не бывает никаких средств на пополнение ее в короткий срок; а второе, т. е. поставка рекрута, еще тяжелее, потому что с исполнением этой повинности семья лишается работника, который ей очень нужен как на новом оседле, так и во время предстоящего пути. Правительство ничего но потеряет, отсрочив исполнение переселяющимися в пределы государства денежных недоимок и рекрутской повинности; а дело расселения от такого снисхождения много выиграет. Отсрочка рекрутчины тем возможнее, что исполнение ее требуется от семьи переселенцев, состоящей на очереди к будущему набору, стало быть, прежде, чем бы семья должна была потерять человека, если бы они не снималась с места своего жительства.

Третье затруднение встречают наши переселенцы в недостатке денежных средств для передвижения и устройства себя на новом месте. Капитал крестьянина весь виден: с ним далеко не уедешь. Казенное вспомоществование (буде оно есть) рассчитано по $3^1/_2$ коп. серебром в сутки на каждую наличную душу и по $1^1/_2$ коп. серебром на версту для каждой подводы. Однако, несмотря на ограниченность этого вспоможения, министерство государственных имуществ, при всем желании быстрого заселения Амура, распорядилось, чтобы туда ежегодно шло не более 500 семейств, ибо произведение одновременного расхода на большое переселение «обременительно для правительства». Если принять все это в расчет и вспомнить, что 3 коп. в день переселенцу мало на самое скудное пропитание, — то станет ясно, что нужно поискать иного способа для переселений.

Допустим теперь, что у нас известен коммерческий способ переселения людей из одной местности государства в другую. Допустим и то, что общество, составившееся с целью способствовать переселению людей, позаботилось о всевозможном доставлении себе всяких выгод от своего предприятия. Положим, что судьбам еще долго неугодно будет осчастливить нашу колонизацию отменою некоторых обязательств, отмененных при заселении почтового тракта между Якутском и Аяном *, и посмотрим, какой вред и какую пользу может

* Переселенцы, освобожденные от представления увольнительных приговоров, от платежа податей на 20 лет и от рекрутства навсегда. Таким образом однако переселено только 25 семейств. — *Авт.*

принести коммерческий способ переселения в рассматриваемом нами вопросе. Выгоды компании, принявшей на себя переселение желающих в отдаленные места России, потребовали бы от нее собрания самых многосторонних и самых достоверных сведений об открытых для заселения местах. Те же личные выгоды компании заставили бы ее обратить внимание на всевозможное облегчение переселенцам и самого перехода. Отношения переселенцев к компанейским агентам вовсе не были похожи на отношения народа к чиновникам. Переселяющийся крестьянин не довольствуется коротким, отрывистым словом чиновника, отвечающего с высоты своего официального величия на его пытливый вопрос, и отходит от его благородия, частью вовсе не понимая его ответа, частью совсем не доверяя этому ответу. С агентом крестьянин разговорится до тех пор, пока поймет: и что, и как, и почему; а собственная выгода агента, получающего вознаграждение за число сделанных при его посредстве переселений, заставит его изыскивать способы разъяснять все это с терпением, не отличающим наших чиновников, у которых всегда «дела много» и которые не видят для себя никаких благ в успехах колонизации. Агенты компаний, вероятно, примут на себя и ходатайство по «выправке» бумаг переселенцам, и в качестве поверенных безграмотного или малограмотного переселенца, вероятно, «выправят» эти бумаги скорее и дешевле, чем это обходится мужикам, когда они слоняются по разным мытарствам, отдавая последний грош писарям и другим лицам, которые говорят им: «у меня твое дело», тогда как дело совсем у другого паразита. Компания, вероятно, нашла бы возможным и открыть кредит переселенцам на выплату недоимок, которые в сильной степени задерживают заселение пустых, но непривилегированных пространств России. Словом, компания могла бы освободить переселенцев (это слово у нас более уместно, чем слово колонист, ибо у нас, собственно говоря, происходит не колонизация, а расселение по русской земле) от множества затруднений, которые теперь принимают вид непреоборимых препятствий в глазах народа, чуждающегося всякого столкновения с чиновниками и их бумагами. Правительству только останется гарантировать переселенцев от эксплуатации их переселяющими, а народу избежать бы обольщений, происходивших в некоторых других странах при колонизации коммер-

ческим путем. В достижении первой цели правительство, обладающее законодательною и административною инициативою, не может встретить никаких препятствий, а народ не дастся в обман: ходоки скажут ему всю суть, как она есть. В таких важных случаях наш народ не легковерен, и прежде чем раз отрежет, семь раз отмерит и отмерит непременно своим аршином. Его аршин в этом случае — ходок, и он предпочитает своего ходока печатным описаниям, так же как предпочитает мерить локтем вместо аршина, полагая, что «в аршинах иногда фальшь живет». Вырвать такое убеждение из народа невозможно. Это нужно оставить времени; а как между тем время для расселения во многих местах серединной России уже настало и как существующий порядок выселения, со всею своею процедурою, не отвечает успехам дела, — то нужно бы, кажется, дать место коммерческому способу переселений, полагаясь и на силы правительства оградить народ от эксплуатации компаний, и на непременное явление конкуренции между этими компаниями и, наконец, на здравый смысл самого народа. Автор статьи, помещенной во «Времени», находит, что посылка ходоков — мера слишком устарелая и довольно дорогая. Я ожидал этого возражения еще во время самых прений в Политико-экономическом комитете и вполне согласен, что посылка ходоков сопряжена с известной потерей времени и денег; но как же быть, если народ не верит, да, вероятно, еще долго и не будет верить никаким описаниям? Ждать, пока придет эта уверенность? Это и невыгодно в смысле самих народных и государственных интересов, и смею думать, в той же мере непрактично, в какой непрактична мысль, высказанная одним из членов комитета, что у нас нет нужды в расселении, потому что стоит усвоить народу высшие приемы агрикультуры, так нигде еще не будет тесно! А пока народ усвоит эти высшие приемы? А пока он уверует, что «господа» в книгах пишут правильно и толково?.. Сам же автор справедливо заметил, что в заседаниях комитета вдавались в отвлеченности; а ведь там были все люди толковые, такие люди, которые книжки сочиняют!.. Но положим, что через десяток лет будут для переселенцев и очень толковые книжки; да кто же из нас поручится, что и через этот десяток лет в книжках этих будет все, что нужно знать собираю-

щимся переселенцам? Ведь им многое нужно знать. Им нужно знать и те поборы, которые теперь вздумали взимать некоторые новороссийские помещики за переезд через мостики, и всякие иные поборы, о которых ходок разузнает, справляясь обо всем «под рукою» и с которыми знакомит потом собирающихся переселенцев прежде, чем им сделать бесповоротный шаг с старого места. Опять все это мы мерим десятком лет, тогда как народ теперь уже чувствует нужду в расселении и предпочитает пожертвовать полтиною с души на посылку ходока, чем опрометчиво тронуться со своего пепелища. Таким образом, хотя посылка ходоков мера весьма старая и мера, к которой в других странах (живущих совершенно при иных условиях) нет никакой нужды обращаться, но у нас ее не только можно терпеть, но ее и трудно заменить иною мерою, не свойственной общему состоянию страны. Важнее же всего то, что на эту меру можно теперь же вполне положиться, как на меру, которою народ спасет себя от обманов и при ней безопасно воспользуется всеми выгодами, предоставляемыми коммерческим способом переселения. Вот в каких соображениях я указывал на ходоков в Политико-экономическом комитете и в каком снова указываю на них, говоря о необходимости немедленного допущения нового способа переселения. Надеюсь, что меня никто не упрекнет в желании отстаивать старые формы потому только, что они старые, и патриархальностью их доказывать их превосходство пред новыми способами, рациональность которых признана в Западной Европе. Я только говорю, что, принимая в расчет современное нам положение земледельческого класса, из которого выходят почти все наши переселенцы, и припоминая все то, что нужно сообразить переселенцам, трогаясь с места и запасаясь в дорогу и волчьими зубами и лисьим хвостом, — ходоки — лица еще вполне современные и подчас незаменимые не только в оценке удобств новой страны и пути к ней, но и в составлении тех соображений, которые, по словам автора, заставляют переселенца искать «не одного вещественного благосостояния, а и гарантий нравственных». Автор «Года на севере» С. В. Максимов, на которого я позволю себе сослаться как на известный авторитет, говоря о страданиях великорусских крестьян, расселенных по берегам Амура, говорит, что «самый существенный недостаток, обусловивший

естественным образом неудачу новых населений на Амуре, состоял в том, что крестьянам отказано было в праве заблаговременно отправить на места депутатов, которые, будучи выбраны обществом и знакомы с его требованиями, отвечали бы за выбор мест водворения» *. Высшее правительство никогда в этом не отказывало. Успешное переселение в Крым полтавских крестьян объяснено тем, что «крестьяне прежде подачи просьб о переселении обыкновенно посылают от себя выборных, чтобы осмотреть место нового поселения и навести под рукою нужные справки». После принесения ходоками хороших вестей, «не приходится производить понудительного переселения, а остается только регулировать ревность крестьян к переходу, сообразуясь с размером сумм, отпускаемых ежегодно на переселения». А если эта патриархальная мера может служить ручательством за возможность допущения у нас свободных переселений при содействии частной предприимчивости, то, полагаю, в этом смысле ее нельзя назвать совершенно непрактичною, ибо лучше, чтобы дело начало делаться немедленно, с надеждою на ходоков, чем ждать бог весть сколько, пока народ захочет начинать его, полагаясь на книги.

Меня, может быть, еще упрекнут в том, что я придаю слишком большое значение участию коммерческих компаний в переселениях, но сомневаюсь, чтобы упрек этот был основателен. Я выражаю мое мнение с голоса очень многих известных мне практических людей. Стоит пройти бедные белорусские деревни, поговорить с чиншевыми ** однодворцами западного края, погуторить с казенными крестьянами многих сел Орловской, Курской и Тульской губерний — везде одна песня: «Мы бы чего! Мы бы рады душой, да чем подымешься? чем хлопотать станешь?» Укажите им на казенное пособие, «на подъем» — что они заговорят? «Да нет, да где нам хлопотиться! Мы люди темные... видно, уж лучше тут пропадать». Становой или окружный сами объявят вызов и пособие; новое явление: «это, гляди, подвох; да куда нас погонят? да там, гляди, еще воды бьют вредные» и т. п.;

---

* Морской сборник. — 1861. — Кн. 10. — *Авт.*

** Чинш — оброк вольных людей на поместных землях. — *Сост.*

а туда, куда мужичку хочется идти (т. е. в места непривилегированные), не назначено пособия. Так дело и валит через пень в колоду. Идти же в «облюбованное» место «на выплат» (отработкой или деньгами), да еще миром, — народ, недовольный своим побытом, всегда готов, и миром всегда отстоит свои интересы на новом месте.

Еще замечательно, что во всех толках о колонизации или о русском расселении у нас всегда упускается одно обстоятельство, которого, мне кажется, не следует упускать из виду. Говоря о переселениях, у нас постоянно имеют в виду одних земледельцев. Это понятно, потому что земледельческий класс в России — самый многочисленный класс и один только до сих пор представлял людей, ищущих свободного переселения. Но теперь обстоятельства значительно изменились, и во многих других классах являются охотники оставить старые места и посвятить себя новому роду занятий в новом месте. Людей, чувствующих такую потребность, очень много между городскими сословиями: мещанами, мелкими чиновниками и отчасти между низшим духовенством — вообще между разночинцами. Люди эти вовсе не принимаются в соображение при вопросе о расселении, хотя между ними очень много личностей, которые, по роду своих профессий, считаются на старых местах вредными или по крайней мере бесполезными членами общества, тогда как они не лишены ни способностей, ни желания сделаться полезными людьми на новом месте, при новом положении. В существовании их способностей и в искренности их желаний часто невозможно сомневаться. Но на старом месте, где они, по происхождению, по воспитанию или по другим более или менее основательным причинам, рассматриваются как люди класса, не назначенного к известным работам, они не могут взяться за эти работы — или по недостатку твердой воли и умения преодолеть ложный страх, или по недостатку капиталов, или же по родственным, семейным и многим другим причинам, которые перечислить очень трудно, но влияния которых не могут отрицать люди, не гонявшиеся в жизни за одними теориями. Переселение для таких людей единственное спасение; а оно для них будет у нас возможно только тогда, когда для получения средств к переселению станет достаточно одного заявления доброй воли переселиться на новое место и отсутствия законных пре-

пятствий * оставить старое. Такой бесхлопотной возможности у нас, однако, к сожалению, до сих пор еще нет, и люди, готовые к переселению, остаются бременить города, в которых они никому не нужны и в которых не находят средств для пропитания. Людей, находящихся в таком положении, у нас больше, чем обыкновенно думают. По крайней мере можно быть уверенным, что их стало бы на составление нескольких цветущих селений. Очень недавно в небольшом кружке одного из наших университетских городов носился слух, что почтенный русский ученый [3], гуманные статьи которого тогда производили сильное впечатление на молодое племя, оставляет службу, уезжает в свое небольшое бессарабское поместье и дает место всем, кто захочет жить около него честным сельским трудом. Боже мой, какое это было время! Какое благородное и честное стремление охватило десятки голов, самых умных, самых мыслящих голов, несмотря на то что они с самого детства слышали только о необходимости «сделать себе карьеру»! Казалось, что новый Ланарк, расторгнутый недоброжелателями своего достойного основателя, возродится у нас. Но, увы! стремлениям этим не было суждено осуществиться: хотели осуществить их иначе, но для осуществления их тогда не было средств; а после... после многое изменилось...

Жребий мира
Их по лицу земли разнес.

Бог знает, где теперь эти мечтатели! Может быть, не один из них пошел той торной дорогой, по которой идут многие люди и добрые, и честные, но не свободные от тех пятен, с которыми бы они никогда не сроднились в ином положении. Будь тогда средства — может быть, теперь указали бы в России на селение, где люди, убрав мешок кукурузы, садятся читать и Миля, и Тьера, и Роберта Оуена. Да! средств, средств к переселениям нужно! Их нужно не для одних крестьян, а для всех, кто еще не совсем погиб в тяжкой, безысходной борьбе с гнетущими условиями экономических безурядиц. Никому никогда не поздно исправиться, а оставление места, с ко-

---

* Например, подсудимость. — *Авт.*

торым связаны воспоминания об ошибках прошлого, и новый, честный, естественный образ жизни — одно из радикальных средств исправления, с которым не сравнятся результаты пентонвильского учреждения.

Но, заговорив о ходоках, я сам ушел, кажется, очень далеко, в страну обетованную, в страну, пока только едва мыслимую. Чтобы возвратить себя на почву действительности, обращаюсь к Политико-экономическому комитету, которого я было вовсе не хотел касаться в начале моей статьи. Я не могу не сочувствовать комитету как учреждению, где подняты вопросы, самые близкие для наших интересов, и где вопросы эти обсуждались без всяких бюрократических стеснений. Теперь то время, когда комитет, по всей вероятности, снова откроет свои заседания. Я желаю им большого успеха; я желаю, чтобы результатом новых комитетских прений были конечные и ясные выводы и определения. Ему можно пожелать и еще очень многого, а главное, того, чтобы некоторые ораторы не смотрели на залу комитета как на арену для ломания копий цветословия и шли бы к решению вопросов путем более положительным и ясным, без уносчивости в пространные области всеобъемлющей науки и без неудержимого желания давать концерт на своем красноречии. Затем самый состав лиц, заседавших в комитете прошлою зимою, как мне часто доводилось слышать, подвергался осуждениям. Находили, что комитет дурно поступает, не открывая своих заседаний для гораздо большего числа посетителей. Члены комитета, сколько я помню, смотрят на это весьма различно: одни думают, что нужно расширять круг посетителей, другие этого не думают. Сторонние лица, отрицавшие всякое значение комитетских прений, нередко давали чувствовать, что собрания много бы выиграли, если бы пополнились их присутствием. Некоторых из людей, умевших проводить эту мысль, я имел удовольствие после слышать в двух заседаниях комитета грамотности, учрежденных при вольно-экономическом обществе, и полагаю, что Политико-экономический комитет, не воспользовавшись их сведениями и соображениями, не понес невознаградимой потери; но полагаю также, что со стороны комитета было бы очень благородно расширить по возможности круг приглашаемых лиц, хотя для того, чтобы ознако-

мить некоторых господ с обязанностью выслушивать чужую речь до конца и говорить в свою очередь, а не тогда, когда вздумается. Некоторые заседания комитета грамотности весной этого года показали, что нам еще не совсем знакомы самые простые законы публичных прений; а это очень печально, особенно теперь, когда мы ожидаем права говорить за себя в суде.

«СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА» (1862)

[С НОВЫМ ГОДОМ!]

С.-Петербург, 31 декабря 1861 г.

С Новым годом, с новым счастьем! Вот слова, которыми приветствуют друг друга в день нового года родные, друзья и знакомые. В этих словах нет, конечно, ничего дурного и предосудительного; напротив, ими выражается желание счастия ближнему, стало быть, смысл их и хорош и звучат они приятно, а потому-то и вошли в общее употребление. Но если поглубже вникнуть в смысл этих слов, то он окажется не столь отрадным, как представляется с первого взгляда. С новым счастьем! Прекрасное пожелание, но тем не менее счастье — дело случая и произвола. Счастливец тот, кому везет, а везет не всегда достойнейшему. Когда честный труженик получает за труды свои должное воздаяние, за небольшие труды — немного, как и следует, а за большие — много и вполне по заслугам, тогда нет для него счастия: тогда только оценены его заслуги и труды; тогда он получает, так или иначе, только надлежащую плату за них. Этого-то единственно, а ничего другого, т. е. не лишнего вознаграждения, не счастия, желает себе и другим человек, вполне развитый, сознающий свои права и обязанности, сознающий свое человеческое достоинство. При таком сознании невозможно желание большего, чего-либо иного, кроме правильного вознаграждения за свои труды. При таком сознании человек не просит для себя счастия, ни у бога, ни у людей. Он знает, что потому-то, между прочим, и велико число несчастливцев, что есть счастливцы, которые получают многое, пользуются разными благами случайно, по воле судьбы, счастья, а не

всегда за труды, не по заслугам и достоинствам. Он не завидует таким счастливцам: завидуют не вполне развитые, а не развитые люди, и завидуют обыкновенно тем более, чем менее заслуживают и достойны того, что составляет предмет их зависти. Вполне развитый человек, сознающий, по возможности, мировые законы и условия общественного благосостояния, никогда не бросит камня ни в кого, ни в счастливца, ни в несчастливца; он не сделает этого уже потому, что не завидует и счастливейшим, и не счастие того или другого человека возмущает его душу, а то, что причина счастия для одних служит причиной несчастия или неудач для других. Совпадение счастия для одних и несчастия или неудач для других необходимо и неизбежно именно тогда, когда одним, обыкновенно многим, судьба не воздает должного, а другим, немногим, воздает не по заслугам. Другими словами, для того, чтоб одни, немногие, получали слишком много, необходимо, чтобы другие, многие, получали слишком мало. Счастие для одних, в большей части случаев иначе и невозможно, как на счет несчастия для других, и невозможно именно потому, что, по законам природы, каждому дается столько, сколько ему нужно, и тем более, чем более заслужено им для себя и другими для него. Мир устроен не как попало, а дивно-гармонически. Нет лишних сил и даров природы в нем, а потому каждый из нас вправе получать только то, чего он заслуживает и что законным образом принадлежит ему. На основании этого-то закона, никто не может получать лишнего, без прямого или косвенного произвола случая или счастия.

Вникните поглубже в смысл русского слова счастие, и вы убедитесь, что этот смысл объясняется как нельзя лучше тем, что и в нашем русском обществе, как во всех других, далеко не всегда воздается человеку по заслугам, а именно одним воздается слишком много, другим слишком мало; одним везет, другим не везет; у одних есть сильные покровители, у других нет их, и т. п.; тот, кому так или иначе везет, везет во что бы то ни стало, не всегда по заслугам и трудам, а потому за счет заслуг и трудов других людей, его ближних, тот счастливец, тому улыбается счастие — и вот этого-то мы желаем друг другу! А это значит, если поглубже вникнуть в смысл нашего желания, что мы желаем

и дурного, и невозможного. Мы желаем дурного, потому — что, конечно, нехорошо и непрочно то явление, то условие нашего личного благосостояния, которое основано на несчастии или хотя бы только на неудачах для многих; мы желаем невозможного, потому — что невозможно счастие для всех и невозможно оно именно потому, что счастие, которого мы желаем себе, а иногда и другим, зависит только от случая и случайностей, и притом такого рода случайностей, которыми обусловливается не благосостояние общества, а нечто совершенно ему противоположное.

Конечно, побуждение, заставляющее нас желать такого рода счастия подчас всем и каждому, не только не дурно, но даже положительно прекрасно; но нехорошо то, что мы далеко не вполне сознаем подобное желание, а потому и желаем дурного.

Что же желать нам, если не счастия? — спросят нас.

А прочно ли ваше счастие, счастие, которого вы желаете себе и другим? Испокон века почти все желают его, некоторые и пользуются им, но прочно ли оно и что путного от него для общества, для всех и каждого? Куда ни взгляните, на одного счастливца — много несчастливцев, да и положение самих счастливцев далеко не прочно. Не все то золото, что блестит. Счастие иногда скоро, иногда нескоро приходит, по уходит почти всегда скоро, и всегда непрочно. Счастие, по одной бурятской легенде, высокая колоссальная баба, которая потеряла своего сына и по всему свету ищет его. У этой бабы только один глаз и притом на темени, а потому, отыскивая своего сына и никого и ничего не видя, она схватывает первого встречного, кто только попадется ей под руку, подымает его и подносит к своему темени. Тут видит она, что опять схватила и нашла она не сына своего, а чужого, и потому тотчас же с сердцем отбрасывает его от себя.

Чего же желать нам вместо такого счастия? Желать можно многого. Например, можно и должно желать, чтобы люди сознавали свои желания, и потому, вместо того, чтоб желать счастия, как они обыкновенно понимают его, хорошо было бы, если б они желали действительного счастия, не блестящего и мишурного, а прочного и возможного только при общем благосостоянии. Чем более общего благосостояния, тем

возможнее для всех и каждого действительное счастие, тем прочнее оно; тем, правда, менее блестящих, исключительных счастливцев, но зато тем менее и несчастливцев. Общее же благосостояние возможно только там, где более трудятся и зарабатывают, чем проживают и проматывают, где наиболее правды в судах и жизни, где наименее произвола и прихотей.

Но возможно ли общее благосостояние и разумно ли желать его? Не значит ли это желать невозможного? Общее благосостояние возможно и естественно, оно одно удовлетворяет требованиям вечных и непреложных законов, начертанных Провидением. Нельзя же допустить, чтобы Провидение требовало от нас исполнения его правдивых законов, начертанных для нашего блага (ибо исполнение их ведет только к благу и не допускает зла), и в то же время, чтобы то же самое Провидение противодействовало нашему благу, т. е. общественному благосостоянию. Мы знаем, конечно, что в мире большой недостаток, недочет в общем благосостоянии, но ведь это не без причин, как не без причин и то, что есть счастливцы. Не будь таких причин — не было бы и таких счастливцев, не было бы недочета и в общем благосостоянии. Устраните эти причины, и вы устраните пролетариат, пауперизм и вообще всякого рода общественное зло; вы не только сделаете общее благосостояние возможным, но и водворите его в мире или той части или частичке мира, на которую вы можете влиять настолько, чтобы устранять в ней подобные причины. Конечно, одно устранение причин всевозможных зол не создает мгновенно общего благосостояния, но оно, по крайней мере, приблизит час его и сделает его возможным, даже неизбежным.

Да и смешно было бы требовать не только создания, в самое короткое время, общественного благосостояния, но и мгновенного, быстрого устранения условий и обстоятельств, противодействующих жизни правильной и счастливой. Хорошо уже то, что возможно и даже необходимо устранение таких условий и обстоятельств. Остальное — дело времени, а также и трудов, заслуг. Кроме даровых сил природы, Провидение ничего не дает даром и случайно: оно бесконечно правдиво, и потому все то, что есть у нас действительно хорошего, полезного, благотворного и прочного, то приобретено или нами самими, или нашими отцами, и приобретено

законным образом, честными и полезными трудами, действительными заслугами.

Но люди возразят нам на это: даже великие умы, гениальные государственные люди, испокон века, целые тысячелетия, хлопочут об общем благосостоянии, ежедневно создают для этой цели новые теории, придумывают разные меры, иногда даже жертвуют собой для достижения общего благосостояния, а оно не только не осуществилось, но даже и не составляет еще предмета общего, единодушного желания.

Правда, оно не осуществилось, но зато осуществляется. Взгляните на мир — мир идет вперед; взгляните на нашу Русь — и наша Русь идет вперед.

Разве современный мир походит не только на древние, но и на феодальные времена? Разве современные государства и администрации, несмотря на все недостатки в них, не лучше, по своему устройству и своим началам, государств и администраций древних и средних веков, даже прошлого века и начала нынешнего? Разве личность человека не развивается ежедневно и не приобретает новых прав для себя? Прежде, в былые времена, большинство людей состояло повсюду из рабов, если и не всегда по имени, то всегда по существу дела, а теперь не то. И теперь над большинством тяготеет еще множество враждебных его развитию и благосостоянию обстоятельств, но с каждым днем, хотя это и незаметно подчас, эти обстоятельства слабеют, устраняются. Не приходите в отчаяние от тех сил и бедствий, которые еще преследуют человечество даже в самых передовых странах мира; не пугайтесь, что еще далеко не одни нравственные законы правят миром и что произвол и насилие нередко и во многом преобладают в нем: нередко и во многом, а не всегда и не во всем. Всмотритесь в то, что совершается перед вами, и вы увидите, что между злом и добром, между ложью и правдой, между произволом и правом идет не только ежедневная, но и ежемгновенная борьба, и теперь не то, что было прежде: теперь дело правды, истины, добра и правды чаще прежнего берет верх и одерживает блестящие победы над произволом, над ложью и неправдой. Вникните в эту борьбу, и вы убедитесь, что она и необходима, и благотворна, и рано или поздно кончится решительным торжеством нравственных, благих начал. В этой-то борьбе и выраба-

тываются и крепнут лучшие начала; в этой-то борьбе и слабеют ежедневно и уничтожаются ежеминутно начала, враждебные добру и правде. Эта-то борьба и есть лучшее доказательство, что мир человечества не неподвижен, что он не гибнет и не дряхлеет, а, напротив, крепнет и растет как духом, так и телом, что он идет вперед и пойдет вперед!

А с ним и наша Русь идет вперед! Шесть лет всего прошло с окончания последней войны, а сколько уже пережито, передумано, переделано с тех пор в России! Сколько осуществилось в это время и такого, о чем и говорить не смели мы едва шесть лет тому назад. То, о чем только мечтали и гадали всегда лучшие граждане России, то совершено в наше время: крепостное право уничтожено, и наша Русь спасена, освобождена от него! Сколько и других более или менее важных и отрадных событий совершилось у нас в этот краткий период времени! Если не каждый день, то каждая неделя или, по меньшей мере, каждый месяц представлял нам какой-либо несомненный факт о поступательном движении вперед как нашей администрации, так и других элементов нашей жизни. Служба наших солдат значительно облегчена, быт их несомненно улучшен; твердо задумано и положительно начато дело облегчения участи и мещанского сословия; часовая стрелка приближается к цифре, показывающей последний час откупной системы, тоже своего рода крепостного права; в нашем судопроизводстве готовятся значительные реформы; создано учреждение мировых посредников и волостных судов, быстро устраивается на прочных началах наш сельский мир, перестраивается, хотя медленнее, и мир городской; Россия обогащается народными школами; литература наша не отстает от общей жизни и общего движения в России. Куда ни взглянешь, почти повсюду или избавление от лишних уз или преград, или облегчение. Уже теперь сбываются пророческие слова поэта: «Россия вся в будущем». Действительно, она не прозябает, как прежде, она живет и мыслит; живет, потому — что мыслит, а мыслит, потому — что живет, и настолько живет, насколько мыслит.

Правда, как в мире вообще, так и в нашем русском мире, не все лучшее есть уже наилучшее, не все еще хорошее приобретено, не все необходимое уже добыто

нами; но хорошего понемногу, по поговорке. Явись все хорошее зараз, вдруг, так и не разберешь его, пожалуй, не отличишь надлежащим образом от дурного, не оценишь как следует, проглядишь, пропустишь его и не воспользуешься им умно и разумно, а без такого пользования и хорошее немногим разве лучше дурного. Да притом же и хорошее тогда только вполне хорошо, когда вполне сознано, когда вполне заслужено, а все ли мы сделали и делаем для приобретения всего хорошего? Не каждый ли почти из нас рассчитывает более на свое *счастие*, нежели на свой *труд*, и на более или менее благоприятные обстоятельства, нежели на сознание своих обязанностей, на полное и честное исполнение их? Каждый ли из нас так внимательно и усердно метет ступень, на которой стоит в общественной жизни, как это необходимо для того, чтоб вся общественная лестница была чиста[1] и проходима? Ведь общественная лестница — общая лестница; общими силами надо и мести ее, т. е. каждый должен мести ту ступень, на которой стоит, а мести ее каждый из нас может честным исполнением своих обязанностей, как бы велики или незначительны и невидны ни были они. Исполнение обязанностей важнее пользования правом: второе без первого невозможно или же есть только род счастия, род богатства, которое так же скоро проживается, как и наживается! Право без соответственной ему обязанности — мыльный пузырь. Обязанность — фундамент права, и для истинно развитого и честного человека потому только и дороги его личные права, что с ними сопряжены обязанности: таким образом, и самое право есть для него обязанность; иначе он не дорожил бы им, иначе он приобретал бы право, как милость, как счастие, даром, а такой человек ничего не требует и не желает для себя *даром*, не приобретает путем насилия или подаяния ни насущного хлеба, пи чего-либо другого... Он знает, что на даровой хлеб имеют право только дети, калеки да инвалиды всех родов и видов.

Да, еще не все враждебные общественному благосостоянию начала и обстоятельства устранены; не устранено еще вполне ни одно из этих начал; но это главным образом потому, что не сознаны еще многими условия общественного благосостояния. Потому именно и продолжается и долго еще будет продолжаться борьба в

мире между добром и злом, истиной и ложью, что такое сознание есть покуда еще удел только весьма немногих. Но как бы продолжительна ни была такая борьба, исход ее известен и несомненен: зло, ложь и произвол уступят, будут побеждены, ибо уже и теперь, мало-помалу, уступают они истине и благу, закону и праву и отступают от поля битвы. Тьмы и произвола теперь несравненно менее, а света и права несравненно более в мире, чем было прежде. Многие не видят и не чувствуют этого; но это, между прочим, потому, что теперь все, а в том числе самомалейшее зло, заметнее прежнего, и в особенности потому, что люди современных нам поколений развитее, а потому и чувствительнее людей прежних поколений ко всем ударам судьбы, насилия и произвола. Мир идет вперед и пойдет вперед.

Но прочное общественное благосостояние, как и прочное благосостояние отдельных лиц, приобретается и достигается не счастием, не даром, а трудами, усилиями и заслугами. Не тот богаче других, у кого более дарового золота, а тот, кто лучше других умеет довольствоваться и пользоваться тем, что имеет. Без такого уменья и золото невпрок, а счастие так и подавно невпрок; с таким же уменьем и самый мусор, как известно, часто превращается в золото, а счастие — вещь совершенно лишняя, и достаточно, когда нет особенных несчастий, которые, скажем к слову, посещают чаще людей, рассчитывающих на счастие, нежели людей, рассчитывающих на свои труды и заслуги. Оно и должно быть так: счастие, как его обыкновенно понимают люди, не может быть прочным уже потому, что фундаментом ему служит или случай, или произвол, а не закон, не нравственное начало. Между тем, таково счастие, о котором мечтают, которого желают себе люди.

Но есть, конечно, истинное счастие: оно заключается в полноте и правильности жизни, а такая жизнь вполне возможна только при общем благосостоянии, при отсутствии всего того, что противодействует такому благосостоянию, ибо все то, что противодействует общему благосостоянию, противодействует и благосостоянию частному, и наоборот. С развитием общего благосостояния облегчается приобретение средств к жизни, насущного хлеба, уменьшается настоятельность

иметь *большие*, недоступные для большинства, средства к жизни, жизненный путь и промысел каждого облегчаются с каждым днем, произвол уменьшается, счастие, случайное счастие становится реже, зато несравненно реже и несчастия; исподволь все более и более разрушаются разного рода китайские стены между народами, сословиями и людьми вообще, человек все более и более становится вполне человеком, все более и более перестает быть животным, кусающимся и отгрызающимся, жизнь его делает и разумнее, и теплее, и полнее, и человечнее, а потому и *счастливее*.

Когда же и на сколько мы достигнем такого благосостояния и такой жизни, т. е. жизни полной и счастливой, богатой разумом и любовью, единственно достойной человека? Или никогда, или не скоро, или скоро. Это в нашей воле. Чем более будем мы учиться и размышлять, как вслух, так и про себя, тем скорее и лучше уразумеем мы условия нашего благосостояния и пути к жизни полной и разумной; чем более будем мы трудиться, тем скорее приобретем средства к такой жизни; тем более будем *веровать в общее благо* как непременное условие нашего личного благосостояния, чем усерднее и честнее будем мы служить общему делу, общему благу, тем более и приблизимся к нему. Конечно, жизнь по таким правилам подчас не так уж и удобна, как жизнь, рассчитывающая на случайное произвольное *счастие*; но зато она полнее, разумнее и единственно достойная жизнь человека, сознающего свое человеческое достоинство. Живя такою жизнью, мы не только не промотаем отцовского наследства, но оставим еще многое для своих наследников и лучше обеспечим участь их, нежели отцы и деды наши обеспечивали нас своим *счастием*. Во всяком случае, чем труднее будет нам, тем легче будет другим, а в том числе и детям нашим.

Итак, с Новым годом... но не с новым счастием, а с новыми трудами и усилиями, с новою, лучшею, более прежней разумною, деятельною, исполненною истинной любви, жизнию! — И мир пойдет вперед и наша Русь пойдет вперед!

[ДЕСПОТИЗМ ЛИБЕРАЛОВ]

С.-Петербург, воскресение, 20 мая 1862 г.

«Если ты не с нами, так ты подлец!» По мнению автора статьи «Учиться или не учиться», это лозунг нынешних русских либералов. Мы совершенно согласны с автором, что приведенная фраза есть действительно лозунг наших либералов. «Если ты не с нами, так ты подлец!» Держась такого принципа, наши либералы предписывают русскому обществу разом отречься от всего, во что оно верило и что срослось с его природой. Отвергайте авторитеты, не стремитесь к никаким идеалам, не имейте никакой религии (кроме тетрадок Фейербаха [1] и Бюхнера [2]), не стесняйтесь никакими нравственными обязательствами, смейтесь над браком, над симпатиями, над духовной чистотой, а не то вы «подлец»! Если вы обидитесь, что вас назовут подлецом, ну, так вдобавок вы еще «тупоумный глупец и дрянной пошляк».

При таких-то воззрениях в наше время слагаются репутации многих или почти всех общественных деятелей. Мы не хотим касаться репутации лиц, действующих в сфере правительственной, а скажем только кое-что о репутации нынешних литераторов в обществе и в своем литературном кружке.

Общество и кружок смотрят на литераторов разными глазами. Общество уверено, что литературный круг есть круг самый свободолюбивый, самый либеральный. Одни очень почитают литераторов и охотно раскупают их фотографические карточки, а другие считают их опаснейшими людьми, и не только не покупают их карточек, но не могут равнодушно слышать никакого намека о литературе. Всякий литератор, по понятиям сих последних, якобинец и санкюлот, а русский литератор сверх того еще непременно пьяница и невежда. Людей, хранящих такое мнение о русских литераторах, конечно, не стоило бы и вспоминать, но мы вспомнили их для того, чтобы показать, что почитатели литературы точно так же, как ее враги и ненавистники всей пишущей братии, совершенно сходятся в том, что все литераторы — либералы. Несмотря на различные точки зрения тех и других, понятия их о либерализме совершенно тождественны. В нашем суетном и нераз-

витом обществе самые святые слова получают нередко совершенно превратные значения, и это особенно ярко заметно в понятии об эмансипации, о либерализме и о либералах. У людей, смотрящих на жизнь трезвыми глазами, либерален тот, кто готов, не щадя собственных интересов, до последнего истощения сил, стоять за законную независимость каждого гражданина и за свободу каждого действия, не нарушающего блага и спокойствия общества. У людей невежественных или дурно воспитанных и не понимающих ни причин человеческих стремлений, ни явлений, вызываемых анархией и деспотизмом, в какой бы форме они ни проявлялись, либерал есть враг существующего порядка. Тревожные и дурно воспитанные люди не понимают, что можно быть con amore * врагом всякого существующего порядка и не быть либералом. Они, кажется, даже не понимают, что неаполитанские разбойники хоть и враги существующего порядка, но их нельзя назвать либералами, а король Виктор-Эммануил [3], лорд Шевтесбюри [4] и наш покойный Мордвинов [5] — либералы во всем значении этого слова. Но нередко общество в деле определения личных качеств писателя бывает гораздо дальновиднее литературного кружка. Честность или благородство тех, кого оно знает, у него определяются совсем иначе. Например, допустим, что общество знает двух литераторов: один князь, человек не без дарований, но и не без средств, живет то в аристократической квартире, на Английской, что ли, набережной, то в казенном доме, хоть у Михайловского театра. Князь — человек вполне деликатный и добрый, человек, готовый помочь всем и каждому, не разбирая ни политических, ни иных убеждений того, кто нуждается в его помощи. В числе литературных рабочих очень много людей, обязанных князю деликатною поддержкою в самые крутые минуты, и ни в одном литературном воспоминании нет материалов для очернения личности этого князя. Что же? Общество скажет, что князь NN прекрасный человек, и общество будет право! Другой литератор, человек с большими дарованиями, в каждой странице своей прозы, в каждой строфе своих стихов плачет хамелеоном над бедностью и пролетариатом и держит лакея, который с холопским высокомерием встречает

---

* С любовью (*ит.*). — *Сост.*

бедного литератора и не допускает его видеть светлых очей проповедника абсолютного равенства и гуманнейших начал. А гуманист, задыхающийся от забот, чтобы у всех было всего поровну, и ухом не ведет, что литературному рабочему нужно было видеть его, а не его соболью шубу. Тут начинается ходьба, и бедняга труженик узнает, что от слова до дела очень далеко, а общество, поглядев на эту процедуру, говорит: ваш либерал не добрый и не благородный человек! В литературном же кружке этого не скажут, потому что не смеют сказать правды тому, у кого чувствуют силу, для этого нужны независимость и свобода мнения, а их нет у наших литераторов и либералов, неумеющих уважать в человеке человека, а не его фразы и не его плебейское происхождение, которым теперь гораздо удобнее гордиться, чем графскою или княжескою кровью. Общество труднее обманывается подобными вещами и судит людей по делам их, зная хорошо, что иное унижение бывает паче гордости. Но мы уже сказали, что наше общество до сих пор мало знакомо с направлением и с жизнью русских литераторов и считает их всех заурядпочти одинаковыми либералами. Исключение составляет г. Аскоченский [6], как присяжный защитник тьмы и застоя.

В литературном кружке, где почти все более или менее знают один другого, далеко не все пользуются репутацией людей либеральных. Одним здесь говорят или дают чувствовать, что «если вы не с нами, так вы...»; другим «и вы не с нами, так вы тупоумные глупцы и дрянные пошляки»; либералами же называются только те, которые сами называют людей, поступающих по своим убеждениям, тупоумными глупцами и дрянными пошляками. Тупоумными глупцами и дрянными пошляками они называют честных людей, которые не верят в пользу форсированных движений и признают незаконным навязывать обществу обязательства делать то, чего оно не хочет делать, потому что, вероятно, еще неспособно кое-чего делать.

Подлецами чествуются те, кто не отвергает человеческого права в лицах, не благоприятствующих видам либералов, кто чтит право всякого свободного убеждения и не оправдывает гнусных мер для достижения великих целей уравнения всех во всех от-

ношениях, не исключая и имущественного. Тех же, которые позволяют себе хоть слегка опровергать в печати эти мнения, при случае называют и доносчиками. Вот как слагается в наши дни репутация литераторов и даже целых редакций в русском литературном мире!

Что же значат слова: подлецы, глупцы и пошляки на языке этого почтенного кружка? Есть ли между нашими литераторами люди, торгующие своими убеждениями или изобличенные в преступлениях, отвергающих человека от честного сообщества? Кто же они, эти люди? Зачем же терпеть их?.. Пересматривая внимательно составы всех известных нам редакций, припоминая все вероподобные и вовсе невероятные толки о постоянных литературных рабочих, мы не можем встретить ни в одном неофициальном журнале или газете ни одного человека, который откуда-нибудь получал бы что-нибудь за направление, в котором он проводит свое учение. Обстоятельства позволяют нам говорить откровенно. Одна меньшая часть меньшинства действует по своим личным убеждениям, имея целью свободу права личного и неприкосновенность интересов общих; другая часть меньшинства (несколько большая) сознательно стремится к подчинению свободы личной деспотизму утопической теории о полнейшем равенстве дурака с гением, развратного лентяя с честным тружеником. Прелесть этого идеального блаженства при существовании такой милой теории и совершенное отсутствие познаний, которые не допускают человека стоять за химеру (если у него нет задних мыслей), увлекают все молодое, все пылкое, все враждебное рутине и жаждущее реформы, с которой пойдет новая жизнь, откроется новое, широкое поле. Это большинство. У них нет задних мыслей и нет сторонних, нечистых побуждений. Нечистых побуждений, вроде тех, которыми были движимы французские литераторы известного направления, мы у себя, слава богу, пока еще не знаем и не смеем подозревать способности к нему ни за одним из представителей нашей современной литературы. Сокровенные надежды (если они есть) могут быть только или у той крошечной части литературы, которая стоит за право личной свободы, или у людей, руководящих увлечением большинства. Такие надежды в головах литераторов, стоя-

щих за право личной свободы и уважения к законам, религии и нравам, — невозможны. Люди этого направления очень хорошо знают, что история всегда повторяется, ибо человечество больше или меньше везде одно и то же, а везде, где оно переживало тот фазис развития, в который вступила Россия с освобождением крепостных людей, ему в такую пору не по силам было внимать искреннему призыву к любви, терпимости, просвещению и порядку. Везде в такие эпохи у общества развивались другие симпатии, которым более приятен лживый язык проповедников крайних, а не прямое слово людей, знающих настоящий тон бубен, славных только за горами.

Людям, которыми недовольны крайние либералы, нечего ждать и из других сфер, ибо и в этих сферах ими недовольны и недовольны очень искренно. За ними только одно сочувствие горсти истинных друзей свободы и сознание собственной правоты перед святой идеей свободы, отвергающей и деспотизм одного лица, и деспотизм масс. У людей этого направления не может быть никаких своекорыстных расчетов, им не на кого и не на что надеяться в нынешнем обществе, и они могут полагаться только на то, на что полагался наш благодушный Государь, подписывая увековечивший его имя манифест 19-го февраля, т. е. на здравый смысл нашего народа. Между тем представители сказанного направления в литературном кружке слывут за людей нелиберальных, «тупоумных глупцов и дрянных пошляков»!..

Литературная полемика так давно испытывает терпение русских читателей, что уж пора, наконец, не обинуясь то сказать, что давно хочется сказать и от чего мы, в свою очередь, «долго удерживались».

Мы уже слыхали, что во всей русской литературе, держащейся двух главных направлений, из которых во главе самого распространенного стоит Современник, а второе в начале имело своим представителем Русский Вестник, мы не знаем ни одного органа, даже ни одного сотрудника, который торгует своими убеждениями, и потому часто слышащиеся слова: «он честный литератор» или «он...» не имеют никакого основания. Может быть, одни действуют искреннее других, что весьма натурально находится в прямой зависимости от основательности взятых принципов; но людей, пишущих

по каким-нибудь корыстным расчетам, низводящим писателя на ступень публичного лжеца и подкупленного клеврета, мы не знаем в современной русской литературе, а если есть у нас такие люди, то их следует обличить. Но марать всех людей несогласного с большинством направления за то только, что они не симпатизируют смешным штучкам и не увлекаются утопиями, — нечестно, и такая постановка в глазах всякого здравомыслящего человека ставит порицаемого выше порицателей. Живя преимущественно в своем довольно тесно очерченном кружке, наши журналисты упускают из вида публику, для которой они пишут, и тем в одно и то же время свидетельствуют и о собственной бестактности, и о своем неуважении к обществу, об интересах которого они столько печалятся. Если бы журналы прислушивались к общественному мнению, которое они должны выражать, то, может быть, многие убедились бы, что самое распространенное в русской журналистике направление не есть направление общества, и сознались бы, что навязывать его обществу значит деспотствовать над его развитием. А еще столько толков о предоставлении нации самобытного развития!.. Где же цель-то? Ведь это все слова и слова, а на деле всякий «кто не с нами, тот подлец»! Это предоставление самобытного развития? Это свобода мысли и совести? Это либерализм? Нет, это насилие французских монтаньяров, это грубое невежество русских раскольников поморского согласия, замирающих от злобы, что им «повольготнело, да и белокринницкие подняли носы», тогда как им хотелось только одним поднять носы. Ведь это явление современное, и между раскольниками и между литераторами вырастает как раз одно и то же отношение, в которое стало большинство либеральных писателей теоретического направления к писателям, желающим порядков, дающих счастье народу, а не вручающим ничьей головы в руки невежественных инстинктов слепой массы или маленьких демагогов, в которых лежат зародыши великих деспотов.

У нас честность литератора еще часто определяется опасностью его тенденций. «У нас любят похвастаться: каким-де я опасным делом занимаюсь», заметил как-то Русский Вестник, и заметил очень справедливо: у нас смерть любят этим похвастаться. Оно и в самом деле очень эффектно. Но что

пользы, спрашиваем, во многих опасных занятиях? Что от них выигрывает или может выиграть общество? Ведь и фальшивую монету делать операция очень опасная, но что же за заслуга в этом деле? И крестьянам очень опасно разъяснять значение библейского бытописания; даже не при дедах наших был случай, когда один, покойный уже, передовой человек испытал на себе опасность такого разъяснения; но что же мы можем питать к таким людям, кроме сожаления о их несообразительности и незнании жизни? Истинный либерализм не нуждается в подобных мерах и своею верною, открытою и честною дорогою дойдет до своей задачи — до возведения общества на ту ступень развития, при которой немыслим ни открытый деспотизм, ни волки в овечьей шкуре.

Еще один упрек слышится от литераторов литераторам. У кого-нибудь ясно сквозит мысль, которая по цензурным правилам не должна быть сказана, а сказана только между строк, благодаря ловкому замаскированию ее. Другой, возражая на эту мысль, разовьет ее несколько пояснее. «Батюшки! — закричат, — донос делают!» Кому, какой донос? Неужели же те, к кому мог бы адресоваться донос, так близоруки, что за формою не видят существа мысли? Был ли хоть один случай в истории современной русской прессы, чтобы, по поводу спорной статьи началось какое-нибудь преследование лица, написавшего статью, возбудившую спор? Если что бывало, то не вследствие литературного спора, а прежде, чем он мог начаться. Из-за чего же лишать общество возможности знакомиться с воззрениями писателей различных направлений? Из-за чего лишать нашу страну разностороннего обсуждения каждого касающегося ее вопроса? Не понимаем этого маневра, а что это маневр — в том мы нимало не сомневаемся. Будем еще более откровенны: нам довелось слышать несколько замечаний, что мы нападаем на один журнал в то время, когда ему и без этого нездоровится. Упрек этот мы в свое время сочли совершенно неосновательным и не отвечали на него, но теперь к слову о том, как легкомысленно и недостойно литераторы одного направления обращаются с репутацией литераторов другого направления, скажем слово и на этот упрек. Мы поставили себе правилом не обременять нашей газеты полемикой, смысл которой вполне доступен только литературному

кружку, понимающему всякий литературный полунамек и недомолвку. Поэтому мы никогда не нападаем ни на один журнал; но у нас есть один журнал, с стремлениями которого мы положительно не согласны, и мы этого нимало не скрываем; журнал этот есть Современник. Мы уважаем талантливых сотрудников этого издания, но не разделяем их убеждений. Что ж тут худого? Чем мы кого оскорбили? Ведь Современник и вся бóльшая половина литературы, которая идет под его знаменем, не согласны же с нашими убеждениями и поступают с нами так бесцеремонно, как никогда не поступали с человеческою мыслью никакие деспоты; мы же против этого не вопием! А кто из нас имел бы в настоящее время более права жаловаться на свое положение, про то мы знаем. Но мы никогда не станем жаловаться ни на какие толки и перетолки, распускаемые досужими людьми, и не отступим от своего знамени ни на шаг, ни на волос! Мы знаем, что дело, безопасное сегодня, может завтра быть очень опасным, и опасное сегодня, завтра очень безопасно; но при каких бы обстоятельствах ни пришлось нам делать свое дело, мы будем делать его в духе наших убеждений до тех пор, пока можем его делать в духе своих убеждений, не называя никого ни «тупоумными», ни «дрянными пошляками», и не склонимся к либерализму, имеющему своим лозунгом: «Если ты не с нами, так ты подлец!»

Мы чтим в коноводах наших литературных противников их искренность и никогда не относимся к ней с тою легкостью, с которою непозволительно, по нашим понятиям, осуждать чужое убеждение, не опровергая его доводами. Мы готовы верить, что во главе несогласного с нами литературного кружка стоят люди, убежденные в правоте своего учения, но не допускаем такого убеждения в других поборниках этого учения: ибо для того, чтобы отвергать что-нибудь разумно, нужно хорошо знать отвергаемое, а этого знания мы, грешные люди, не видим, а чего не видим, в то и не верим. Все те, с чьими строками постоянно знакомы читатели Северной Пчелы, связаны единством своих убеждений и готовы спокойно встречать все нарекания, которыми угодно их честить вблизи и издали. Мы сказали не обинуясь и наши воззрения, и наши верования, и наш пароль и лозунг. Нам нечего стыдиться и ни у кого нечего заискивать; это не в духе нашего либера-

лизма, и мы пойдем своею дорогой, не обращая внимания ни на кого, а тем менее на людей, не умеющих уважать свободу мысли и независимость взгляда. Нашими оппонентами могут быть только те, кто умеет спорить, не ругаясь, а нашими врагами — враги свободы и спокойствия наших сограждан. Нам дела нет, у кого в каком состоянии здоровье после того, когда он напишет то или другое. Мы возражаем на мысль и справляться о здоровье нам некогда, да мы и не думаем, чтобы кому-нибудь уж очень нездоровилось. А если бы и действительно кому нездоровилось, то чем же мы этому причинны? Мы всегда желаем самого цветущего здоровья, и никому кукельвану * не подмешиваем, а благо страны, по нашим понятиям, требует отклика на всякую мысль, с которою мы несогласны. Современник и Искра тоже, кажется, этого убеждения, ибо они не справлялись о здоровье Н. И. Пирогова и Политико-экономического комитета, существовавшего при Географическом обществе, когда и Пирогову, и комитету было не по себе [7]... Да и, наконец, ведь не мы же в самом деле хотим чьей-нибудь лихой болести! Но не со всеми же нам соглашаться! Ну, например, если какой-нибудь мальчик напечатает какой-нибудь преполезный по его ребяческому разуму, смешной и бессильный ультиматум, а кто-нибудь сочтет эту гиль опасною, и оттого положение сочинителя сделается действительно опасным, то неужели нам сочувствовать и ребяческим бредням только потому, что они изданы при опасных обстоятельствах? Ведь это было бы смешно и наши читатели могли бы усомниться в здоровом состоянии нашего мозга! Кто же из мало-мальски смыслящих людей поверит в силу каких-нибудь клочков, например, хоть той подпольной прессы, произведения которой преследуются полицией и легко могут сделаться причиною несчастий для своих производителей? Наше сердце обливается кровью, когда мы подумаем о семейных катастрофах, которые могут быть внесены в семьи энтузиастов, идущих с завязанными глазами к пропасти и не замечающих, что они одни идут к ней, а ближние и искренние стоят одалече... и из всего этого никому никакой пользы. Мы уверены, что неразумными увлечениями их руководят не корыстные побуждения, не черные страсти, и от

---

* Кукельван, куколь — ядовитое растение. — *Сост.*

того большим грехом против своей совести считаем не просить тех, кто имеет уши, да слышат нашу мольбу о спасении этих энтузиастов, увлеченных прелестью опасных занятий. Мы просим всех и каждого сообщить тем, кто способен увлекаться прелестью этих занятий, что общество, приемлющее с улыбкой праздного любопытства плоды «опасных занятий», смотрит на все опасное производство как на моду, как на фатовство. В прежнее время, говорят, люди известного сорта выражали свою удаль в том, что, постучав вечером в васиздас * немецкого булочника, обрызгивали отворившую васиздас германскую персону из клистирной трубки, а нынче тот же разбор любителей небезопасных развлечений шутит другим образом — вот и все!

Мы не хотим видеть ничьей погибели и особенно погибели напрасной, бесполезной для общества, а потому смело обращаемся с нашей просьбой подумать: «стоит ли игра свеч?», и если встретим листок, в котором нас мерят на тысячи, то только об одном просим наше правительство: человеколюбиво взглянуть на порывы и увлечения энтузиастов и не надевать на шалунов венца мученического, способствующего новым увлечениям, а прессе даровать права, исключающие возможность называть несогласное с кем-нибудь мнение доносом или официозностью, от которой мы оправданы теми же честными устами, которые произнесли это обвинение. Мы просим также наших собратий, способных ставить интересы общества выше своих личных интересов, измерять заслуги издания не цифрою подписчиков, а степенью доверия к ним общества и пользой, которую они могут принести России, чтобы в нашей молодой литературе умер дух нетерпимости. Различие направлений в литературе — дело самое естественное, и оно выражает ее жизнь. Около 30 лет вся русская журналистика была одного направления, и было очень скверно. Теперь начинается партийность, выходят способные люди того и другого направления: дайте же им выговориться! Кто ошибается и кто прав — «толкач муку покажет», но измените лозунг, дающий право обществу, которое вы поучаете гражданским добродетелям, засмеяться вам в глаза и сказать: врачу! исцелися сам! А потеряв кредит в обществе, подумайте: кому вы его от-

* Форточка (*фр.*). — *Сост.*

дадите? — злу и неправде, с которыми сражались, «и будет последняя вещь горче первой». Между всеми нами нет ни одного человека, заподозрить неподкупность которого по литературной его деятельности было бы какое-нибудь основание; недостойно же нас, ради острого словца, ради лозунга «кто не с нами, тот подлец», марать нашу честную семью намеками и обвинениями, в которые нимало не верят те, кто их произносит, а те, кому еще лучше известна неподкупность литературы, смеются над ее бестактностью.

Мы, не поклонники Современника, очень помним его выражение, что «у нас в литературе все хотят счастья русскому народу», и желаем, чтобы эта праведная мысль жила в сердце каждого русского журналиста и изгнала из него вражду за мнения, а лучше будемте спорить о том, что небесспорно, и если мы люди честные (в чем мы не хотим сомневаться), то неправый согласится с правым, жертвуя личным самолюбием пользам русского общества. Если же мы неспособны это сделать, то мы фразеры, и голос наш будет гласом вопиющего в пустыне, и народная тропа не пройдет к могиле, в которой русская литература схоронит свою могучую опору: общественное уважение!..

[НАСТОЯЩИЕ БЕДСТВИЯ СТОЛИЦЫ]

С.-Петербург, 30 мая 1862 г.

Среди всеобщего ужаса, который распространяют в столице почти ежедневные большие пожары, лишающие тысячи людей крова и последнего имущества, в народе носится слух, что Петербург горит от поджогов и что поджигают его с разных концов 300 человек. В народе указывают и на сорт людей, к которому будто бы принадлежат поджигатели, и общественная ненависть к лицам этого сорта растет с неимоверною быстротою. Равнодушие к слухам о поджогах и поджигателях может быть небезопасным для людей, которых могут счесть членами той корпорации, из среды которой, по народной молве, происходят поджоги. В несчастный день 28 мая, когда сгорели Апраксин двор, Толкучий рынок, Щукин двор, много капитальных домов частных владельцев,

дом министерства внутренних дел *, Чернышев и Апраксин переулки и многие дома и дровяные дворы по левой стороне Фонтанки, Троицкий переулок от Пяти углов до Щербакова переулка, Щербаков переулок, барки и рыбные садки на Фонтанке, в огромных толпах стоявшего на пожарах народа толки о поджогах шли вслух. Народ нимало не скрывал ни своих подозрений, ни своей готовности употребить угрожающие меры против той среды, которую он подозревает в поджогах. Во время пожара в Апраксином дворе были два случая, свидетельствующие, что подозрения эти становятся далеко небезопасными. Насколько основательны все эти подозрения в народе и насколько уместны опасения, что поджоги имеют связь с последним мерзким и возмутительным воззванием, приглашающим к ниспровержению всего гражданского строя нашего общества, мы судить не смеем. Произнесение такого суда — дело такое страшное, что язык немеет и ужас охватывает душу... Но как бы то ни было, если бы и в самом деле петербургские пожары имели что-нибудь общее с безумными выходками политических демагогов, то они нисколько не представляются нам опасными для России, если петербургское начальство не упустит из виду всех средств, которыми оно может располагать в настоящую минуту. Одно из таких могущественнейших средств — общественная готовность содействовать прекращению пожаров. В сегодняшнем нумере мы помещаем письмо, в котором заявляется весьма практическая мысль о допущении в пожарную команду волонтеров. Пренебрежение силами волонтеров в настоящее время было бы непростительно, и мы, от лица всего общества, спокойствие которого должно быть дорого начальству столицы, просим немедленно допустить желающих препятствовать общественному бедствию идти на благородное служение обществу. Следует во всех кварталах, частях, в управе благочиния и в канцелярии обер-полицмейстера открыть записку волонтеров и раздачу им небольших условных значков, для ношения на платье или фуражке во время

* В этом доме помещались: совет министра, 1-е и 2-е отделения департамента общих дел: полиции исполнительной, хозяйственный с чертежною, духовных дел, иностранных исповеданий, земский отдел по крестьянскому делу, центральный статистический комитет с замечательною библиотекой, казначейство, архивы (некоторые из них уцелели). — *Авт.*

пожаров. Этими значками могут быть нумерованные кокарды и тому подобные знаки, которых можно заготовить тысячи в один час; приобретение же тысячи охотников в такое время, когда пожарная команда изнемогла от дневных и ночных трудов, а пожары не прекращаются, — такая великая помощь, которой пренебречь был бы тяжкий грех. Нет никакого основания устранять людей, идущих на пожар с доброю целью, и лишать столицу тех средств, которые приносят с собою люди, сходящиеся на пожар, — а воровство этим не прекращается.

Мы хотим думать, или, лучше сказать, мы не хотим сомневаться, что наша мысль и общественное желание о допущении волонтеров будут приняты и допущены.

Потом, для спокойствия общества и устранения беспорядков, могущих появиться на пожарах, считаем необходимым, чтобы полиция тотчас же огласила все основательные соображения, которые она имеет насчет происхождения ужасающих столицу пожаров, чтобы вместе с тем тотчас же было назначено самое строгое и тщательное следствие, результаты которого опубликовывались бы во всеобщее сведение. Только этими способами могут быть успокоены умы и достигнуто ограждение имущественной собственности жителей!

Мы уверены, что сетования лично на г. обер-полицмейстера не имеют никакого основания, что он употребляет в дело все имеющиеся у него средства, и желаем, чтобы он нашел тотчас же средства воспользоваться тем благородным энтузиазмом, который предлагают столице волонтеры, а с начальниками военных команд вошел в сношение о том, чтобы присылаемые команды являлись на пожары для действительной помощи, а не для стояния.

Затем мы обращаемся к гг. Штиглицу и Ламанскому. Как представители русского государственного банка, они, конечно, знают, что Щукин и Апраксин дворы имели коммерческие связи с торговцами целой России. Несчастные торговцы этих двух дворов 28 мая потеряли все. Они теперь разорены, но этого мало: с разорением, которое они потерпели, они, по весьма понятным причинам, теряют кредит, который мог бы восстановить их деятельность. Толпы торговых лиц остаются без дела и без хлеба. Массы рабочего народонаселения, находившего в Апраксином дворе и на Толкучем рынке един-

ственную возможность приобретать необходимые для них вещи, теперь лишены этой возможности. Дешевого обеда за 7 копеек в обжорном ряду более не существует; у людей нет заработка и нет хлеба. Это положение ужасно. Евгений Иванович Ламанский, засвидетельствовавший свои экономические способности, которым банк обязан многими мерами, должен подумать, как открыть погоревшим торговцам Щукина и в особенности Апраксина двора кредит, способный немедленно дать им средства начать торговлю, необходимую для удовлетворения нужд всего бедного населения столицы, которое исключительно преследуется, с какими-то адскими целями, о которых ужасно и подумать. Государственный банк, если он внемлет нашей просьбе, должен немедленно объявить во всеобщее сведение о своей готовности помочь страшному бедствию торговцев столицы. Горе легче сносится, когда человек знает, что о нем заботятся, ему сочувствуют и не бросают его на произвол несчастных случайностей. Мы еще раз просим гг. Штиглица, Ламанского и их почтенных сотрудников обратить внимание на щукинцев и апраксинцев, успокоить их своим участием как можно скорее и дать им фактическое доказательство этого участия, дабы погорелые ни одного дня не терпели тех недостатков, с которыми их познакомило уничтожение самых дешевых торговых мест в столице. Банк, мы уверены, это сделает, и ум г. Ламанского найдет к этому средства. Нам ему не указывать их!

Скрываться нечего. На народ можно рассчитывать смело, и потому смело же должно сказать: основательны ли сколько-нибудь слухи, носящиеся в столице о пожарах и о поджигателях? Щадить адских злодеев не должно, но и не следует рисковать ни одним волоском ни одной головы, живущей в столице и подвергающейся небезопасным нареканиям со стороны перепуганного народа. Мы не выражаем всего того, что мы слышали; полиция должна знать эти слухи лучше нас, и на ней лежит обязанность высказать их, если она хочет заслужить себе доверие общества и его содействие.

«РУССКОЕ ОБЩЕСТВО В ПАРИЖЕ» (1863)

Очерки в письмах к редактору журнала
Письмо первое

О Париже уже так много писано, что, как говорят, конца края написанному нет, и сказать о нем что-нибудь новое, способное еще хотя несколько заинтересовать и занять русского читателя, мне кажется необыкновенно как трудно. Я просто не знаю, о чем я стану писать в этих письмах, которых вы у меня так настойчиво просите, думая, что будет интересно, если я просто-напросто стану рассказывать о том, как живут в Париже наши русские. Свидетельствуюсь всею моею искренностью, что мне смерть как не хочется браться за эту материю и раскатывать свернутое и брошенное в архив моей памяти; но, исполняя данное мною вам обещание, все-таки сажусь описывать житье-бытье моих соотечественников в Париже, каким оно мне представлялось во время моего пребывания во французской столице, в 1863 году. Но при этом пусть между мною и вами будет одно условие: не претендуйте на меня, если письма эти выйдут вялы, тощи и бессвязны. Я их пишу почти что поневоле. Будьте снисходительны, и чур от меня не требовать ни художественной постановки лиц, ни округленных и законченных с ц е н , — словом, ничего того, что у нас называется «отделкою», «законченностью» и прочими словами несколько неопределенного значения. Я оговариваюсь так собственно не для вас — потому что вы сами знаете, как приятно писать о том, о чем писать не х о ч е т с я , — а для читателей, если вы-таки не откажетесь от мысли предать мои письма тиснению в вашем журнале. С читателем непременно нужно оговориться, потому что читатель по преимуществу фантазер: ему этак, он опять придерется: зачем не так? На

читателя никак угодить нельзя, потому что требования у него часто самые несообразные. Если вы найдете, что мои рассуждения о читателе могут ему показаться оскорбительными, могут задеть его амбицию, то вы вымарайте их из моего письма; но я вам по душе не советую этого делать, ибо читатель ни за что не вздумает обидеться моими невинными рассуждениями о его несообразительности. Наш читатель, как я вижу по возвращении моем на родину, привык даже не к таким комплиментам: его в эти прекрасные годы уж называли, как вам известно, и узколобым и тупоголовым, и он ни на что подобное не обижался и даже рьяно подписывался на издание, в котором его так трактовали. Такие любезности русскому читателю, к сожалению, не только не претят, но даже они ему как будто нравятся. Итак, задобривши таким манером и вас и читателя, начинаю.

По моим соображениям, сначала должна идти

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ПАРИЖЕ

Россияне, находящиеся на постоянном жительстве в Париже и временно здесь обитающие, как с узаконенными письменными видами, так и без этих видов, разделяются на две главные группы. Люди одной группы называются елисеевцами, другие латинцами. Название, полученное первыми партизанами, не имеет ничего общего ни с купцом Елисеевым, продающим всякие наедальности, ни с литератором Елисеевым, который получил столь большую известность, обсуждая вопросы: мужики люди ли? женщины люди ли? и хорошо ли народ учить грамоте? Парижские елисеевцы получили свое прозвание потому, что они жительствуют или непосредственно в Champs-Elysées или в других улицах, неподалеку от place de la Concorde или rue de Rivoli *. Латинцы называются этим именем от Латинского квартала, по которому они рассеялись во всех направлениях, от Сены до верхнего конца Люксембургского сада.

---

* Елисейские поля, площадь Согласия, улица Риволи (*фр.*). — здесь и далее — парижские адреса, названия школ. — *Авт.*

Это — два главных деления парижского русского общества. Есть и другие, более подробные и более мелкие деления, но мы до них дойдем в свое время и в своем месте.

Латинец и елисеевец — понятия общие и довольно широкие. Я вам говорил, что елисеевцы расселены по окрестностям Chapms-Elysées, а латинцы в Латинском квартале; но одно расселение не делает еще всей характеристики этих парижских обитателей. Бывает так, что штука-другая отобьется от своего стада и забежит в чужое; но она все-таки считается единицею своего стада, и в чужом стаде ей всегда неловко. Латинец иногда отобьется на тот бок Сены и там поселится; но это случается или по неопытности, по незнанию условий парижской жизни, или по каким-нибудь другим ошибочным расчетам. Одному, например, вздумается вдруг предаться усиленным занятиям, и покажется ему, что в Латинском квартале ему мешает сообщество земляков: он и уйдет на rue de Richelieu или даже на Батиньоль. Елисеевец тоже, иной раз по неопытности, погонится за латинской дешевизной и приютится где-нибудь в rue de Saine или rue Dauphine, но обоим им не по сердцу, не по натуре эти переселения. Через два дня после переселения заблудный латинец бредет вечером в Café de la Rotonde или в Kloserie, а елисеевец с rue de la Croix на поповку. А там, смотришь, неделя-другая, и заблудшийся елисеевец и отбившийся латинец попадут снова в свое место, т. е. в ту часть Парижа, где им и следует обитать, по силе их собственной конституции.

Елисеевцы и латинцы не имеют почти никакой солидарности. Общего у них между собою только одни русские паспорты и посольский швейцар, которого они в равной мере имеют право видеть во всякое время, когда они зачем-нибудь обратятся в свое посольство. Елисеевцы не совсем то же самое, что в Петербурге называется аристократиею, хотя между ними и очень много того, что называется в Петербурге аристократиею. Елисеевцы, по своему происхождению, принадлежат или к российскому поместному дворянству, или к высшему достаточному чиновничеству. Они ведут в Париже жизнь семейную, в довольстве, а чаще всего даже в изобилии. Латинцы, наоборот, народ холостой, одинокий, роскоши не знает, довольст-

вуется самыми умеренными средствами — от 300 до 500 франков в месяц — а весьма часто живут самым непонятным образом, без всяких средств. Общество елисеевцев состоит из особей обоего пола; латинцы же исключительно мужчины. Это в некотором роде — запорожцы в Париже. Русские женщины ни за что не селятся в Латинском квартале; только в нынешнем году одна россиянка забрела в отель «Марокко» и прожила там некоторое время между нашими запорожцами, но и то поневоле. Впрочем, россиянки очень умно делают, что не живут в Латинском квартале, ибо в них здесь не ощущается ни малейшей надобности и самим им здесь делать нечего.

Общество елисеевцев слагается из весьма разнородных представителей российской гражданственности. Здесь есть господа, гувернеры, учители, горничные, лакеи и даже кучера русского происхождения. Русский Латинского квартала всегда «сам помещик, сам боярин, сам холоп и сам крестьянин». Елисеевцы бывают всех возрастов, начиная от того, в котором человек не умеет утереть своего носа, до того, в котором человек чувствует желание утереть нос своему ближнему. Тут есть самые почтенные старцы и самые юные дети. Русские Латинского квартала всегда народ молодой, включительно от 25 до 40 лет. Это — студенты, молодые профессоры, корреспонденты газет и журналов и изредка художники. Женщин русских с ними никогда нет, и они, для усовершенствования себя в разговорном языке, живут большею частью с француженками: цветочницами, модистками и прочими подразделениями породы французских гризет.

Чувствую, что мне как-то не удается охарактеризовать парижское общество и репрезентировать его вам в кратком очерке; но полагаю, что и из сказанного все-таки можно понять, что латинцы и елисеевцы — люди совершенно разного сорта и что о тех и о других из этих сортов непременно нужно говорить отдельно.

РУССКИЕ УЧИТЕЛИ

Сюда стали наезжать люди, не имеющие никакого пособия из отечества, с твердой решимостью жить в Париже своими трудами. Из этого сорта латинцев берутся в

русские дома учители. Сначала этих учителей было очень немного. Еще в 1861 году считалось в Латинском квартале, говорят, не более трех человек, проживающих своими уроками. Несмотря на всякое отсутствие педагогической подготовки в первых искателях русских уроков, им давали тогда очень хорошую плату — не менее десяти франков за урок, что составляет около трех рублей по нынешнему денежному курсу. Но к зиме 1863 года людей, ищущих русских уроков в Париже, набралось очень много, и плата за уроки, вследствие конкуренции, стала падать и наконец понизилась до 1 рубля 50 коп., т. е. до 6 франков за урок. Но и при этой плате человек аккуратный и трудолюбивый может еще без нужды жить в Париже и иметь время слушать лекции в Collége de France или в какой-нибудь из высших специальных школ. Я знал много поляков и двух русских, которые жили таким образом и сами учились медицине или правам, а один наш политический эмигрант, Сахновский, даже приготовлялся к сдаче экзамена в высшую военную школу в Меццe.

О достоинстве парижских русских учителей нельзя сказать ничего хорошего или, по крайней мере, очень мало. Они более достойны внимания как смельчаки, решившиеся ехать в Париж с одною русскою надеждою на авось; но как педагоги они ничего не стоят. Светлое исключение составлял в мое время некто одессец родом, г. Чербаджиоглу, которому я вовсе не хочу делать рекламы, но о котором не могу не упомянуть как о хорошем, способном учителе. Он имел очень много терпения, сноровки, довольно светлые понятия и безукоризненно-добросовестно занимался своим делом. Но это один-единственный человек, которого можно было указать во всем Париже; а из других «профессоров», которых я знал наперечет, я бы ни одного не решился порекомендовать никакому человеку, не желающему уродовать своих детей. Это — бездарность, наглость, ненасытимое корыстолюбие и ко всему этому нередко глубочайшая нравственная испорченность. Я не говорю этого обо всех (обо всех огулом я только решаюсь сказать, что они из рук вон плохи и учить детей неспособны), но говорю, что есть таковые и что они все-таки воспитывают русских детей, т. е. обучают их русскому языку и объясняют им русскую жизнь и историю. Если бы я мог показать некоторых из этих господ честному и благомыслящему читателю, то он или бы расплакался до слез,

или бы расхохотался до колотья в подреберье. Из не злых, но бесполезных учителей тут есть, например, почтамтский чиновник, которого мы звали в шутку «Северным Почтальоном»[1], не подозревая тогда, что кличка эта на Руси вскоре гораздо более пригодится другим людям, ведомства не почтамтского. Наш «Северный Почтальон» пренаивно рассказывал, что он приехал в Париж сделать себе отсюда карьеру в России.

— Как же вы ее будете делать? какую карьеру?

— Протекцией.

— А протекцию где возьмете?

— Уроки найду; ну а там сойдусь, понравлюсь.

— Чему же вы будете учить?

— По-русски-с буду учить.

— Вы учили когда-нибудь?

— Нет-с.

— Как же вы это надумали?

— Протекции никакой нет-с в России, так куда же я, почтамтский чиновник, сунусь? я сюда и приехал.

— Да ведь вы здесь пропадете.

— Нет-с, ничего-с. Я протекцию нашел.

Я просто диву дался.

— Какая же это протекция вам в Париже?

— Я у батюшки был-с.

— У которого?

— У отца Иосифа.

— И что же?

— Обещал устроить-с на уроки.

Прошел месяц, встречаю я опять этого же господина и спрашиваю: «ну что? как вам живется?»

— Ничего-с, хорошо.

— Есть уроки?

— Слава богу-с, шесть уроков в неделю.

— Почем же?

— По пяти франков-с.

— Что ж! Это хорошо.

— Ничего-с.

— А о протекции-то уж забыли.

— Нет-с. Как же можно-с. Я у князя даю уроки-с. Буду просить письмо-с. Их брат большое лицо в Петербурге. Графиня У. тоже-с обещала писать обо мне.

— Долго же вы теперь останетесь за границей?

— Пока, бог даст, улажусь.

Я оставил этого господина в Париже. На лето он со-

бирался выехать со своей графиней в Ниццу, а там уж, верно, уладится и приедет с готовой протекцией в Петербург и подлезет к большому человеку.

Этот учитель только дурачок и пролаза, лакейчик, искатель протекции. Таких есть, с небольшими оттенками, еще человек пять-шесть. Все они круглые невежды и люди самые пошленькие, натурки самые обыденные; но еще они не крайняя степень гадости в парижском педагогическом русском мире.

А есть в ряду учителей люди, которых и к собакам пустить нельзя: собак развратят и погубят. Есть такой господин П. А. Ко-ч. Ему в 1863 году было от роду всего двадцать два года, но он уже прошел, как говорится, через огонь и воды и медные трубы. Все видел и всего откушал. Был в университете, исключен, по требованию товарищей, за безнравственное поведение: был подносчиком в публичном доме; был на попечении у старой чухонки в Петербурге; был мизераблем *; встретил своего монсиньера Бьенвеню в лице молодого русского литератора В-ва. Тот его одел, обрядил, поместил с другим подобным же молодым мизераблем в особой чистой комнатке и стал заниматься их нравственным развитием и умственным образованием. Но тут мизерабли занялись таким видом эпикуреизма, что русский монсиньер Бьенвеню, застав их на поличном, наградил каждого десятью рублями и выгнал из дома. Отсюда мой парижский знакомец потянулся в Киев, прослыл там Фейербахом и, залучивши в свои руки некоторую капитальную сумму, унесся в Европу. В Париже он нанял две комнаты, завелся баронессой, под чужим именем давал сомнительные денежные расписки, простоял несколько неприятных минут перед судом сенского префекта и наконец, по рекомендациям с поповки **, сделался учителем в аристократических русских домах в Париже. Его ласкали отец Васильев и отец Прилежаев и, вероятно, считали это в своих обязанностях, ибо не смущались слухами, распространенными о Ко-че. Историю же его трудно было не знать: ее, с самыми мелочными подробностями, знал целый Латинский квартал. Одни шутили над ним и называли его «madame Поль», другие от него просто отворачивались, но никто о нем не думал иначе, как о дря-

* Отверженным (*фр.*). — *Сост.*
** Духовенства. — *Сост.*

ни, не стоющей никакого внимания. Вдруг наш Поль получает 700 франков в месяц за уроки и бывает в домах самых заметных елисеевцев-аристократов.

Этот Поль был человек удивительно наглый. Он очень любил выставлять на вид свои успехи и колоть ими глаза бедным латинским труженикам, сходящимся по вечерам в Café de la Rotonde потолковать о новостях, почитать газеты и выпить по кружке пива. С 700 франков в кармане он ходил всякий вечер в Café de la Rotonde, садился, громко требовал американские гроги и заводил задорные разговоры.

— Как это вы обделываете ваши делишки, Поль? — спросит его кто-нибудь.

— Еще бы! — ответит. — На наш век дураков-то хватит.

— Да где вы их отыскиваете?

— А поповка на что! Там только будь смирен яко агнец, так все будет.

И захохочет.

Искусство обделывать свои делишки и обставлять себя в Павле Ко-че было необычайное.

Впоследствии этот господин так оскандализировался в Париже, что русские сделали сходку и положили на сходке обсудить, что сделать с этим человеком, который, называя себя студентом, посланным от Киевского университета, не предъявляет никаких доказательств, что он послан от университета, а между тем, ест в ресторанах по-хлестаковски на счет датского короля; даст фальшивые расписки; обирает гризет; приобрел себе фавор у известных бугроманов и наконец проворовался и распускает слух, что он тайный агент русского правительства в Париже. Чтобы придать этой сходке более солидный характер, русские послали извещение нашим священникам, консулу и его угреватому писарю, прося их, не удостоят ли они почтить своим посещением сходку, которую русские нашлись вынужденными сделать в квартире гвардейского офицера Лукошкова, чтобы решить, что сделать с Ко-чем, который марает русское имя и за которого мы уже не раз платили деньги из своих тощих кошельков, чтобы только не всплывали наружу его мелкие и грязные делишки, позорящие русское имя и правительство, которого Ко-ч стал рекомендовать себя тайным агентом.

Ни священники, ни консул, ни его угреватый писарь,

никто не удостоил выслушать, что было сказано на этой сходке. Никто не приехал, и этого мало, что никто не приехал, но хозяин квартиры, где была сходка, г. Лукошков, был приглашен в дом посольства, где ему одним из членов консульской канцелярии вменено в вину дозволение сходки русских в его квартире и взято с него слово вперед ни под каким предлогом такого бесчинства не допускать. Тогда русские решились просить нашего посла, г. Будберга, об удалении почтенного соотчича за границу Франции, но, поохлажденные опытными людьми в своих упованиях на способность русского посольства снизойти до внимания к делам чести частных русских людей, просто положили не знать г. Ко-ча и отречься от всякого с ним общения.

(Теперь это все, говорят, не так. Корреспондент газеты Голос г. Щербань нашим посольством нахвалиться не может. Просто русское сердце замирает от радости, как читаешь, что за участливость являет ныне русским это посольство; но в мое время было так, как я рассказываю.)

Но об всей этой истории с Ко-чем будет рассказано подробно при описании русских скандалов в Париже. До последнего же казуса сказанный господин обучал детей и являлся всякую неделю с смиренным видом на благодеявшую ему поповку.

Есть, наконец, еще четыре учителя, просто люди плохонькие, но добрые и весьма оригинальные. Весь вред их преподавания ограничивается тем, что они утомляют детское терпение и не приносят детям никакой пользы; но они, по крайней мере, не развращают детей, как милый Поль и ему подобные русские смельчаки в Париже.

В числе этих невинных учителей есть один удивительнейший оригинал. Он служил когда-то в одной петербургской канцелярии писцом. Долго и крепко трудился, переписывал всякую бестолочь и за этой работой погубил последний смысл, которого природа и без того отпустила ему скупою мерою и аптечным весом. В это время начался набор людей на варшавскую железную дорогу. Он сунулся проситься туда — ему отказали за незнание французского языка. Такое обстоятельство имело сильное и решительное влияние на отвергнутого соискателя. С ним случилось частное помешательство. Он вывел, что все его несчастия происходят от незнания французского языка, и положил во что бы то ни стало

замалевать этот пробел на чистом фоне своих знаний. Решение, как видите, весьма похвальное, но соотечественник наш преоригинально его выполнил.

Он не купил самоучителя, составленного по Робертсону, не стал ходить к какому-нибудь учителю, а продал шубенку, часы, еще кое-какие мелочи из своей движимости и умчался в Париж, поклявшись не возвращаться в Петербург, пока не совладает с французским языком.

В Париже он устроился самым оригинальным образом. Сначала он мыкал очень тяжкое горе и почти не имел, где приклонить головы. Но это продолжалось всего с месяц. К концу этого месяца в одном из парижских пассажей он встретился с пожилою и довольно безобразною француженкою, мозольною операторшею с rue Lavoisièr, которой показался заслуживающим довольно теплого участия. У него явился угол; а потом, приютясь в этом углу, он устремил свои взоры на поповку — и поповка его пристроила. Сначала он поступил в хор, тянул там баском «всемирную славу о человек прозябшую», а потом его зарекомендовали в наставники, и он теперь обучает младых парижских россиян. Это премилая, теплая, наивная и преоригинальная личность, но, при всем том, довольно круглый и крупный невежда. О русской литературе, истории, праве он ничего не знает; с русскою жизнью вовсе незнаком. Россия для него значит Петербург, за заставами которого болота, а на тех болотах сидят «соважи» * и поют:

«Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, подернем!
Подернем! подернем!
Поооодеррнем!»

О науках и вообще о человеческих знаниях у него необыкновенно странные понятия.

Он взирает с рабским богопочитанием на людей, бегло говорящих на нескольких языках, и языкознание рассматривает не как вспомогательное средство самообразованию, а как цель человеческого труда. Он, проживши много лет в Париже, кажется, не прочел еще ни одной книги, не знает разницы между Корнелем и Дюма, Мюссе и поэтами, сочиняющими песни гризеток, а все практикуется, все вострится во «французском диалекте». Но и тут охота смертная, а участь горькая. Ломит он по-

* Дикари (*фр.*). — *Сост.*

французски таким языком, что моя хозяйка, с которой он любил беседовать, только руки врозь разводила. Года три ему здесь было прекрасно, но теперь становится хуже: учителей все наезжает больше и больше; цену сбивают и бесхитростного лингвиста вовсе отлучают от уроков. У него целую прошлую зиму было только по два трехфранковых урока в неделю, и те должны были на лето прекратиться. Но он не падал духом и стал заниматься перепискою бумаг по одному франку с листа. Этой работы в Париже тоже очень немного, и ею существовать невозможно, но лингвист непреклонен. Он все-таки остается в Париже.

— Пока не буду говорить как француз, ни за что, — говорит, — не уеду.

— Да ведь вам уж очень плохо.

— Что ж делать! А если не буду знать французского языка настоящим образом, так в России еще хуже будет.

Начнем его, бывало, урезонивать, чтобы ехал домой, тем более что он иногда ужасно скучает, тяготится своей мозольной операторшей, но уговорить его оставить Францию все-таки невозможно. Куда там! И слова не дает выговорить.

— Ведь вы уже хорошо знаете французский язык, — говорим ему. — Чего же вам больше?

— Нет, прононс еще не хорош.

— Да не в прононсе дело; ведь нужно, чтоб только вас понимали.

— Как можно! Прононс необходим.

— Да уж вы его не выработаете больше.

— Поживу еще — выработается. Я с этой хозяйкой... с этой с мозольной операторшей... все целые дни нарочно разговариваю. Нет, прононс выработается.

Станем, бывало, манить его с собою в Россию, соблазняем обещаниями общими силами искать ему места, даже ручательства представляли — не верит.

— Как это можно! Поеду я теперь! Как бы не так! Это значит опять пропадай там с голоду.

— Ну а как прононс-то свой выработаете, тогда что ж прибудет?

— Как же! Тогда другое дело совсем. Я на иностранца буду похож, тогда уж мне в Петербурге всякий начальник в месте отказать постыдится. Да-с, как это можно! Тогда уж не совсем другое.

Так он и остался, со своей отвратительнейшей француженкой, в своей rue Lavoisièr.

Не подумайте, однако, что елисеевцам не из чего выбирать учителей. Напротив. Людей способных и готовых заниматься обучением русских детей в Латинском квартале очень много, но их никто не ищет и никто не приглашает. В дом елисеевца, в качестве учителя, можно дойти только через поповку, а в rue de le Croix дорогу не все знают, и те, которые могли бы быть хорошими, полезными воспитателями русских детей, именно не ходят и не хотят идти этой дорогой. Отчего? Зачем они избегают всякого знакомства с поповкой? — отвечать трудно. Я много слыхал разных язвительных толков о различных обитателях нашей парижской поповки, но не даю этим толкам никакой веры, и уклонение лучших молодых людей от всякого столкновения с поповкой мне представляется и всегда представлялось странным и несколько болезненным прюдеризмом *. Русские в Париже часто злы и часто имеют основания быть злыми на нашу амбасаду, где русским нет ни ответа, ни привета, ни дрянной скамьи для того чтобы присесть и отдохнуть, пока сторож обделывает паспортную визу. Это, конечно, несказанно сердит и обижает русских, и на них в силу этого в былое время (это все о былом времени) нападает, бывало, пассия ругать где попало все свое посольство; а на поповке не только не принято осуждать амбасаду, но даже принято не слышать, когда на нее жалуются.

Конечно, глядя на это дело с очень возвышенной, так сказать, философской точки зрения, отцов нашей поповки похвалить за это равнодушие не за что, и они, может быть, гораздо лучше сделали бы, если бы довели до чьего следует ведома, что так ни в одном посольстве со своими соотечественниками не обращаются как в нашем; но ведь нельзя же требовать от всех людей какого-то рыцарства и героизма. Нужно же помнить, что посольские попы некоторым образом такие же посольские чиновники, и нужно помнить среду, в которой эти священнодействующие чиновники выросли и созрели. Нельзя забывать человеческой страсти крепко держаться своими зоологическими и дипломатическими руками за раковину, к которой человек прирос и в которой ему тепло и безопасно. А парижская поповка есть во всех отношениях место злачно и спокойно,

* От prude (*фр.*) — щепетильность, щекотливость. — *Сост.*

где Ирида[2] хотя и катает свое золотое яблочко, но где все-таки каждый живет без печали и воздыхания да еще и впереди видит для себя жизнь бесконечную.

Парижский приход, как говорят духовные люди, — «приход маленький, да веселенький». От амбасады поповка зависима, и елиссевцы в господа бога веруют и служителей его почитают, ну и понятно, что уши служителей парижского православного алтаря закрыты от неуважительных речей об амбасаде, а сердца горячее лежат к елисеевцам, чем к латинцам, которых отношения к господу богу на поповке совершенно не известны, а почтения служителям с их стороны никакого не усматривается. Да если бы и оказывалось это почтение, так что же из него? Все это были бы только словеса да словеса; а на поповке есть детишки и им нужно молочишко. Так еще слава тебе, господи, что наша парижская поповка такая, какая она есть. Она могла бы быть даже несколько хуже, и тогда еще, вспомнив наши «жестокие нравы», ее все-таки нельзя бы осуждать строго.

К этому я должен прибавить, что латинская молодежь иногда напрасно строго относится к безучастию поповки к самым горячим отечественным вопросам. Поповку нельзя упрекать ни в индифферентизме, ни в равнодушии. Ее симпатии, напротив, очень ясны, и вводить ее в искушение расспросами может только человек зеленый и притом крайне несообразительный. Поповка парижская все равно что поповка рождественская, гостомельская и всякая другая поповка. Идя туда, конечно, надо помнить, что за чем пойдешь, то и найдешь. Разговор обыкновенно какой и участие к вопросам соответственное, иначе и быть не может. — Входит NN, рекомендуется: «Я русский». Ну и довольно. «Прошу садиться. Чаю не прикажете ли?» Входит М. М. — та же история, и так до X, до У и до Z. Всем честь и место. А кто их ведает, этих иксов, игреков и зетов, насколько можно доверяться им и пускаться с ними в интимности о начальстве. Все ведь это алгебраические величины неизвестные, ну посему все и приводится к уравнению с неизвестными.

Поповка место, в которое все идут, и я опять повторяю: это поповка и толковать о ней бог знает что — нечего: а люди там живут не лихие и на посильное добро готовые и за это добро не требующие никакого непосильного возмездия. Русское же парижское общество так конституировано, что заработка русскому человеку у русских, минуя

поповки, отыскать весьма трудно да и почти невозможно. Заработок весь состоит в уроках или в переписке, а все нуждающиеся в учителе или в переписчике обыкновенно обращаются к отцу Иосифу Васильеву, или к отцу Прилежаеву, или, наконец, в редких случаях, к дьякону. Оттого эти люди и имеют средства пристроить русского пролетария. А кто находит неудобным пристроить себя к работе с их посредством, тот не находит и совсем никакой работы. Многие считают этот путь для себя совсем неудобным и терпеливо сносят самую ужасающую нужду, не желая получить работу через поповку. Нынешней зимой в Париже жил казанский студент Степан Шил-ий, человек в высшей степени чистый, безупречный и ангельски добрый, но чересчур строгий к себе и даже немножко прюдерист. В спокойном и гордом молчании он нес страшную нужду, нужду превыше всяких описаний, но ни под каким видом не хотел принять занятий по рекомендации, сказанной на поповке. Тяжкая болезнь и совершенная беспомощность не заставили его ни на минуту поступиться. «У меня нет ничего общего с поповкой и не может быть ничего общего с теми, кто собирает рекомендации с п о п о в к и», — говорил он. А между тем, у него не было солидарности и с русскими ярыми либералами, хотя он сам был либерал, провел долгое время в ссылке в Перми за казанскую историю [3] (в Безне) и едва спас в Перми свою жизнь от преследований г. Ло-ва. Шил-ий был до такой степени чист, что даже считал несовместным со своим достоинством напечатать в К о л о к о л е историю своих пермских страданий от г. Ло-ва, ибо не был уверен, найдет ли тот средства оправдываться тем же путем. Это был просто прекрасный, чистый человек, и поповка ему представлялась местом, с которым у людей ему подобных не может быть ничего общего. Он никогда не порицал поповки, но отвергал ее и таким образом отвергал от себя занятия, без которых ему нечем было существовать. И людей, избегающих сношений с поповкою, в Латинском квартале не мало. Я в течение зимы был четыре раза у отца Васильева и три раза у отца Прилежаева и ни разу не встретил у них ни одного из лучших русских людей Латинского квартала. От этого-то уроки достаются, вопервых, самим священникам, дьякону и дьячкам, а потом знакомым и приятелям священников, дьякона и дьячков. От этого и в среде учителей все «плохие музыканты». Чему могут выучить отец Васильев, Прилежаев и от[ец]

дьякон, про то господь бог один знает; но уж чему могут учить дьячки, то уж это и я з н а ю , — ничему. Или, как говорят, могут поучить на собак лаять. Конечно, они обучались там разным наукам: и гомилетике, и герменевтике, и патристике [4], и нотному пению. Но, помилуйте, что ж это за учители! Они ведь, может быть, прелестнейшие люди, но музыканты-то прегадчайшие. Чтобы вам дать пример даровитости этого рода учителей, довольно сказать, что один из них, проживающий около двадцати лет в Париже и женатый на француженке, до сих пор не выучился сколько-нибудь терпимо выражаться по-французски и говорит без артиклей, неопределенными наклонениями и именительными падежами, хуже чем негр из любого café.

Такова педагогическая парижская поповка, и таково положение вопроса об обучении русских детей в Париже — вопроса, поставляемого родительскою слепотою, трусостью и беспечностью в прямую и непосредственную зависимость от поповки.

Если вы станете здесь, в России, отыскивать около себя трусов и ретроградов, то вы не найдете, я думаю, ни одного такого рельефного экземпляра, какие на каждом шагу можете встретить между россиянами Елисейских полей, особенно между теми из них, которые получают от правительства более или менее значительные суммы на воспитание детей. Если бы Петр I встал из своей могилы и посмотрел на этих россиян, то глаза бы его сверкнули своим грозным блеском и дубинка зашевелилась бы в его нигилистической руке. Смеху и жалости подобно, как здесь смотрят на образование своих детей. Получая деньги от правительства, здесь думают только о том, чтобы видимым образом соблюсти правительственные требования, и берут русского учителя единственно для того, чтобы показать, будто не все правительственные деньги розданы французским камердинерам. Учителя русского боятся, как чумы. Выбирают что ни есть самого плохонького, абы смиренства было больше. От университетских студентов бежат, как от огня, и дьячков и всяких господ с поповки или зарекомендованных поповкою предпочитают всякому образованному человеку.

Вообще, для сведения моих молодых соотчичей, рискующих ехать в Париж, рассчитывая жить там уроками, я решаюсь вывести такую формулу: человек образованный, желающий получить уроки без протекции с поповки и смот-

рящий на обучение детей как на дело серьезное, пусть откажется от своего намерения, ибо его наверняка ждет в Париже участь честного Степана Шил-кого, и он прежде попадет в госпиталь для бедных, чем куда-нибудь на урок. Человек образованный и даже честный, но понимающий, что il faut prendre le monde comme il est, pas comme il doit etre *, человек, умеющий где следует держать язык за зубами и примиряться с необходимостью, пусть едет и тотчас по приезде идет в rue de la Croix, на поповку и чистосердечно расскажет, что ему нужно. Там его пристроят непременно и не потребуют от него ничего особенно неприятного или шокирующего. Ходят глупые и нелепые слухи, что на поповке обращают русского пролетария в фискала за русскою братиею, живущею в трущобах Латинского квартала. Это чистейший вздор. Во-первых, население поповки не снизойдет до этого, а во-вторых, им и дела нет до латинских санкюлотов. Их очи смотрят гор*е*. Пусть мне верят. Я знаю поповку, хотя сам на ней ничем не одолжался, и могу поручиться, что распускаемые о ней темные и двусмысленные толки есть чистый вздор, плод болезненно-настроенного воображения красных дурачков, любящих считать себя всегда и везде в опасном положении. Затем всем дуракам, невеждам и лакеям с классными чинами смело можно ехать в Париж. Им и совета давать не нужно: они там сейчас же осмотрятся, поймут, что им делать, и через два месяца будут получать около 600 франков, а через два года возвратятся на родину с протекциями, каких им, здесь живучи, никогда для себя не устроить.

Есть дома, в которых учить детей можно с удовольствием для себя и с пользой для учеников. Таков, например, аристократический дом княгини Д., которая тщательно заботится сделать своих детей русскими и сама наблюдает, чтобы дети учились; учителей не трактует зауряд с лакеями; сама нередко присутствует при уроках, но не вмешивается в систему преподавания и не смотрит на учение глазами княгиня К-ой, которая платит учителю деньги через горничную и приходит в классную только для того, чтобы дать заметить учителю свое полнейшее пренебрежение к русским урокам.

— Вы, пожалуйста, не давайте длинных у р о к о в , — ска-

---

* Надо принимать мир таким, каков он есть, а не таким, каким должен быть (*ф р .*) . — *Сост.*

зала она при детях одному учителю. — Этому мужичьему языку и всем глупостям, которые на нем написаны, они всегда еще успеют научиться, а здесь пусть учатся по-французски.

Но справедливость требует сказать, что и при таких родителях все-таки всегда можно принести детям свою долю пользы, ибо русские дети за границей необыкновенно радостно встречают каждого русского и страшно привязываются к своим учителям. От детских расспросов о России не знаешь как освободиться. Хоть пять часов не выходи из классной комнаты, они охотно, даже радостно будут сидеть и приставать: «Голубчик, расскажите еще что-нибудь!» — Дети К-ой, нанимающей русского учителя только для того, чтобы показать, что она учит детей по-русски, а в душе презирающей и это учение и всю Россию, так пристрастились к русскому чтению, что мать и ее французские камердинеры не успевают ловить их на преступном чтении русских книг. Рассказывают, что один из этих детей, мальчик лет одиннадцати, читает ночью у спальной лампочки, читает утром на зорьке, скорчившись на коленях на подоконнике в своей спальне; словом, читает везде, где надеется, что ни мать, ни ее французские камердинеры не вырвут из его маленьких рук преступную книгу, напечатанную безобразной кирилицей. — А еще спросите, кто учил этих детей. Madame Поль Ко-ч. Другой, порядочный человек ведь не вынес бы и доли этого униженного состояния или работал бы разве только из любви к детям, оскорбляемым в самых святых своих чувствах, например в любви к родине и в нежнейшей привязанности к отцу. А для madame Павла Алексеевича это тем лучше: ему чем где гаже, тем глаже.

Но довольно уже об учителях. Всего о них не расскажешь... Чтобы отделаться сразу от елисеевцев, мне еще остается рассказать, как здесь живет

РУССКАЯ ПРИСЛУГА В ПАРИЖЕ

Русская прислуга в Париже состоит преимущественно из женщин: нянек и горничных. Лакеев русских здесь очень мало, поваров еще меньше, а кучера всего, кажется, два. Так, по крайней мере, говорят латинские старожилы. С мужскою прислугою я вовсе не знаком и только говари-

вал со старым поваром княгини Д., но женщин многих знаю и вел с ними отношения самые дружественные. Судя по их рассказам, им живется плохо, и все они, на чем свет стоит, ругают себя, что согласились ехать за границу. Недовольство их главным образом происходит от одиночества среди людей, совершенно им чуждых и говорящих непонятным для них языком. У некоторых из моих знакомых женщин-служанок развивалась чистая nostalgia (тоска по родине). Они, приходя ко мне, плакали навзрыд, кляли себя, час своего отъезда и своих господ, соблазнивших их на эту поездку. Уговорить, утешить молодую патриотку с Кузнецкого моста или с Гороховой нет никакой возможности. Нужно дать ей выплакать свою тоску, нарыдаться у земляка, и тогда она сама начнет говорить: «Ну какая я дура, право! Ведь брошу, уеду, да и вся недолга!»

Русская прислуга в Париже, с которою мне удалось перезнакомиться, вся как на подбор состояла из личностей необыкновенно приятных, довольно рассудительных и честных. Это и понятно, потому что дурного или не испытанного человека никто с собою в такую даль и не повезет. Все, кого я видел и знал здесь из русской прислуги, держали себя с таким достоинством, что и желать, кажется, более нечего. Я ни разу не увлекся во время погасшего разгара народничанья в русской литературе, когда Успенский[5] со своим «чифирем», а Якушкин[6] со своими мужиками, едущими «сечься», ставились выше Шекспира, и не увлекаюсь теперь, в эпоху безобразной литературной реакции против народа. Я смело, даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извощиками, а я вырос в народе на гостомельском выгоне с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом, да на замашной панинской толчее за кругами пыльных замашек, а так мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги. Я с народом был свой человек, и у меня есть в нем много кумовьев и приятелей, особенно на Гостомле, где живут бородачи, которых я, стоя на своих детских коленях, в оные, былые времена, отмаливал своими детскими слезами от палок и розог. Я был этим людям ближе всех поповичей нашей поповки, ловивших у крестьян кур и поросят во время хождения по приходу. Я стоял

между мужиком и связанными на него розгами, с которыми, благодаря Александра II, уже не будут знакомы дети моих гостомельских лапотных приятелей. Я не верю, чтобы попович знал крестьянина короче, чем может его знать сын простого, бедного помещика. Я не понимаю, почему пейзанские рассказы Григоровича [7] подвергаются осмеянию, а рассказы целой толпы позднейших народников, напечатанные в самом огромном количестве и прошедшие без всякого следа и значения, считаются чем-то полезным. По-моему, пейзаны Григоровича не только гораздо поэтичнее, по и гораздо живее, чем сахарные добродетельные мужички Небольсина [8], или дураки Успенского, или ядовитые халдеи Левитова [9] и многих позднейших рассказчиков. Все это люди сочиненные или уж не в меру опоэтизированные или не в меру охаянные без проникновения в их Святая Святых. Я перенес много упреков за недостатки какого-то неизвестного мне уважения к народу, другими словами, за неспособность лгать о народе. Я равнодушен к этим упрекам, не потому, что с тех пор, как я пишу, меня только ругают и я привык знать, что эта ругань значит и сколько она стоит; но насчет упреков в так называемом нечестном отношении к народу я равнодушествую не по привычке равнодушествовать к лаю, раздающемуся вслед за каждым моим словом из всех литературных нор и трущоб, приютивших издыхающих нигилистов, а потому, что имею уверенность, что нисколько не обижаю русского народа, не скрывая его мерзостей и гадостей, от которых он не свободен, как и всякий другой народ. Возводить его в перл создания нечего, да и не для чего: всякий кулик свое болото хвалит. Англичане утверждают, что первый народ они; французы кричат то же самое о себе; то же самое о себе думаем и мы, и немцы, а кто из этих четырех первых будет самым первым — бог весть. Один ученый химик сказал, что и будущность принадлежит грязи. А посему нечего смущаться, что у нас есть пороки, и именно одним нам свойственные пороки. Гадости нашего человека не гаже других гадостей, и, говоря о них, я не осуждаю, а только рассуждаю о них по мере моего крайнего понимания. Я и теперь не хочу обидеть русских людей, не бывавших за границей, когда скажу, что мне не доводилось дома встречать сплошь и рядом такого количества прекрасных русских простолюдинов, каких я узнал в Берлине, Ницце и Париже. Скрывай, не скрывай, а сознаться должно,

что мы, во-первых, большие мастера и еще большие охотники воровать. «Нонче народ вор», «нонче народ шельма», — слышится беспрестанно из уст самого народа. «Плохо не клади, слуги в грех не вводи», — говорят барыни и барышни всего волжского бассейна. А в Париже о таких художествах, как воровство, и помину нет. Здесь ни господа не позволяют себе ежечасной оскорбительной подозрительности, ни слуги не подают ни повода, ни права к подозрению. Русская прислуга, переехавши границу полночного царства, как бы прозревает. Видя обращение своих принципалов * с туземными служителями в отелях, вокзалах и гарнированных комнатах, русский человек находит, что именно такие отношения и должны существовать между им и его хозяином. Слуга становится горячим прогрессистом и стремится к водворению между собою и своим принципалом таких же точно новых отношений, а его принципал, бывший дома неукротимым прогрессистом, здесь, наоборот, делается консерватором и неотразимо стремится удержать за границею отношения, установившиеся к слугам на святой Руси. Соревнование в русском служащем человеке просто чудеса производит. Он во что бы то ни стало желает за пояс заткнуть заграничного человека во всем: в деле, в поведении и в рассудительности, и действительно затыкает его за пояс, но зато чуть только он заметит, что все это не изменяет ни его положения, ни установившегося на него взгляда, сейчас начинает дуться. Здесь начинается борьба, выражающаяся со стороны наемника косвенным протестом в виде отговорок, кривых мин, упорного молчания и всего того, что с различными оттенками на русском общехозяйском языке называется «грубостями», «грубиянством». Замечательно, что русская горничная, нянька или лакей никогда не скажут прямо: «Я живу так же честно, как Жан или Люиза, и тружусь еще более их, а потому и я хочу, чтобы со мною обращались точно так же, как с Жаном или с Люизой». Нет, он начнет работать как вол, один за десятерых; честности его не будет меры и пределов; он доведет эту честность до какой-то болезненной щепетильности, но все будет молчать, все будет оттерпливаться и выжидать, что его поймут и оценят. Потом, когда это не достигнуто, слуга супится, и с этих пор начинается его молчаливое и упорное недовольство на

---

* Хозяев (*лат.*). — *Сост.*

принципалов. Недовольство это есть не что иное, как оскорбленное самолюбие. Это неудовольствие растет по мере того, как с другой стороны продолжается невнимание; потом, при первых упреках со стороны господина или госпожи, оно вдруг и совершенно неожиданно проявляется резкими ответами, порывистыми движениями, горячечным усердием в исполнении своих обязанностей и в то же время пересудами своих господ со встречным и поперечным. В дальнейшем развитии этих недоразумений начинаются жалобы нанимателя на то, что слуга забывается, и упреки, делаемые ему самому, но упреки, делаемые, впрочем, пока в более или менее мягкой форме. Первые упреки слуге со стороны его хозяина обыкновенно можно считать сигналом к окончательному разрыву между русским туристом и его русским слугою или служанкою. Последние охотно, даже с каким-то злобным удовольствием поднимают брошенную им перчатку, и начинается домашняя война, в которой труд ничего не хочет уступить капиталу и работник мстит капиталисту самым жестоким образом. Слуга для своего мщения находит несметное число мелких, но весьма ядовитых средств. Прямые средства этой мстительности заключаются вот именно в том, что называется «грубиянством» и чего никак не могут снести господа, выросшие среди безмолвно-покорной крепостной прислуги и считающие себя очень умеренными, требуя от всех только «преданности и уважения, уважения и преданности». Косвенным путем мстительность избирает переносы и злословие за домашним порогом. Отыскивается какой-нибудь земляк, не непременно слуга, собрат по профессии, а также студент или так себе молодой человек, но только «душевный». Сейчас знакомство, своего рода приязнь (особенно у горничных с молодыми людьми): ну и пойдут жалобы, рассказы и такая едкая очистительная критика каждого хозяйского шага, что принципалам и в голову не придет, как тонко и метко расценивают их по мелочам, по деталям, по суставчикам. У русских больших людей вообще есть необъяснимое и во всем своем объеме едва ли не им одним свойственное равнодушие к мнениям тех, которые стоят несколько пониже их на лестнице современной гражданственности, а у людей той породы, из которой большею частью выходят парижские елисеевцы, это равнодушие равняется в некотором роде олимпийскому высокомерию. Это, пожалуй, в известном смысле и хорошо;

«Но, быть может, человеку,
Меж зверьми аристократу,
Знать полезно, как о нем
Рассуждают там, пониже,
В низших обществах звериных,
В сферах жалости достойных,
Где кишат и замышляют
Гордость, нищенство и злоба».

О, запад, запад! О, язва гниющая! Все от тебя идет. Ты развращаешь нам даже нашу чернь, ты вселяешь ей в два месяца столько безобразных понятий о праве, сколько она не захватила бы дома в три с половиною года, живя в Петербурге, или в двадцать семь лет, живя на Сивцевом Вражке в Москве. Ты делаешь их не цивилизованной прислугой, а зверями, медведями зубастыми, вольнодумными Атта-Тролями[10], и они, как Атта-Троль, вертясь на ложе,

«Не покрытом простынею,
Так ворчат: «надейтесь, дети,
Дети — будущее наше!»

Будущее, по их заграничным понятиям, какое-то невозможное, невероятное и, конечно, неприличное для нашей культуры время, — время, в которое даже

«И жиды, как все граждане,
Будут пользоваться правом,
Предоставленным законом,
Наравне со всякой тварью».

Через два, много три месяца по приезде в Париж или в Ниццу каждый Прохор из села Заовражья, каждая Маша с Рождественки или невская Оля начинают касаться вопросов, крайне им несвойственных, и с совершенно несвойственною им звериною дерзостью вопрошают людей, держащих при себе человека:

«Чем же вы нас, люди, выше?
Тем, что задрали высоко
Ваши головы? Но в них-то
Мысли низкие родятся».

Я вам говорю, что нет поступка, нет движения, нет шага, который бы здесь не был предметом самого тонкого разбора. И это делается совсем не с целью сплетничать просто по любви к этому благородному искусству, на которое имеют всесветную привилегию слабонервные уездные дворянки, обмирающие купчихи и сморкающиеся

в свой шейный платок дьяконицы и дьячихи; нет. Это делается в высших соображениях саморазвития, уяснения себе темных или непонятных явлений общественной жизни и, наконец, из любви к критическому процессу и из желания уяснить себе свое я, отрешенное от домашних традиций немецко-русского квази-патриархального быта. Московский слон * напрасно упрекает в западничестве русских парижан благородного звания и парижан с поповки. Первейшие западники за границей — это русский plebs **, русские простолюдины, т. е. русская прислуга, они не веселятся в западной Европе, не считают ее землей обетованной и всей душой стремятся к своей холодной родине, но — увы! — уже не тем они возвращаются сюда, в свою Русь, чем были до рокового дня своего отъезда за границу. Увы! они возвращаются страшными, неисправимыми западниками. Вы, может быть, заметите мне, что простолюдины, возвратившиеся из заграницы, любят трунить и подсмеиваться то над немцем, то над французом, и в особенности над французинкой. Это все так, но это ничего не значит. Это подтруниванье — ничего больше, как только шутка, смех, изредка патриотический задор, но отнюдь не сознание, что у нас лучше. Холодное, обдуманное чувство во всех этих подтруниваньях не участвует нимало. Оттого и самый предмет этих подтруниваний всегда вертится около самого ограниченного числа вопросов: как за границей едят? да как спят? как одеваются? как моются? и тому подобное. Тут у нашего побывавшего за границею плебея выйдет, что супротив русского человека ни одной нации не суметь ни наесться, ни умыться, ни выспаться. Неопытному человеку может показаться, что в этом подтруниваньи, в самом деле, проявляется глубокое презрение русского простолюдина ко всему виденному им за границею. А снимите ваши перчатки и копнитесь глубже в душу этого же самого человека; постучитесь в нее не с той стороны, к которой он приваливает всякую дребедень, всякий вздор и хлам; а в ту, с которой у него сердце з а н ы в а е т, — и аскультация *** с этой стороны даст вам совсем иные тоны. Вы услышите, что этот русский простолюдин, говоря языком прессы — з а п а д н и к, или,

---

* Этот псевдоним изобретен редакцией московского *«Зрителя»* для редактора бывшей московской газеты «День». Смотри Гербовник российской ж у р н а л и с т и к и. — *Авт.*

** Простонародье (*л а т.*). — *Сост.*

*** Простукивание (*м е д.*). — *Сост.*

говоря простым и ясным человеческим языком, он человек свободный от всякого одностороннего затеса, от всяких теорий и утопий. Русский простолюдин внимательно всматривается в положение своего брата иностранного простолюдина за границей, соображает это положение со своим положением, делает сравнительные выводы и сопоставления, в которых его домашнее положение в России вдруг открывается ему во всей своей скудости и безобразии. Он смотрит, как сравнительно хорошо жить работнику в Париже, сколь его парижская нищета богаче московского довольства нашего слуги, и симпатии его всегда высказываются в пользу иностранного положения. Он не изменяет своей любви к отчизне, восхваляя чужое, а ему просто нравится то, что лучше, что справедливее. Он не гонится за идеальною справедливостью и за идеальным осчастливлением всего человеческого рода огулом, за один прием, потому что он не теоретик, ни «Современника» ни «Русского слова» не читал, но он желает только того, что считает возможным, а возможным считает, чтобы ему жилось, например, не хуже меньше его работающего и лучше его устроенного человека парижского или берлинского.

Русский простолюдин, уезжая со своими русскими господами за границу, питает то убеждение, что за границею люди, что называется, с голоду пухнут и что сытая и довольная жизнь возможна только у нас, где, мол, даже свиней кочерыжками кормят. Но вот он едет, едет по чужеземщине и видит людей живых, хорошо одетых и здоровых. — Где же это нищие, пухнущие с голоду? Их нет: они прибраны и приютены своими приходами. На станциях поезда не осаждают оборванцы, целые версты бегающие вдогонку у нас по московско-харьковскому шоссе; нет отвратительных калек и уродов, украшающих паперти церквей нашей самохвальной России, нет изуродованных лошадей со сбитыми маслаками, и даже свиньи едят не только кочерыжки, которыми не прочь лакомиться любой наш крестьянин, а чистый хлеб, которого во многих местах империи крестьянин наш не всегда может предложить даже своим детям. Но вот слуга-турист приезжает в самую столицу Франции; вот он ориентируется в Париже, где уж он надеялся показать себя французам на славу, потому что он, отъезжая, взял себе и жалованье, по его мнению, очень большое, да и выговорил себе и льготы разные, и помещение, и

всем этим рассчитывал далеко превозвыситься надо всяким слугою-французом, — а видит совсем не то, что ожидал увидеть. Он видит, что особая комната для каждого слуги здесь не только не считается роскошью, но что здесь даже немыслимо иметь слугу без предоставления ему удобного человеческого помещения. Он видит, что не только всякий лакей, горничная или нянька, а каждый поденный работник, грабарь и мусорщик, идучи на работу, не только напьется кофе, но и непременно выпьет стакан абсента, за обедом опять выпьет полубутылку, а то так и целую бутылку вина, а вечером опять абсента. Он слышит, что здесь с каждым слугою, с каждым увриером * говорят на вы, соблюдая притом всю вежливость и деликатность, предписываемые людям образованного общества, и спрашивает себя: «А у нас-то где же все это? А ведь это совсем не вредило бы, чай, и нашему брату?» И он взглядывает исподлобья на своих принципалов и спрашивает: «А вы-то что же, голубчики, о себе думаете? Вы как с нами обращаетесь?» У русского простолюдина за границею во всех его огорчениях всегда виноваты его принципалы, а отнюдь не страна, где он гостит, и не конкурирующие с ними слуги-туземцы. Туземцев они иногда ненавидят, но исключительно только за то, что последние, сталкиваясь с ними, стоят в отношениях несравненно выгоднейших. Здесь, впрочем, не столько играют роль материальные выгоды (помещение, стол, плата и подарки), сколько нравственное преимущество, даваемое русскими господами своим слугам-иностранцам перед своими русскими слугами. Жалобы на материальные невыгоды (неудобство помещения и плохой стол) уже последствия неудовольствий, возникших между слугою и его хозяином, а причина всегда лежит в оскорблении не признанного нравственного достоинства. Русский слуга не может перенести самого малейшего предпочтения слуге из иностранцев. Вам этого никогда в глаза не скажет ни один слуга, потому, что он стыдится сознать перед кем бы то ни было, что он прежде этого не понимал. Он не станет говорить, что он вот отбросил от себя некоторые гадкие привычки, возгнушался холопскими пороками, живет по чести, благородно душу свою готов был положить за господина или госпожу, «не так, как француз или французинка», а этого не заметили: с французинкой все-таки по-своему,

* Рабочим (*фр.*). — *Сост.*

а с ним по-иному, и он ругается и грубит оттого, что ему хочется плакать слезами впервые, может быть, прочувствованной боли от оскорбления сознанного в себе достоинства и жгучей бессильной злобы. Но если вам этого не скажет русский заграничный слуга, то уж, конечно, вам этого не скажут, да и не поверят, ни одна слабонервная русская туристка и ни один барин из елисеевских либералов, крепостников и нигилистов.

А если вы сами вникнете в это дело и войдете в более или менее близкие сношения с заграничной русской прислугой, то едва ли скажете, что я на сей раз сколько-нибудь увлекаюсь.

Я был знаком с Матреной Ананьевной, нянькой одного небогатого, но, впрочем, все-таки довольно зажиточного русского семейства с rue de Rivoli. Матрене Ананьевне от роду лет сорок или сорок пять. Она субъект очень крупный, здоровый и живой; характера несколько нервного, но беспечного и веселого: добра от природы, рассудительна, много на своем веку видела и многое научилась понимать не холопским пониманием. Матрена Ананьевна образец честности и гордости, развившейся за границею до болезненной способности во всем видеть со стороны своих господ покушение оскорбить ее или унизить. Знакомство наше началось в Тюльерийском саду, где я услыхал ее кричавшую по-русски на своего «князенка», а потом Матрена Ананьевна сама приехала ко мне в гости и стала навещать меня довольно часто. Поведет, бывало, своего «князенка» в Тюльерийский сад, а заведет в Люксембургский, неподалеку которого жил я, и является толстая, высокая, с лицом веселым и от природы скроенным для смеха и улыбки, но носящим отпечаток какой-то беспрерывной готовности оппозировать. Вваливается, бывало, Матрена Ананьевна, таща за ручонку своего четырехлетнего «князенка».

— Здравствуйте, батюшка!

— Здравствуйте, Матрена Ананьевна.

— Работаете?

— Да, помаленьку.

— Чай, помешала я вам.

— Нет, пожалуйста. — И, уже зная щекотливое самолюбие этой землячки, спешишь наговорить ей всяких приятных для ее самолюбия вещей, вроде того, что и рад-то ей, и без нее-то соскучился.

— То-то. А я ведь что! Ветчины это вот купила да

думаю: что одной-то мне есть: я ведь не попадья. Пойду-ка к земляку: вдвоем пофриштыкаем *.

— И отлично, Матрена Ананьевна!

— Да, а то что же. Не умирать ведь, в самом деле!

Вынет Матрена Ананьевна свою ветчину из бумажки; я достану горчицы, присядем к столику, и начнем «фриштыкать», и «князька» кормим.

— С чего умирать-то собираетесь, Матрена Ананьевна? какая хворость вас застигла? — скажешь ей, продолжая разговор на заведенную тему.

— Да как же, батюшка мой, не хворость? голодом уж совсем заморили.

— Ну!

— Да право. Бульенную говядину покупают. Черт ли по ней, по погани-то этакой! Я вот это иду да и думаю: не буду я есть вашей бульенной говядины. Дай-ка, говорю лавочнику, мне, мусье, деми ливр дю жанбин **, да вот и пришла душу отвести.

Это Матрена Ананьевна сочиняет. Она, действительно, пришла отвести душу, но не жанбоном, а ей поговорить хочется, пожаловаться на свою недолю. Жанбон тут предлог: во-первых, попотчевать земляка, потому что у Матрены Ананьевны смертная страсть потчевать — хлебосольна она, а во-вторых, с жанбона удобно перейти к «маронам» ***, которыми ее господа сами кормятся и ее якобы заморили. Разуверить ее, что она совсем не заморена и сердится вовсе не на мароны, нет никакой возможности.

— Помилуйте, скажите! Да у меня совсем уж нутро-то все под спину подобрало, — ответит она, указывая на свое круглое и весьма видное чрево.

— Ну, Матрена Ананьевна, такое нутро, как у вас, еще дай бог каждому человеку.

— Что, укладисто, что ль?

— Слава те господи!

Расхохочется и уйдет веселая, словно невесть как вы ее утешили.

В воскресенье опять приезжает Матрена Ананьевна.

— Не мешаю? — спрашивает.

— Нет, нет, нисколько.

---

* Frühslück (*нем.*). — завтрак. — *Сост.*

** Demi-livre du jambon (*фр.*) — ветчины. — *Сост.*

*** Marron (*фр.*) — каштан. — *Сост.*

— То-то. Наши нынче у той, у Сайги-то проклятой; я и махнула к вам: думаю не пригласит ли земляк пообедать с собой.

— Пойдемте, пойдемте, Матрена Ананьевна.

— Я шучу. Ну вас; вы небось нынче с Алексей Иванычем пойдете?

У меня был приятель живописец, которого звали Алексеем Ивановичем.

— Да, — говорю, — с ним.

— Ну а он ведь небось со своей мамзелью?

— Да это что ж вам мешает?

— Да мне ничего. Только скажите, сделайте милость, это она действительно не надо мною смеется?

— Полноте, — скажешь, — Матрена Ананьевна! над чем же над вами можно смеяться!

— То-то. Я и сама так думаю, что ничего во мне смешного нет.

— Да ничего же, решительно ничего.

— И я говорю, что ничего.

— Ну и пойдемте.

— Только я два франка-то сама заплачу. Это уж так: у меня деньги есть. Я только по карте у них, у чертей, так выбирать не умею.

И не два франка, а пять франков уж у нее в уголке белого платочка завязаны, и она непременно сама свой «едисьен»* заплатит, и еще бутылку вина купит, а на обратном пути в фруктовую заскочит, наберет «мандиану», закупит целый картуз и пошла угощать, и меня, и живописца, и его французинку, а сама так и шелушит миндальные орешки, так и расплевывает во все стороны скорлупки, точно у себя дома о пасхе под качелями. Земляк тут нужен для компании, для удобнейшего объяснения с гарсоном при заказе обеда да главным образом для выслушания горьких жалоб, накопившихся в душе Матрены Ананьевны за прошлую неделю.

Какое же горе великое одолевает Матрену Ананьевну? А вот не успеет ей гарсон у Тиссо в Пале-Рояле поставить мелкую тарелку с жидким бульеном, она сейчас хлебнет ложку-другую и начинает:

— А у нас теперь от этой бульенной говядины хоть с голоду умри.

Засмеешься.

* Edition (*фр.*) счет. — *Сост.*

— Что вы это, матушка Матрена Ананьевна, говорите? Будто вы в самом деле едунья такая, что вам много надо! Ведь вот вы и тарелки одной не докушали.

— Нет, право, — уверяет Матрена Ананьевна. — Мароны да бульенная говядина — только и видим, и сами-то Только жрут, да одну курицу на пятерых. А в Петербурге только, бывало, поваров, черти этакие, меняют.

— А в Ницце?

— Ну, в Ницце.

Матрена Ананьевна засмеется и говорить не станет.

А в Ницце такое было дело. Жила там Матрена Ананьевна с тою же молоденькой княгиней и с тем же маленьким четырехлетним «князьком». Княгиня была больна; муж хлопотал где-то о делах и высылал жене только по четыреста франков в месяц. Большая часть этих маленьких денег шла на лекарство, жили в одной комнате, ели, в самом деле, одни мароны; но Матрена Ананьевна умирала возле своей княгини, на шаг от нее не отходила, и *нутря* ей ко спине тогда при всем этом не подтягивало; всем она тогда была довольна. Теперь же она живет с беспримерно большими выгодами, имеет особую комнату и обыкновенный парижский обед, домашний, которого по сытности нельзя сравнивать с трактирным обедом у Тиссо, где подадут всякой нечисти под воздушным гарниром; но, к досаде Матрены Ананьевны, ныне с нею вместе живет француженка горничная m-le Армантина, черноглазая вертушка, отрекомендованная княгине ее теткою, которую Матрена Ананьевна называет Сайгой. Эта Армантина поперек горла стоит у Матрены Ананьевны.

— Помилуйте-с! В кафе, как барышни. Идет, все экскюзе, да пардон фон-барон. Кринолин с версту, белоручка, белоличка, и ей всякий почет. Сам-то наш, когда случится, идет в халате, сейчас ей «экскюзе», это Армантине-то, и она ему свое «экскюзе».

— Да что ж, это хорошо.

— Что это хорошо-то? Панибратство-то это, что ли, хорошо, по-вашему?

— Да, говорю, хорошо, что при девушке неряхой не ходит, а то вон, говорю, писали, что наши петербургские актеры наехали в Варшаву, так первым делом всех служащих панн из ресторанов своим корячеством повыгоняли.

— Хорошо! Ну согласна я; ну пускай это и точно хорошо. Я и не говорю, что это худо же что-нибудь, и совсем не к тому, чтобы у них что-нибудь с собой было, а ведь вон

он — в Петербурге же сколько у нас бывало горничных, ничем ее, Армантинки этой, не хуже — он им ни одной же не говорил «экскюзе».

— И вам тоже?

— Мне тоже. Да я что! я, батюшка, человек старый, мне вот чтоб только хоть с голоду не морили. А то та Сайга приедет сейчас: «Армантин! эт ву контан иси?» * А свою русскую небось не спросит, что, может, на свой, на кровный грош купит да поест. Французинки-то оне небось, оне себя знают, как держать, не то что мы, глупые да простодушные. У них: свое дело делает и уж свое себе спрашивает, а то сейчас тебе, хоть ты князь, хоть граф, она покажет, как с нанятым человеком должно обращаться. Оне не то, что мы; оне наших-то бар обшколивают — спасибо им хоть за это — а мы что? У нас куда пойдешь? Везде оне, черти, одинаковы... Суда-то на них ищи, как журавля в небе. Завезет да и морит голодом.

Матрена Ананьевна страдала от честолюбия и сознания бессилия и неуменья стать на такую ногу, на которую так просто умеет становиться парижская французская прислуга. Матрене Ананьевне платят 80 франков в месяц жалованья, и у нее было все, что ей на потребу; но она не могла придумать, отчего у нас прислуге не так, как в Париже. Как этому помочь? Как обшколить чертей? И она уехала в Россию. У нее есть женатый сын в Кронштадте, получает сорок пять рублей в месяц; она у него и поселилась. Недавно мы с ней встретились. Рассказывает, что живет нуждаясь и терпит много от несогласий с невесткой.

— Что ж, — говорю, — вы, Матрена Ананьевна, на место не поступите?

— Ну их! — говорит. — Недоело, батюшка, да и не терпелива, правду сказать, очень стала. Не могу служить. Служила; будет с меня. Наслужилась вволю, а не выслужила ни угла, ни почета. У нас ведь не то, что за границею, где добрую слугу берегут и ценят, и пенсионы всякие для старых слуг, и все выдумано; а у нас что? Одно слово, живи в лесу, как дулеба **, да под пнем и подохни.

Такая западница стала, что беда.

— Сама, — говорит, — батюшка, знаю, что мне теперь трудно будет жить, поглядевши, как у людей-то за границей живут. Ах, в Париже-то — я вот это дочери уж рас-

* Армантина, вам здесь нравится? (*фр.*) — *Сост.*

** Простофиля (*орл.*) — *Сост.*

сказываю, рассказываю — вот, говорю, в Париже, как, Дуняша, господа-то все как обшколены. Прелесть! Хотя ты и слуга и служишь за деньги, а уж...

И пойдет Матрена Ананьевна расписывать с таким упоением, что нельзя не видать, как она сгнила на этом западе.

Конечно, о ткацком вопросе в Лионе Матрена Ананьевна никогда ничего не слыхала и «L'ouvriére» Жюля Ситона не читывала, но что она видела, насколько ей западное житье показалось лучше восточного, настолько она в огромной прогрессии возненавидела восток и возлюбила запад, заштукатуренных пятен которого она не заметила, да и не могла заметить.

А то были у меня в Париже две знакомые русские горничные: одна — Саша, белокурая, прехорошенькая девушка лет восемнадцати; другая — Лена, брюнетка, также очень молодых лет. Саша была белошвейка; она родилась в курной избе в Кромском уезде Орловской губернии и училась в Москве, на Кузнецком мосту, у Бастид, и весною прошлого года приехала в Париж, с тою княгинею, которая вырывает из рук своего сына русские книги. Лена, дворовая девушка чистой крови, состоит при собственной барыне гардеробной барышней. Саша хорошенькая, откровенная и развеселая девочка, что называется «размое-мое»; Лена — правильная античная красавица, молчаливая, задумчивая и с виду несколько суровая и очень скрытная. Оне были между собой приятельницами и навещали меня всего чаще вдвоем. Париж им обеим не нравился; оне обе здесь скучали и рвались всеми силами домой.

— Чем же вам так дурно, Саша?

— Гадко.

— Да чем?

— Гадко, да и все.

— Это еще ничего не значит.

— Нет, значит, скучно.

— Вы влюбитесь.

— Не в кого.

— Вот тебе раз! Вы такая красавица, что кто от вашей любви откажется? «На тебя заглядеться не диво; полюбить тебя каждый непрочь».

— Да влюбляться-то, — жалуется, — не в кого.

Литератора Авенариуса, который недавно так хорошо писал о своей красоте, рассказывая, как в него повсе-

местно влюбляются иностранки, я не мог рекомендовать Саше потому, что еще не был и сам тогда о его красоте достаточно наслышан, и потому заметил ей просто, что охотницы влюбляться имеют перед собою постоянно большой выбор.

— В француза, что ль, влюбляться-то? — запытала девушка.

— Да, а что ж вы думаете; отчего ж не заполонить и француза?

— Легко ли дело-то!

— Да отчего ж?

— Чтоб они не дождались...

— Этой чести?

— Да-с. А то, думаете, не честь?

— Ну в своего.

— Свои все с французинками не натешатся!

— А вам досадно?

— Да как же не досадно. Не досадно, а гадко, скверности, и ничего больше.

— Хороши уж очень француженки-то?

— Легко ли, добро-то. Всю веретеном встряхнуть можно, — так это, по-вашему, значит хороша? Руку ей от всего сердца пожмешь, так и то «са мы фе маль»* кричит, — и это тоже значит хороша?

— Да уж нечего, Саша, спорить: хороши, хороши; это всеми признано, что оне хороши.

— Вся в полоскательной чашке вымоется, да и хороша, вам нравится.

И Лена даже засмеется, взглянувши на Сашину гримасу при рассказе, как «французинка» вся в полоскательной чашке моется.

— Ну, а французы каковы, Саша?

Саша плюнет и ничего не скажет.

— Хорошие есть, красивые, нежные, ласковые.

Саша расхохочется и начнет шептать Лене на ухо. Та все только отворачивается и говорит: «Да ну, будет. Полно. Знаю, знаю». А Саша все ловит ее за ухо и все шепчет, пока не скажет вслух: «Ей-богу, правда!» — и при этом плюнет.

— Право; а им, нашим господам, это даже очень мило.

— Что это, Саша!

— Да гадости-то всякие.

---

* Мне больно (*фр.*). — *Сост.*

— А вы почему знаете, что бывают какие гадости?

— Потому что нет поганей народа, как наши господа. Им все равно, потому что сами поганые, вон как наша. Теперь уж Пьера отпускает: нового камердинера где-то наглядела. Помилуйте, ведь низость это!

— Что вы выдумываете, Саша, на вашу барыню!

— Нет-с, это верно.

— Вздор, вздор! ни за что не поверю.

— Нет-с, верно. Уж вы со мной не спорьте. Я лгать не стану.

— Да это вам так кажется.

— Скажите, пожалуйста! кажется. У меня ведь и глаза, и уши есть... Господи! Мерзость-то этакую, чтоб барыня, дама этакая, могла себя до лакейской ласки допустить.

— А барин может допустить?

Саша засмеется.

— И барин не должен.

— А может?

— Ну уж это другое дело. Наша сестра, по крайней мере, и в грехе знает, как себя вести. Встретится и виду не подаст при людях; а эти — что женщина, что мужчина — все наголо. «Ма метрес» да «мон аман»*. Даже вот плюнул бы, этакой Пьер — ну лакей, да лакей же он, хоть и француз, а и он сейчас знак даст, что он при немаленькой д о л ж н о с т и... — Саша делает соблазнительную гримасу и, вся покраснев до ушей, начинает с неистовым азартом: — Нет! нет, нет! Вы мне ничего и не говорите, потому я и сама этому верить не хотела, но не могу больше не верить, не могу. Этот Петрушка сам хвалился. Я ему и тогда не верила; ну а уж глазам своим должна я поверить или нет?

Мы с Леной молчали, а Саша еще более разгорячилась.

— Барыни! и это дамы благородные называются! Ну уж не я буду, если я в Россию вернусь да не расскажу всего, зачем оне сюда ездят. Говорят, встарь люди такие же были. Совсем неправда, и никому теперь в этом с собой спорить не позволю. Матрена Ананьевна при нашей покойнице барыне в горничных из Карачаевского имения были даны, когда барыню за генерала за Ивана Матвеича выдали. Барыня его, разумеется, не любила, потому он очень был стар и гадок; оне другого любили — хорошенького — соседний там помещик, за тридцать верст

* Моя любовь, мой любимый (*фр.*). — *Сост.*

жил — ну так вот это можно чести приписать, что благородно было. Пусть-ка вам Матрена Ананьевна когда-нибудь об этом порасскажет. У него мать была, престрогая-строгая была дама. Только он и мог что в поле ездить, даром что тридцатый год имел. Так он, бывало, поедет ночью поля объезжать — лошадь у него отличная была, черкесская — он поедет на ней на поля да и махнет к нашей барыне; а барыня уложит мужа да выйдет на балкон вольным воздухом подышать и Матрену Ананьевну с собой возьмет. — «Не отходи — говорит — от меня, Матреша». Не то, чтобы нарочно куда заслать, а говорит: «Не отходи». — Матрена Ананьевна и не отходит. Он тридцать-то верст проскачет, подъедет к балкону, барыня ему свою ручку через решетку балкона спустят, а он ее, эту ручку, поцелует, два слова между собой перемолвятся, да и опять тридцать верст домой скачет, чтобы мать не знала. Так вот это любовь, это и наша сестра холопка понимает, что любовь называется; а этакие барыни, что вот как наша либо что Сайга... Ах, ах скверности! ах, ах гадости! Наша говорит ей, что ей надо с каким-то начальником пофигурить, да не знает, как его к себе обратить; а та говорит: ты с его секретарем поамурься: через него многие этого достигали, многие. Ей-богу, хуже баб крестьянских, что к барчукам хаживали... Нет, нет, я что коснется если до этого ее Петрушки, то вот будь я не я, а самая подлая девка, если он со мною еще когда меня станет затрогивать, я ему плюху, потому я уж ему третьего дня сказала: «Мусье Пьер, я вас прошу, чтоб вы меня за талию трогать не смели; а то я так крикну, что и сама барыня услышит».

Вот вам и первое мое письмо о русских парижанах [...]

ИЗ «РУССКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗАМЕТОК» (1869—1871)

[ВОЛКИ В РОССИИ]

Россию решительно одолевают волки; не те волки, под которыми в застольных торжественных речах разумеют обыкновенно хищных иностранцев, но волки настоящие, из которых каждый бегает на четырех ногах и носит пушистый хвост, если только этот хвост не отгрызен в какой-нибудь баталии с камрадами. Эти волки [canis vulpus] одолевают Россию, начиная от стран, где солнце не заходит по шести месяцев, до пламенной Колхиды и от балтийских бурных волн по всему протяжению двенадцати тысяч верст до Тихого океана. Иногда волки ходят в одиночку, в грустном раздумье о суете мира сего, иногда же, а это чаще, собираются в стада по нескольку десятков штук. В обоих случаях они страдают болезнью голода и всю свою жизнь хлопочут об исцелении от нее. Не исправляя никакой службы у человека — ни гражданской, ни военной, — эти волки совокупно с иностранцами поедают в России все, что есть в ней более вкусного и дорогого, как-то: телят, баранов, свиней, коров, лошадей, а иногда даже и детей, не упомянутых сейчас животных, а человеческих детей, будущих граждан, может быть даже великих... Это последнее обстоятельство особенно важно, так как от него зависит иногда судьба целого государства. Мы очень равнодушно читаем в газетах известия о том, что в какой-нибудь Замухранской губернии, Бутырского уезда, в селе Переверзеве волки съели двухлетнего ребенка крестьянина Максима Дырки, и в своем великоумии, приведя на память цифры политической экономии, рассчитываем, что такая потеря на 70 миллионов жителей — совершенно ничтожна. Иной даже подумает про себя: экая беда, что каким-то грязным мальчишкой стало меньше! Так-то так, но... что бы было, если бы волки съели,

например, хоть Минина, когда он был еще в колыбели, или если бы они обглодали Ломоносова, когда он бежал пешком по морозу в Москву учиться? В первом случае пан Струсь задал бы нам, наверно, порядочную трепку, а во втором мы не имели бы теперь академии наук, которая в течение ста лет приносила такую обильную пользу нашим приятелям немцам. Из этих двух примеров ясно видно, что волкам не следует дозволять съедать человеческих детей, хотя бы даже грязных, а предложить им взамен того суп à la tortul * или бифштекс от Дюссо, не совсем-то пригодный для человеческого пищеварения. Положим, этот бифштекс стоит довольно дорого, что-то около рубля, но ведь, как хотите, а Минин и Ломоносов стоили дороже, так что мы все-таки останемся в барышах.

В Англии, как известно, волки уже давно истреблены охотниками. Говорят, будто англичанам это было легко сделать, потому что Англия есть остров среди океана, так что волкам некуда было прятаться на время охоты. Отчасти это справедливо, хотя не совсем. Пруссия, например, совсем не остров, а там волки истреблены так же начисто, как и в Англии, и если заходят туда, то единственно из России, где еще осталось им самое привольное житье. Один бедный чиновник не на шутку высказывал нам свое сожаление о том, что не родился волком, «потому что, говорил он, тогда бы я всегда питался мясом, которое теперь вкушаю едва ли десяток раз в году». Но... положим, что все на свете для чего-нибудь да создано, следовательно, и волки в администрации природы имеют какой-нибудь чин и определенную должность (без жалования, взамен которого получают право собирать взятки натурой), однако человек, изобретший гласные кассы ссуд и трансатлантический телеграф, не придумал еще, на какую потребу ему годен волк. А потому и постановлено вообще и везде: истреблять волков всеми мерами (для устрашения врагов и в назидание жадным детям). Спрашивается: отчего же у нас волки не истребляются? Потому ли, что Россия велика и обильна бифштексами, или потому, что наши нравы не приучены к порядку? Это неизвестно, но только народ русский откармливает волков на всем протяжении своего отечества.

Обратимся к политической экономии и сделаем такого рода расчеты: если на каждую квадратную милю нашего

* Черепаховый (*фр.*). — *Сост.*

милого отечества положить только по одному волку, то выйдет всего около 400 000 волков, бегающих без ошейников по России. Если положим, что каждому волку нужно только пять фунтов мяса в сутки, то в год он съест более 45 пудов, а все они вместе съедят 18 миллионов пудов в год чистого мяса, без костей. Мясники в Петербурге продают нам мясо от 8 до 20 к. фунт; мы же положим средним числом фунт мяса только в 10 к., значит, пуд в 4 руб., — следовательно, волки съедают у нас ежегодно на 72 000 000 руб. сер.! Мы считали очень скромно, как число всех волков, как их ежедневную порцию, так и цену мяса. Если вам этот расчет покажется все-таки великим, то уменьшите его хоть в десять раз, и тогда вы получите более 7 000 000 руб. ежегодной потери от одних волков! Но к этому прибавьте вот какие соображения: с мясом волк истребляет также кожи и меха, которые мы не считали. Кроме того, зарезав у мужика единственную лошадь или корову, волк на долгое время разоряет все его хозяйство, отчего цифра потери удесятеряется. А как оценить потерю человека, которого съедят волки?

В Пруссии, где живут те самые немцы, которые выдумали «St.-Petersburger-Zeitung *», пришли некогда к тому заключению: у нас есть храбрая армия, которую Наполеон I хотя и поколачивал, но которую тем не менее нужно содержать, т. е. кормить, одевать и обувать даже в мирное время, так как неизвестно, что замышляет Австрия. Граждане говорили: «мы даем деньги на содержание армии, следовательно, можем надеяться, что эта армия окажет нам хоть какую-нибудь пользу». Воины отвечали так: «мы теперь ничего не делаем, это правда; но когда наступит время, то мы будем жертвовать своей жизнью для вашей защиты». Граждане возражали: «защищаться мы бы и без вас сумели, это раз; на вашу защиту полагаться не всегда возможно, что доказала кампания с Наполеоном, это два». Воины возразили: «то был особый случай... ну... да чего же вы хотите от нас?» На этот категорический вопрос граждане ответили просьбою помочь им хоть истребить волков. Тогда между военными возник спор, порешенный, однако, более умными и образованными из них таким образом: гражданам действительно надо помочь. Помочь им тем легче, что в этой помощи заключается и собственная выгода военных,

* «Санкт-Петербургская газета» (*нем.*). — *Сост.*

а именно: солдаты, особенно расположенные в маленьких городах или деревнях, круглый год почти ничего не делают, если не считать делом летнюю прогулку в лагери; поэтому полезно дать им какое-нибудь занятие. Из всех занятий — охота, как младшая сестра войны, наиболее прилична военным, развивая все те способности, которые необходимы в войне. За каждый волчий хвост полагается от граждан денежная награда, которая может служить поощрением для солдат и идти на улучшение их быта. Все эти соображения, подробно расписанные в протоколах заседаний, кем следует подписанные и запечатанные, были в скором времени приведены в действие, и... волкам стало там очень плохо.

Один малороссийский помещик рассказывал нам на днях, что в окрестностях его имения волки производили обширные опустошения в эту зиму; у него одного съели двух коров и лошадь. Совокупно с соседями он обращался в местные воинские команды, прося какого-нибудь содействия для истребления волков, но получил не только отрицательный ответ, а некоторого рода замечание насчет неприличия такого рода просьбы: будущие защитники отечества оскорбились предложением участвовать в охоте...

«Это и наука-то совсем не дворянская, на то извощики есть», — говорила доброй памяти г-жа Простакова [1] о географии.

Нечего делать, приходится, значит, откармливать волков, в ожидании, пока охота на них сделается делом дворянским или, вернее, военным и пока воины уразумеют, что гораздо приличнее охотиться на волков, чем играть в носки [2] в ожидании неприятеля о двух ногах. Но гражданам не следует падать духом, а помнить наставление: толцыте, и отверзется. Что не удалось одним помещикам, может быть, удастся другим или третьим. Могли бы и земства официально даже походатайствовать о содействии войск в этом общеполезном деле.

Есть у нас и другие волки, которых не мешало бы истребить, это учредители гласных касс ссуд, разврат которых не только не уменьшился с гласностью, но принял более широкие размеры, и наглость которых увеличилась пропорционально тому же. Мы не разделяем того мнения, что дозволенное законом ростовщичество — лучше скрытого, и имеем на то свои основательные причины. Прежде ростовщики сознавали, что действуют преступно, и всеми мерами скрывали свое гнусное ремесло, что, много ли,

мало ли, но оберегало нравственность народа. Тогда ростовщичеством не всякий решался заниматься, не только боясь этого занятия как противозаконного, но и стыдясь его как безнравственного, а потому ростовщиками в то время были только люди, которые, подобно публичным женщинам, могли совершенно отречься от стыда. Дозволение им действовать гласно привело к тому, что теперь многие приучились смотреть на ростовщичество, как на простое коммерческое дело, и такое мнение случается не раз слышать от очень порядочных людей. Кроме того, многие люди, даже не совершенно испорченные, занялись теперь ростовщичеством с совершенно свободной совестью, как делом, дозволенным законом, а следовательно, и совершенно нравственным.

В пользу гласного ростовщичества приводят обыкновенно то, что оно больше гарантирует закладчиков и конкуренцией побуждает к понижению процента. Это казалось так теоретически, но на практике вышло совершенно иное. Мы знали в старину двух ростовщиков, одного у церкви Знамения, а другого в Большой Мещанской. Первый отдавал деньги за три процента в месяц, а второй за пять, и оба считали себя очень счастливыми; трехпроцентный даже нажил себе каменный дом. С открытием гласных касс ростовщиков и с возбуждением конкуренции процент не только не понизился, но, постепенно возрастая, дошел до десяти, двенадцати и пятнадцати в месяц. Как ни странно это явление, но объясняется оно очень просто. Прежде немногие нуждающиеся решались обращаться к ростовщикам как из боязни больших процентов, так из боязни потерять вещи, так, наконец, и от того, что не всякий знал, где найти ростовщика; для этого нужно было расспрашивать знакомых, что не всегда и не для всякого было удобно. Кроме того, прежде было и нужды меньше в деньгах. От всех этих причин обороты ростовщиков того времени не были так обширны, и они поневоле должны были довольствоваться тремя — пятью процентами в месяц. С открытием гласных касс ссуд увеличилась не конкуренция между ростовщиками, а конкуренция между закладчиками. Все бросились в эти кассы, предполагая, что так как они дозволены правительством, то вещи в них будут более сохранны (мнение, как показал опыт, совершенно ошибочное). Исчезло затруднение отыскать ростовщика, что также немало увеличило число закладчиков. Ростовщики подняли голову. Огромный прилив закладов дал

им возможность увеличить процент, а дозволение правительства вывело их из-под топора закона. При этом сделана была немалая ошибка: с дозволением гласного ростовщичества не был единовременно уничтожен закон об ограниченном проценте (6 на сто в год). Закон этот был обойден очень просто вознаграждением за хранение вещей, и таким образом закон, который прежде преступно нарушался, стал теперь не более как игрушкой. Ростовщики получили полную возможность обставить себя таким образом, что против них, как говорится, ничего не поделаешь. Одним словом, результаты, которых ожидали от гласного ростовщичества, оказались совершенно противными. Теперь осталось одно средство действовать против ростовщичества: устроить компанию для открытия ссуды бедным людям за более умеренные проценты и под залог всякого рода вещей, иногда даже без залога — под верное поручительство. Такая компания могла бы иметь огромные обороты, если бы только открыла свои действия во многих местах города.

Заговорив о деньгах, мы вспомнили русскую пословицу, что казенное добро не горит, не тонет, и вот по какому поводу: екатеринославская казенная палата разыскивает имения и капиталы, принадлежащие умершему губернскому секретарю Казакову, для взыскания с него за награждение чином 40 р. 38 $^1/_2$ к.! Дивны дела твои, о Русь! Человек помер, вероятно, так скоро по получении чина, что с него не успели вычесть из жалования 40 р. 38 с половиной копеек, так теперь разыскиваются его имения и капиталы... Деньги, как пошлина, взыскиваются всегда за какое-нибудь право. Крестьянин платит за право пахать свою десятину, лавочник за право иметь лавку, купец за право торговать, и т. д. На этом же разумном основании чиновник платит пошлину за право пользоваться льготами, присвоенными его новому чину. Но какими же льготами будет пользоваться чиновник на том свете? Будет ли ему отведено там лучшее место, или простится несколько грехов за то, что он умер не коллежским регистратором, а губернским секретарем? Ведь если бы он прожил хоть сколько-нибудь времени, хоть месяц только по получении чина, то пошлина была бы уже вычтена из жалованья; но так как этого не успели сделать, то, вероятно, он помер чрез несколько дней, а следовательно, совершенно не пользовался своим новым чином. Можно было бы оставить в покое хоть

мертвого-то! Святослав еще сказал, что мертвые сраму не имут...

Та же казенная палата разыскивает и м е н и я и к а п и т а л ы коллежского секретаря С., с которых можно было бы взыскать 9 р. гербовой пошлины. Это объявление не говорит, умер ли С., или бежал неведомо куда, или что с ним другое случилось. Вероятно, тоже помер, потому что иначе разыскивался бы и он сам. Если нам случится встретить этого г. С. на Невском проспекте, то мы не минем схватить его и представить в Екатеринославль; но если мы найдем на улице только его завалящие к а п и т а л ы, то ни за что на свете не отдадим усердной казенной палате 9 р. в наказание за то, что она тревожит прах покойников. Вот в том-то и беда на Руси, что какие-нибудь злосчастные коллежские и губернские секретари даже в могиле не оставляются в покое за казенную недоимку, а тысячи, сотни тысяч и миллионы рублей пропадают бесследно на глазах всякого рода начальств. Как ни сопоставить рядом это канцелярское усердие казенной палаты, переходящее даже за могилу, для отыскания 40 р. и 38 с половиной копеек, и дела о нижегородской соли или петербургском инструментальном заводе?..

Разве это последние дела, разве они не будут повторяться? Мы сильно боимся за Петербург, особенно в настоящее время, когда он находится под д а в л е н и е м г-жи Патти [3]. Эта женщина небольшого роста, очень легкая и грациозная на вид, на деле оказывается тяжелее хеопсовой пирамиды, выдавливая из наших тщедушных существ с их тонкими карманами целые потоки золота, о которых до ее появления никто не подозревал. Выражение Гоголя, что для городничего найдется место и там, где даже яблоку негде упасть, можно, несколько изменив, применить и к г-же Патти: она отыскала источники золота (или бумажек) в таких карманах, в которых никто не подозревал даже медных грошей. Что, если по отъезде г-жи Патти начнут оказываться разные прорехи то там, то сям? Удивительного ничего не будет, и мы довольно уверенно можем ожидать, что приезд ее в Петербург значительно повлияет на развитие скандалезной хроники наших судебных учреждений. Нужно же откуда-нибудь брать эти сотни и тысячи, которые платятся за ложи и букеты в дни ее представлений? Какого мнения сама она о развитии наших мозгов, можно видеть из того, как она принимает все эти подношения и телячьи восторги. В наших глазах она заслужила

полное уважение не столько качествами своего голоса, сколько тем, что легко поняла, в какую страну заехала.

— Ну что, — спросят ее по возвращении в Париж, — как вы нашли этих русских? Правда ли, что они медведи?

— О нет, — скажет она, — на медведей они не похожи. Это коровы, которые мычат от восторга, когда их доят...

Теперь ни о чем нельзя говорить в Петербурге, кроме как о Патти.

— Вы слышали Патти?

— Да... то есть нет еще... но я хотел слышать.

— Ах, как вы много потеряли! Ведь это diva! * Это что-то уму непостижимое, это такой восторг! это...

— Говорят, что нельзя достать билета...

— Полноте, что за пустяки, надо только заплатить. Я имел кресло в восьмом ряду, которое мне стоило всего каких-нибудь 80 руб.

— Но я не имею столько средств...

— Фи, mon cher **, разве говорят о средствах, когда речь идет о Патти. Деньги всегда можно достать; ну, нет наличных, можно взять у ростовщиков; теперь этой дряни развелось на каждом шагу. Кстати, доставайте деньги, поднесем букет Патти, без этого нельзя. Надо поддержать наше достоинство.

Некоторые лавочники обмазывают протухлую рыбу кровью поросенка, чтобы придать ей свежий вид.

Один наивный покупатель, думая иметь некоторую скидку, сказал лавочнику:

— Вот уже шесть лет, как у вас покупаю постоянно...

— Шесть лет! И вы еще живы! — воскликнул не менее наивный лавочник.

Когда г-жа Патти уедет, то некоторые наши знакомые, вероятно, при встрече на улице будут спрашивать друг друга:

— Вы слышали Патти?

— Слышал пять раз.

— Пять раз! И вы еще не в тюрьме?

[О ДЕСПОТИЗМЕ НАПРАВЛЕНИЙ]

В начале нынешнего столетия в общежитейской практике и в русской литературе высоко ценились люди

---

* Богиня (*ит.*). — *Сост.*

* Дорогой (*фр.*). — *Сост.*

хороших правил. С возвращением наших войск из победного похода во Францию, с чем обыкновенно связывают весьма важный шаг в истории нашей цивилизации, к хорошим правилам стали делать прибавку и об образованном человеке. С этих пор появляются люди хороших правил и с образованием, или «люди образованные, но без правил», или же, наконец, «люди с правилами, но без образования». Определения эти имели в свое время значение очень ясное, определенное и с точностью удовлетворявшее пытливость общества о том или другом человеке. «Добрые правила» рекомендовали в человеке известную способность почтительно относиться к законам нравственности; «образованность» ручалась за то, что нравственность, начертанная в сердце этого человека, светла и имеет идеал возвышенный.

Такой довольно упрощенный способ определять человека немногими словами принадлежал веку императора Александра Благословенного и должен составлять довольно завидную привилегию этого века, названного «веком богатырей».

«То был век богатырей,
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки».

Вышедшие на смену деятелям этого века представители сословия, которое одно только тогда и было влиятельно и давало кое-какой тон жизни, затребовали от человечества иного. О правилах и образованности стало не слышно, но стали в спросе манеры... Что такое были эти манеры, и на что они были нужны, на что могли пригодиться? — об этом, конечно, всего менее знали те, кто долго и долго повторял это бессмысленное слово и ценил людей по их манерам. Что же такое в самом деле были эти чтимые манеры, определено Грибоедовым в «Горе от ума». Эти манеры были, с одной стороны, «подражательность модисткам» Парижа, а с другой, обрядовое стремление быть как можно менее простым и естественным. Наивные люди, которым кажется, что на нашей земле один лишь нигилизм достигал нигде не известного значения, должны вспомнить, что гораздо прежде нигилизма у нас достигала столь же невероятного значения манерность, конечно, еще менее достойная внимания, чем самый нигилизм. Люди ученые, граждане редких, но

высоких свойств духа и характера тогда ценились низко и считались людьми неприличными, обзывались «кутейниками», «приказными», «кабинетными крысами», «мещанами во дворянстве» и тому подобными лестными кличками. Им противопоставлялись «уланы — мальваны сани»,

«почтенные кутилы,
Которым барышни не милы,
Гроза солидных становых,
Владельцы троек удалых
И покровители цыганок».

Затем в гораздо позднейший период попадают в честь правоведы; граф Сологуб [1] пишет им в виде апологии свою известную пьесу «Чиновник», и начинается поклонение новым кумирам, но вдруг из Леонтьевского переулка в Москве поднимается тучка, и покойный Николай Филиппович Павлов [2] вдребезги разражает одною статьей благоуханного «Чиновника» графа Сологуба. Общество, вчера рукоплескавшее гр. Сологубу, убеждается сегодня, что оно напрасно отбивало себе руки, что камень, поставленный его сиятельством во главу угла, на самом деле ничего не стоит. Общество радостно осклабляется, посылает ручкою поцелуй автору, уничтожившему графский идеал, и... вдруг видит себя в затруднительнейшем положении: у него нет кумира, перед которым оно могло бы падать, нет мерок для необходимейшего занятия всех праздных людей — для оценок и переоценок своего ближнего.

Суетная и суетливая сплетня, именовавшая себя «очистительной критикой», стала в тупик, но досужие люди ее выручили: было произнесено слово н а п р а в л е н и е, и массы пошли проверять инвентари ближнего по новой таксе.

С того времени, как наиболее определенно выразились идеи, проведенные перед нами «Русским Вестником» и «Современником», н а п р а в л е н и я получили в нашей жизни необычайно тираническое, или, как мы позволили себе недавно сказать, «идоловластвующее» значение, от которого теперь многие начинают смело или робко отмахиваться и отбиваться, как от тяжелого, давящего кошмара.

Не надо никакой особенной проницательности, чтобы видеть, что в жизни и в выражающей ее литературе нынче опять замечаются некие новые порывы, и что эти по-

рывы есть не что иное, как попытки к эмансипации от деспотической власти направлений.

Над нами несомненно тяготеет довольно неприятное несчастие быть постоянными заимствователями того, что у опередивших нас на пути цивилизации народов более или менее давно признано несостоятельным и брошено. Если бы мы захотели перечислять все случаи, в которых это заметно, то мы едва ли кончили бы с таким перечнем, исписав все столбцы листа нашей газеты. Неудачность наших позаимствований давно вошла в притчу во языцех, а дома у нас наши славянофилы отметили все эти неудачи на скрижалях наших летописей огненными чертами, которым не изгладиться и не позабыться до века. Но и в теперешнее время, когда в стране нашей относительно все идет несравненно лучше, отчетливее, осмотрительнее и целесообразнее, чем прежде, и ныне еще не конец этого рода роковому тяготению усвоять брошенное. У нас есть бумажные деньги и цензора; у нас процветают лотереи, везде покинутые, кроме Австрии, подражание которой столь мало желанно; у нас действуют предостережения по делам печати и приостановки изданий административным порядком, в чем уже нам нет в Европе никаких товарищей. У нас некоторые высокопоставленные лица еще разыгрывают роли недоступных индейских божеств, когда это уже везде вышло из моды и высокопоставленные лица Европы щеголяют своею доступностью. Видеть в этих позаимствованиях роковую и неотразимую силу, которой мы поддаемся будто бы по необходимости, как люди страны, не имеющей самобытного развития и плетущейся за чужой цивилизацией, служащей нам и образцом и узором, не совсем удобно, потому что у тех самых народов, у которых мы делаем позаимствование худшего, мы не заимствуем много лучшего. Стало быть, роковое тут не в осуждении нашем усвоять что-либо выработанное чуждою цивилизацией, а в нас самих.

Да не осудят нас за то, что мы относим все это на долю общества, а не чего-либо иного. Во всем том, что мы намереваемся сказать, мы должны иметь счеты прямо с общественными деятелями, не привлекая к сему деятелей никаких официальных сфер и кружков.

До тех пор, как направления начали действовать с их дикой деспотической силой и как у нас по направлениям

начали раздавать патенты на ум и безумие, на честность и бесчестность, не стесняясь никакой иной критикой, кроме своего «направленного масштаба», задатки этого деспотизма были уже положены давно. Давно люди, достойные всегдашней лучшей памяти и уважения, люди, которых и имен не хотелось бы даже вспоминать в настоящем случае, рабствовали направлениям, носившимся тогда, по меткому выражению Аполлона Григорьева [3], в форме «веяний». Подпадая под власть этих веяний, люди честные, даровитые и умные нередко служили тому, против чего в глубине души возмущались, и преследовали людей за то, что сами хотели уважать в человеке. Либералы и демократы века Александра Благословенного не могли переносить в Сперанском [4] именно того, что всего более должно бы, кажется, находить в них сочувствие по теориям равенства. Великому государственному человеку не прощали его происхождения из духовного звания — его, так называемого, «кутейничества». Это была человеческая зависть, поддержанная заимствованным из Франции направлением «презирать аббатиков». Что было общего между нашим духовенством и аббатиками и особенно между аббатиками и Сперанским, пожимавшим духовенство до стонов и вздохов вопиющих, — это никого не смущало. Направление было удовлетворено: «кутейника стерли». Пушкин, которому многие из гонителей Сперанского недостойны были разрешить ремня у ног, рискнул печатно сознаться, что он, по своему происхождению, «темный мещанин». Но в обществе того времени существует поверье, что купцы не люди, что они «алтынники, самоварники, протобестии», и ничего более, что умный человек может быть только из дворян; в обществе было дворянское направление, и великий поэт, «темный мещанин» по происхождению, служит весьма возмутительную службу дворянскому направлению. Полевой [5] заводит журнал — Пушкин на него накидывается, и накидывается именно с той стороны, к которой должен был отнестись совершенно иначе. Пушкин говорит:

«Журнала нового издатель:
Второй он гильдии купец.
Последней гильдии писатель
И первой гильдии подлец»...

Как всякий более или менее меткий экспромт Пушкина разносился по столице и придавливал того, кого касался,

так разнесся и преследовал этот экспромт Полевого и отравлял его жизнь.

Но этого мало: Полевой написал критическую статью по поводу пьесы «Рука Всевышнего отечество спасла» и высказался в своей критике за начала, которые, как известно, отнюдь не противоречили многим задушевным влечениям Пушкина. Критика эта сошла Полевому с рук неблагополучно... Что же Пушкин — пожалел его? Нет! В дополнение к первому брошенному им в Полевого камню поэт наваливает его бревном, которого уже совсем, кажется, невозможно было ожидать от чуткого поэта, прозревавшего даже, что значит «мысь» в «Слове о полку Игореве».

Пушкин по поводу несчастий Полевого пишет:

«Рука Всевышнего три чуда совершила:
Россию от врагов спасла,
Поэту ход дала
И П о л е в о г о у х о д и л а».

Ревность по направлению так отуманивала великий, жизнь обнажающий до дна, ум поэта, что он даже не прозрел, что злое слово его о Полевом всего более потешит именно тех, кого сам Пушкин мог и должен был считать неисправимейшими врагами лучших своих симпатий.

Перечислить, сколько наделано умными людьми подобных неловкостей ради направления, даже невозможно, но не забудем здесь разве высокопреосвященного Иннокентия [6], деятельность которого постоянно встречала самые неожиданные удары со стороны блюстителей направления. Его не обинуясь называли даже «социалистом», и кличку эту едва ли не яростнее всех пропагандировал некто чиновник, который, по словам современного сатирика,

«даже
Просить себе прощения в грехах
Он ездил к Троице в казенном экипаже
И на казенных лошадях».

Окинем теперь беглым взглядом идольские требы, которые совершались во имя того или иного направления в наше время, когда направления размалевались в различные цвета и в обществе, как говорят насмешники, произошло «разделение церквей», а в литературе нагло и дерзко сказано: «Кто не с нами, тот п о д л е ц».

Прежде всего мы должны еще заметить по отношению к вышесказанному, что в прошедшую эпоху общество было гораздо стойче и не обличало такой шаткости, которую мы только пережили. Что там ни говорил Пушкин о Полевом, Полевого все-таки любили, что ни привешивали к Иннокентию, его все-таки звали «Златоустом» и плакали с ним, когда он говорил: «Давайте плакать». Общество во всем тогдашнем застое имело столько независимости, чтобы относиться к деятелям независимо от рабства направлениям.

Последний период, предупреждающий нынешние попытки общества и некоторых литературных органов эмансипироваться от деспотизма заказных направлений, представлял, а частью (в особенно робких людях в обществе и в особенно нерадивых о своем будущем органах в литературе) представляет и поныне явление неслыханного, почти даже новообразимого рабства и безвластия рассудка перед немилостивыми указами направления.

Направление — это идол, на алтаре которого заклано в последние годы бог весть сколько безвинных жертв, воссылавших свои жалобы к небу, и, наконец, кажется, услышанных небом. С тех пор, как распочалось это азартное идолопоклонничество, в жизни смешались, спутались и потеряли свое значение такие самые простые понятия, как разум, честь и совесть. Человек был умен не потому, что он умен, что он хорошо мыслит и понимает, а потому, какого он направления. То же самое применялось и к чести, и к совестливости людей. Дело выходило не в сути дела, а в каком-то привеске. Выходило, что можно быть дураком, но умником в известном направлении, лгуном и предателем, но честным по направлению... Этой безумной чехарды невозможно понять, но тем не менее она процарствовала у нас на Руси свой известный период и, бог ее весть, может быть, как саранча, закопалась в землю. Общество сначала не умудрилось понимать эту умную глупость, честную бесчестность и бессовестную совестливость и брало дело просто. Громека [7] написал слишком известную статью: «Полиция вне полиции»; в обществе почувствовали и поняли, что это статья умная, здравая, смелая и полезная, и Громеке были очень благодарны — он имел успех и сразу сделал

себе имя публициста смелого, честного и умного. Но кто-то из Москвы свистнул стихом:

«Громека мне синий картуз подарил».

В Петербурге это подхватили с радостью, с восторгом и заколотили на все лады: «А, мол, Громека-то, умник-то, полицию пробирает, а у него синий картуз был». Смейтесь или не смейтесь, а Громека для многих преблагополучно исчез весь с своими статьями за одним своим синим картузом. С той поры относиться к его литературным трудам по их существу, а не по картузу их автора стало якобы неприлично. Оробевшее и смирившееся перед направлением общество уже не вступалось ни за кого, и пошел покос: в одном журнале восклицали: «Бей направо и налево!»; в другом кричали: «Кто не с нами, тот подлец!», и тут уже

«И народам, и царям
Приходилось жутко».

Если теперь взять и разобрать это месиво, которым поклонники направлений кормили своего идола, то просто становится непонятно, как идол все это глотал и как у него давно чрево не расселось на полы. В одну лохань валили ему сочувствие Гарибальди и порицание национальных принципов и ласки к Польше, демократизм и стояние за польскую панщину, снисхождение к панству, владеющему крепостными людьми в Польше, и гонение на умершего Пушкина за то, что он был камер-юнкер, сапоги всмятку и Шекспир, не стоящий сапог, укоризны правительству и иным направлениям за их нетерпимость и «кто не с нами, тот подлец»... Сам Соломон ничего не разобрал бы; у нас, однако, были доки, которые хвалились, что якобы разбирают.

С точки зрения направления прежде всего великие вины пали на священное писание, преимущественно за открытые в нем несообразности с естественными науками. Происхождение и древность человеческого рода по библии и по Дарвину дали первые поводы к сражениям с ветряными мельницами, — говорим: «с ветряными мельницами», потому что все мало-мальски образованные люди весьма давно знали, как надо относиться к библейской хронологии до эпохи царей. Но необразованные писатели, только схватив вершки из Дарвина, думали, что они знают то, чего никто

на Руси не знает. Начинается забавнейшая чепуха: некто уже умерший писатель Пиотровский пресерьезно придирается к словам Христа: «Аще соль обуяет, то чем осолится», и, не задав себе труда обратиться даже к «Толковому Евангелию», где изъяснена эта метафора, обвиняет Искупителя «в нелогичности и незнании химии»; другой критик, г. Зайцев [8] (все ведь это в свое время были величины), тоже пресерьезнейшим образом доказывал, что сын Давида Авессалом не мог сам повиснуть на кудрях своих, а что «его повесили за волосы и расстреляли». Но библия не отвечала, дело с ней было покончено скоро, и пошла расправа с политикой: благослови господи, были обруганы Кавур и Пальмерстон, а за ними задним числом Сперанский. Вследствие неудобств высказывать цели стремлений своих в публицистических статьях писатели начали натягивать свои идеи на романический подрамок: явились герои, которые брали с собой какого-нибудь семинаристика и «уезжали делать предприятия». Некто Incognito однажды жестоко осмеял эти «предприятия» в «Отечественных Записках»; поднялся шум и гвалт: встала неотразимая надобность досказать, что это такое эти предприятия, за которыми беллетристы пустили десятки своих героев. За дело это взялась умная и талантливая писательница, известная в литературе под псевдонимом Марка Вовчка [9]: она перешагнула геркулесовы столбы, у которых до нее все останавливались, и написала повесть «Живая душа». Здесь герой, чтобы избавиться от ига богатства, дерет пальцами кружевные занавесы, а другой ездит «делать предприятия», и, куда ни приедет, сейчас поселится в хатке и «п и ш е т», — точно приказный, поверяющий тайком ревизские сказки. Общество уже не одолело этой скучной повести даровитой писательницы, поклонившейся своей «Живой душой» бездушному кумиру, и о предприятиях в беллетристике замолчали. Сказалось нечто странное для невнимательных людей: сказался пересол, заставивший публику поблагодарить приспешников за угощение. Дальше Марка Вовчка по пути этих направлений идти уже было невозможно, потому что направленской стряпни не читали: в обществе замечается дерзкое свободомыслие, общество позволяет себе относиться к вздору без уважения, несмотря на то, что этот вздор имеет претензию на направление. Направления, возникавшие из прихоти, как моды, на пустяках же спотыкались и стали лететь «кувырком». В журналах

мало-помалу начинает замечаться некоторая толеранция к пишущим людям, и тот журнал, где была напечатана злополучная «Живая душа», едва ли не первый дал самые утешительные знаки терпимости и благоразумия. Всеволод Крестовский[10] устами одной из своих героинь, Лиденьки Зац, в «Панурговом стаде», романе, который печатает «Русский Вестник», говорит, что в 1863 году были убеждены, что «кто не с Полояровым и не с Лидонькою Зац, тот служит при третьем отделении», но в недавнее время журнал, где была напечатана «Живая душа», дал почувствовать, что он не разделяет такого основательного поверья, — другими словами, ему принадлежит честь открытия, что можно не рабствовать направлению, вовсе и не состоя ни при каком отделении. Далее журнал этот в самом деле сделал честный шаг, начав допускать некоторые достоинства в уме, талантах и характерах писателей не того образа мыслей, которого держится само это почтенное издание. Секты всегда крепки нетерпимостью, а толеранция расслабляет их и губит. То же самое произошло и происходит теперь и в литературе. Редакцию «Отечественных Записок» уже давно укоряют в измене направлению и, надо сознаться, укоряют небезосновательно. «Вестник Европы» тоже сносит такие укоризны и тоже не без причины: «там Н. И. Костомаров доказывает, что польский народ неспособен был к самостоятельной жизни, а И. А. Гончаров вывел в романе Маркушку[11]. «Петербургские Ведомости» также бывают часто коримы и тоже не без пути: у них бывают здравомысленные статьи по вопросу польскому; их Незнакомец не раз говорил дело по отношению к некоторым смешным притязаниям женщин, притязаниям, только вредящим серьезной стороне расширения женских прав. Вот сколько измен в весьма небольшом числе явлений, но есть еще и другие, про которые до сих пор не говорили. В изданиях Каткова, кроме выходки против губернатора, небеспричинного в униатских волнениях в Подлясье, где власти не в меру усердствовали за восточный обряд, очень либерально говорили недавно об образовании женщин, а в «Панурговом стаде» г. Крестовский схватывается даже с «третьим отделением»... Измена идет даже глубже. «Православное обозрение» напечатало, что есть вопросы, «неудачно поставленные самим богословием», а три духовные издания разом и во главе их всех и смелее и резче «Труды киевской духовной академии» в специальных статьях о жен-

щинах высказываются за необходимость улучшения женского образования и расширении сферы их деятельности. У специалистов по женскому вопросу похищена, отнята их специальность; мнимые враги женщин оказываются их друзьями и друзьями более нежными, более искренними и обстоятельными, чем те, что под видом эмансипации женщины в сущности эмансипировали себя от всякого обязательства перед женщиной. В вопросе совершается революция: американка мисс Эмма Вебб читает в Брунсвиле лекции, в которых говорит, что женщины очень сильны и что сила их может быть еще более, если они будут владеть мужчиной кротостью и «оставят свои профессиональные заблуждения. Я не знаю ничего более противного (заключает лектор), как женственного мужчину, кроме разве женщины, стремящейся быть мужчиной. Власть женщин неограниченна». Императрица французов Евгения повторяет то же. Эта несомненно умная и сильная женщина сказала, что особы ее пола всевластны, владея мужчиной в известные годы любовью, в известные добродетелью, и Наполеон III отвечал ей: «Ваш арсенал непобедим». Мармоны Соленого озера взбунтовались против свободы отношений и требуют единомужия; на священноинока Павла в Москве сыпятся благословения всех раскольничьих женщин, находящих себя в крайней зависимости от мужчин, не приемлющих брака; литература напирает на необходимость пересмотра брачных законов и справедливо указывает, что причины все более и более укореняющегося внебрачного сожительства лежат в несомненной несостоятельности брачных законов; и вот она, та практическая почва, на которой, наконец, сходится женский вопрос вместе с мужским, делая неуместным всякое деление его на полы. Вот один из результатов измены направлению, результат, конечно, отнюдь не печальный. То же, вероятно, будет и с другими вопросами, когда измены позволят взглядам сблизиться и поразуметься.

Разумеется, слово измена мы в настоящем случае употребляем в шутку, ибо на самом деле здесь нет никаких измен ничему, а есть только отрезвление, в силу которого направления хотя и поперемешались, но истина выяснилась и все более и более убеждает, что «разделение церквей» в литературе отнюдь никогда никого не обязывало к идолослужению и что в сущности во всех делениях еще вполне возможны и общие прошения, и

общие славословия, и общие сожаления о долгом периоде поклонения кумирам.

Великие умы нередко горько сетовали, что в человечестве мало любви к свободе и еще менее уменья беречь ее. «Не будьте ни аполлосовы, ни Павловы», — уговаривал апостол первых христиан, все порывавшихся становиться под то или под другое человеческое знамя. Будьте Христовы — поклоняйтесь истине. Апостол, «гнавший истину» [12], искупления ради прежнего своего «направления», знал, куда, в какие дебри и трущобы заводит человека это рабство, и сам упрашивал людей: не будьте ни моими, ни аполлосовыми. Это значит любить истину, а кто проповедует, что «кто не с нами, тот подлец», истины любить не может.

Si itis cum jesuitis, non cum Jesu itis
Si cum Jesu itis, non cum jesuitis *.

Всякие неправды, хитрости и натяжки, предпринимаемые в пользу того или другого из предвзятых направлений, к добру и к истине не приведут. Сначала они подорвут свое значение, как очевидные натяжки, а потом совсем перейдут в пошлости. Пример первого мы видим в одной недавней выходке одного бесшабашного из наших журналов, для которого все знамения времени немы и момент отрезвления еще не настал. Там какой-то мнимоученый естествоиспытатель заговорил о достойной и интереснейшей полемике Катрфажа[13] с Дарвином. Кажется, здесь в наслаждении знаниями двух истинно великих ученых какое бы место могла найти себе мелкая, невежественная злоба и ярость? Дарования обоих ученых огромные, ученость поразительная, спор Катрфажа ведется языком, достойнейшим подражания, ни один из противников не унижает друг друга, а говорят о науке, как действительно прилично говорить о науке; но вмешивается наш якобы ученый, не вносит в спор ничего нового, но сразу обзывает Катрфажа «тупицей» и тут же прихватывает «пошляков, которые верят, что род человеческий существует на земле только пятьдесят, а не сто тысяч лет». Скажите, пожалуйста, какое преступление и какой прекрасный крити-

---

* С иезуитами — не с Иисусом, а с Иисусом — не с иезуитами (*лат.*). — *Сост.*

ческий прием внушать, что род человеческий обитает на земле сто тысяч лет, а не менее? Но вам кажется, что бывали очень умные люди, которые проживали весь свой век, даже и не допуская никакой иной хронологии, кроме библейской, и вовсе не зная тех, кто построил другие вычисления на челюсти, найденной в формациях пещерного медведя. Да это, говорят, вам так только кажется, но на самом деле они «пошляки» и даже «подлецы», потому что они не «с нами». Когда-то любили ставить вопрос: будут ли осуждены на вечную муку честные язычники, не знавшие Христа, и особенно будет ли осужден Сократ? В доброе старое время одни решали, что людям этим не участвовать в райских блаженствах, а другим это казалось верхом несправедливости. Но извольте же отнестись теперь к той справедливости, которая называет вас «пошляком» и «подлецом» за то, что вы не так легковерны, как другие, или даже вовсе и не знаете, чего от вас эти другие хотят?.. Скажите, какой прогресс, и если можете, то ответьте: кто же здесь главные и несомненные «пошляки»?

Вот вам одно из последних дел направления, — теперь другой новейший случай.

Одна газета попрекнула финляндцев куском хлеба, который послали им из России во время прошлогоднего голода. Упрек этот — поступок поистине очень невеликодушный, но и не бог уж весть как много значащий. Маловоспитанные люди всегда склонны, сделав добро, колоть им после глаза, и газета притом же увлеклась направлением, за которым нашим писателям не впервые забывать и деликатность, и благоразумие. Газета связала корку хлеба, посланную из России голодным финляндцам, с национальными привилегиями, которыми в силу своей конституции пользуется Финляндия. Связь, разумеется, самая натянутая, неловкая и несчастливая. Финляндская газета «Uusi Suometar» пришла от замеченной бестактной выходки русской газеты в ярость и напечатала задорнейшую и даже обидную для русской печати статью, в которой провела ту мысль, что финляндцы-де и не нуждаются в русской помощи и на будущее время лучше умрут от голода, чем примут помощь отсюда. Другая петербургская газета схватилась и быстро перепечатала эту финляндскую выходку против пошлой и недостойной выходки «Голоса», упустив при этом из виду,

что финляндцы сами тоже попрекали Россию тем, что они дали ей 300 тысяч рублей ассигнациями после петербургского наводнения.

Пускаясь еще далее по этому потоку, видим уже, что он нас заносит в болото, где кипит борьба мельчайших существ, бьющихся за направление и валящих друг друга в гадостнейшую тину. Один фельетонист, негодуя на комитет грамотности, не доказывает чем-либо веским бесполезность этого в самом деле комического учреждения, а говорит, что «всего замечательнее (+), что из его знакомых два лица, наиболее кричащие о лечении народа от пьянства театром, оба еврейского происхождения» (Голос — № 289). Журнал «Дело» в десятой книжке своей посвящает целую страницу этому писателю, рассказывая, что когда тот пришел будто в один клуб, то ему не стали подавать руки и начали от него отворачиваться.

— Что это значит? — изумляется фельетонист «Голоса». — Почему вы не подаете мне руки?

— Потому, что вы мараете грязью все порядочное и честное, что заслуживает уважения... Потому, что вы не понимаете, что может быть осмеяно и чего осмеивать нельзя, — будто бы отвечали злополучному фельетонисту.

«Дело» пропечатало это поучение насчет благоразумия в насмешке на странице 98-й, а сряду на странице 101-й рекомендует некоему издателю сделать такое объявление: «Раздается безвозмездно роман с тенденцией и в роскошном переплете из свиной кожи г. Гончарова «Обрыв»... (Какое тонкое остроумие!)

Что же теперь фельетонисту «Голоса» стесняться тем, что о нем сказано: он в своем направлении не уважит ничего, как другие, читающие ему нотации, ничего не уважают в другом направлении... Соболя и бобры все выходят равны, и ворон ворону глаза не выклюет.

Но высшая язвительность и утонченность приема остается за третьим изданием, давно и серьезно занимающимся фельетонистом «Голоса». Тут 30 октября возвещено, кто именно сей многострадальный человек, за мимолетный разговор с которым Незнакомец [14] «С.-Пет. Вед.» недавно приносил публичные покаяния и примером своим, кажется, увлек очень многих, хотя поздно, но искренно кающихся в том же самом.

Вот, почтенный читатель, и посудите, есть ли о чем сетовать, что общество наше после долголетнего рабства направлениям, наконец, заявляет видимое желание эмансипироваться от этого деспотизма? Нет, это скорее радостно, чем печально, ибо по мере того, как мы станем выходить из царства теней теоретических направлений, в литературе послышится более речей дельных, и с тем, как возобладает царство здравого смысла в суждениях, в литературе явится и то, чего она так давно лишена: явится критика. Замечаемое смешение и послабление направлений в литературе, а тем паче порывы общества к освобождению из крепостной зависимости направлений можно и должно приветствовать и в интересах общества, и в интересах самой литературы. Участь литературы еще не решена; судьбы печати еще шатки и зависят тоже от направлений; защиту же, поддержку и опору себе в превратной судьбе печать найдет лишь только в обществе, мнения которого будут тем скорее влиятельны, чем скорее им будет понято, что с идеей истинной свободы разумения несовместно желание именоваться «или Павловым» или «аполлосовым».

В эпиграфе одного из произведений столь недавно еще любимых Россиею писателей было поставлено: «Да царствует разум!» Окончим этим эпиграфом нашу заметку:

«Да царствует разум!»

[«СИМ ВОСПРЕЩАЕТСЯ...»]

«Сим воспрещается», «сим строго воспрещается», «сим наистрожайше воспрещается»!

Кому из вас, почтенные читатели, не доводилось встречаться с этой нашей, так сказать, национальной фразой и вывеской? Где она не писалась, где она не стояла, где не сверкала и не била в глаза русскому человеку для того, чтобы порой досаждать ему, а чаще воздымать в его голове самые странные недоразумения: зачем и к чему все эти запреты; какой в некоторых из них смысл; какая в них польза; затем, если во всех этих запретах есть смысл и польза, то почему же девяносто девять запрещений из ста никем не соблюдаются, и зачем, когда несоблюдение их видимо подрывает авторитет запретителей, зачем этого не искоренят и не запретят, а все только запрещения

растут и растут и множатся; зачем это, наконец, никого не смутит и не заставит задуматься?

Впрочем, сказав, что это «никого не смущает», мы припоминаем, что сделали маленький промах, и должны оговориться. Покойный профессор гражданского законоведения в Московском университете Федор Лукич Морошкин, автор известного сочинения «О постепенном образовании законодательства» (умерший в 1857 году), не раз обращал внимание своих слушателей на то, что законодательство в России так разошлось с жизнью и ее требованиями, что, по его словам, у нас давно исчезла всякая возможность жить, не совершая ежеминутно постоянных преступлений. Благодаря непроглядной сети спутанных, перепутанных, одно другое уничтожающих и одно другому противоречащих запрещений, человеку, желающему не нарушать закона, у нас пришлось бы преодолевать такие неудобства жизни, с какими не знается ни один дикарь, заблудившийся в непроходимых лесах Гвианы. «Законовед, — резюмировал он, — неминуемо должен бы прийти от этой путаницы в непереносное отчаяние, если бы его не подкрепляла одна священная надежда на явление со временем закона о запрещении запрещений!»

Даровитый ученый, выражавший эту райскую надежду, уже двенадцать лет как переселился в селения праведных, а надежда его все еще остается надеждою, и курьезная сторона многих русских неисполнимых и необъяснимых запрещений все еще продолжает то смешить, то сердить людей, ведающих о сих запрещениях и неуклонно их нарушающих.

Все это сводится иногда к анекдоту, часто к комедии и нередко к драме.

Начнем по очереди с анекдота.

Пишучи эту заметку, мы крайне сожалеем, что не обладаем завидной памятью некоторых счастливцев, способных пересказать ряды событий с такой точностию, как будто бы они вписаны у них в памяти, как на таблицу; но каждый из читателей сам, всеконечно, найдет у себя большой запас воспоминаний, могущих с избытком пополнить наши слишком краткие и слишком беглые заметки.

Не знаем, с чего начать; но как особого систематического порядка в этих воспоминаниях и не требуется, то

начнем хотя со «старинного зла», т. е. со взяток.

Взятка воспрещалась. В законе за мздоимство и лихоимство назначались кары, но их почти никто не боялся, и взятки брали все или почти все, а кто их не брал, тех звали простофилями и даже дураками.

Это — одна сторона: ею грешили лихоимцы; но у медали есть и другая сторона, которой грешили лиходатели. Взятки давать запрещалось, но без взяток ничего не делалось да и не могло делаться.

Лет несколько тому назад одно из очень и очень высокопоставленных лиц сделало одну огромнейшую покупку, на которую в надлежащем присутственном месте совершена была купчая крепость, и надсмотрщик крепостного стола (как назывались тогда эти чиновники) отправился с готовым документом и книгой на дом к очень и очень высокопоставленной особе. Особа взяла купчую, расписалась и отдала книгу чиновнику. Тот молча поклонился, отошел и стал у двери.

Особа обернулась: видит — чиновник стоит.

— Благодарю, братец, благодарю, — сказала особа.

Чиновник вежливо склонился и опять стоит.

— Благодарю же, благодарю, — повторяет ему особа.

Чиновник — опять поклон молча и опять ни с места.

Особа имела слабость думать, что она одарена высшим ведением и особенно жизнь русскую и русского человека проницает до дна.

— Ага! — воскликнула особа, — я тебя понимаю! — И с этим высокопоставленное лицо обернулось к столу, выдвинуло ящик, пошарило там рукой и крикнуло чиновнику: — Подай мне книгу!

Тот подал.

Высокопоставленное лицо положило в книгу сторублевый билет, отдало книгу, не оборачиваясь, назад чиновнику, и, улыбаясь, наслаждалось уже заранее эффектом, как она, эта особа, станет рассказывать нынче в собрании всех высокопоставленных лиц, как с него, с самого его, чиновник гражданской палаты сто рублей взятки взял... Но среди этих ликований высокопоставленное лицо вдруг оглянулся, а чиновник опять стоит у двери.

Особу это даже передернуло: в самом деле отошла эта приказная крыса по коврам тихо и стоит, словно мечты высокие подслушивает.

— Чего же ты еще стоишь? — крикнула особа.

А тот опять поклон.

— Да ведь я же тебе положил в книжку.

— Точно так, — тихо, но не робея начал чиновник.

— Так что же тебе еще?

— Здесь всего сто рублей.

— Ну!

— А купчая крепость на миллион шестьсот тысяч.

— Ну!

— Мне не поверят мои товарищи, что ваше вашество мне всего сто рублей изволили пожаловать.

— Сколько же бы ты желал получить?

— Обыкновенный человек мне дал бы, по крайней мере, три тысячи, а ваше вашество пожалуете мне пять.

Особа сорвалась с петель. Эта неслыханная наглость ее поразила.

— Мерзавец! — закричала особа. — Где ты взял столько дерзости, чтобы говорить мне такие вещи?

— Дерзость моя, ваше вашество, основана на моем положении, — продолжал спокойно чиновник. — Я служу, плачу деньги за чины, не получаю никакого жалованья и содержу целую канцелярию!

Высокопоставленное лицо сделало круглые глаза от изумления.

— Действительно, действительно так, — продолжал, пользуясь этой минутой, чиновник, — я бедный человек, служу без жалованья, плачу за чины и содержу канцелярию, а потому, что я получаю, то идет для пользы службы.

Особа дала чиновнику пять тысяч и потом долго носилась с открытием, что у нас есть чиновники, которые, так сказать, на законном основании берут взятки.

— И я сам, да, я сам дал пять тысяч и не скрываю этого! — говорила она однажды одному тоже высокопоставленному лицу.

— А я советывал бы вам это скрывать, — отвечал собеседник.

— Это зачем?

— Да ведь вы подлежите за это суду, как лиходатель заодно с лихоимцем.

Особа замахала руками: «дескать, тут сам черт ногу переломит!» — и с тех пор о данной взятке ни гу-гу.

Из имений многих наших высших государственных людей всегда отпускались щедрые взятки на чиновников, и деньги эти сносились прямо по отчетам, как жалованье,

в расходные статьи, и при поверках и опеках статьи эти читались гласно и громко и никого не смущали.

А взятка все-таки была запрещенное преступление.

В одном из наших больших губернских городов был в довольно недавние годы начальником добрейший и благодушнейший престарелый князь (ныне уже умерший), и там же, в том же самом городе, был городовой врач, из евреев, что называется, преестественнейшая каналья. На чиновника этого до старика-князя доходили беспрестанные жалобы, а во время одного рекрутского набора скопилось их столько, что добрый князь не выдержал и сказал:

— А, с этим, стало быть, надо что-нибудь того... надо что-нибудь сделать.

— Не будьте с ним так мягки, ваше сиятельство, — отвечал ему его советник и правитель.

— Да, да, да... стало быть, нельзя... Позвать его ко мне, и вы увидите, черт меня возьми, мягок ли я... увидите.

Через полчаса правитель докладывает, что виновный лекарь явился и ждет в приемной.

— А, он, стало быть, там! Нет, сюда его, сюда его, в кабинет... а вас прошу постоять вот тут за ширмой... Вы говорите, что я мягок, стало быть, слаб... Вот вы увидите, как я слаб...

Вошел преступник; князь на него так и накатился.

— Вы, — говорит, — взятки брать!

— Беру, ваше сиятельство, — отвечает доктор.

— Как, что?.. Что такое я слышу? — испугался князь.

— Да вы изволите спрашивать, беру ли я взятки? — начал пояснять врач. — Так я вашему сиятельству докладываю, что действительно беру.

— Да как же вы, стало быть, смеете?

— Позвольте мне объяснить это? — спрашивает врач.

— Объясняйте, черт возьми; объясняйте!

— Все объяснение в двух словах, ваше сиятельство: жалованья получаю сто двадцать рублей в год, но и тех не беру, а отдаю управе; медицинской практики не имею за недостатком времени, от науки отвык, тройку лошадей содержу для езды по городу с происшествия на происшествие, нанимаю от себя фельдшера, содержу семью, плачу жалованье прислуге и даю на содержание управы. Откуда

мне все это взять, ваше сиятельство? Я бедный человек и служу правительству даром.

Князь смутился, и врожденное его добродушие взяло верх над его напускной строгостью.

— Но все-таки, — заговорил он, поворачиваясь спиной к портьере, — но все-таки... это того... вы, стало быть, того... всякий день делаете постоянно преступления... Ведь этак нельзя, это запрещено законом.

— Ваше сиятельство, в России все постоянно делают беспрерывные преступления.

— Да это вы того... стало быть, как вы смеете! — опять закипятился князь. — Я, сударь мой, я первый, я никогда не делаю преступлений.

— Вы их при мне, ваше сиятельство, совершили более пятнадцати.

— Что, что такое?.. Я... пятнадцать преступлений в пять минут?.. Вы — сумасшедший.

— Никак нет: вы во все время, что со мною говорите, изволите зажигать спички... Вон их пятнадцать брошено...

— Да, они гаснут; но это для вас не оправдание.

— Да, но в них я уравниваюсь с вашим сиятельством в преступничестве.

— Как? что такое?

— Спички запрещено законом зажигать!

— Как?.. что?..

Князь покосился на портьеру и как бы ждал оттуда спасения.

— Да-с, точно так, — продолжал со вздохом лекарь. — Вы, ваше сиятельство, пятнадцать раз изволили нарушить закон.

— Так чем же я буду зажигать? — вскричал князь.

— Бандерольные спички, ваше сиятельство, узаконены, а все другие запрещены, а вы изволите видеть (он поднял коробочек и прочитал по-польски) ««Zapalki Poltaka w Wiedniu»* — запрещенное, ваше сиятельство.

Князь засопел и опять на портьеру.

— Где же это, стало быть, эти того... дозволенные спички?

— Не знаю, ваше сиятельство, — отвечает лекарь, — и... никто не знает.

— Вы врете!

---

* Спички Полтака в Вене (*польск.*). — *Сост.*

Князь в нетерпении обернулся опять к портьере и воззвал:

— Пожалуйте, пожалуйте... Нечего там скрываться. Извольте мне объяснить, где можно достать дозволенных законом спичек?

— Не знаю, ваше сиятельство, — отвечал правитель.

— А, вы не знаете! Вы не знаете! А в таком разе я, стало быть, не делаю никакого преступления, потому что я и закона-то этого не знал.

— Извините, ваше сиятельство, но неведением закона отговариваться запрещено, — кротко заметил язвительный лекарь.

— Да, что это за черт меня преследует! — вскрикнул князь и, обратясь к правителю, добавил: — запрещено?

— Запрещено-с.

— Куда же, ваше сиятельство, мне идти брать себе законные средства к жизни? — смиренно вопросил лекарь.

Князь сопнул, собственными руками завернул к порогу и лекаря, и правителя и вместо напутствия сказал им:

— Убирайтесь вы, стало быть, к черту... если это не запрещено.

Кроме взяток, которые запрещались и которых невозможно было не брать, как равно невозможно было обходиться и без запрещенных спичек, разновременно, кажется, все было запрещено. Запрещалось, например, представлять к награде орденами не имеющих пряжки, но дозволялось обходить это запрещение; запрещалось ремонтерам полевой пешей артиллерии платить дороже 50 руб. за лошадь, а выдавалось по сту рублей на коня; одно время студентам запрещалось не только ходить в фуражках, но даже иметь их; запрещалось офицерам носить калоши и фуражки, а писарям запрещалось ездить на дрожках. Эпоха эта даже воспета Пушкиным в стихах:

«Когда в столице нет царя,
Там беспорядкам нет уж меры:
На дрожках ездят писаря,
В фуражках ходят офицеры».

Запрещалась ловля рыбы на крючки; запрещалась продажа водки, вина и пива в торговых банях, где все это вечно

продавалось и продается; запрещались и по днесь запрещены дома терпимости, и есть суровые законы, по коим следует карать содержательниц этих домов, но есть и административные правила и для самих этих содержательниц, и для женщин, промышляющих своим телом; запрещалось помещикам заставлять крестьян работать более трех дней в неделю, и не соблюдалось это нигде, кроме западного края; запрещалось крестьянам работать на себя по воскресеньям и табельным дням, соблюдение чего было вовсе невозможно, ибо, во-первых, крестьяне, заморенные целую неделю на барщине, умерли бы с голода, не работая на себя в воскресенье, и, во-вторых, табельных дней крестьяне и не знают; запрещалось в России ездить с колокольчиком, а в нынешнем привислянском крае запрещалось ездить без колокольчика; запрещалось ношение усов во флоте, в пехоте и в тяжелой кавалерии; запрещалось дворянам и чиновникам носить «круглые бакенбарды»; запрещалось монаху иметь в келье письменные принадлежности, «дабы он не писал ябед»; запрещалось двум юнкерам останавливаться и разговаривать, «понеже (слова указа) два фендрика ничего путного друг другу сообщить не могут»; запрещалось иметь богословские споры без ведома полиции; запрещалось разъяснять в книге, как надо «печь пироги в вольном духе»; запрещалось семинаристам «иметь одежду вкратце» (т. е. короткую); запрещалось служащим людям жениться на крестьянках и мещанках; запрещалось иметь письменные транспаранты без подписи цензора Елагина... Одним словом, запретам этим, сколько хранит наша слабая память, конца нет. Закон уставал запрещать; запрещали командиры, городничие, откупщики, ярыжки. В пехоте было выдумано запрещение солдатам «не дышать в строю»*; в Кузнецке в Сибири некий исправник запретил крестьянам колоть домашних животных, чтобы умножалось скотоводство, а крестьяне взяли да и распродали весь скот **. Известный сибирский дока Пекарский [3] тем и прославился, что на всех операциях держал исключительно одних беглокаторжных, пристанодержательство которых строжайше запрещено. Он вдвойне нарушал закон, но

---

* См. рассказ С. Турбина [1] «Армейские доки». — *Авт.*

** См. сочинения Флеровского [2] о рабочем классе в России, с. 39. — *Авт.*

его хвалили за это *. Откупщики (что уже, кажется, за власть такая?) — и те запрещали. Так, например, были под запрещением мед, называемый «воронок», что выделывается на воскобойнях, и квас, потому-де, что в квас можно положить и хмелю. В конце концов, не полагаясь на свою память, мы в самом деле не знаем, что было когда-нибудь не запрещено и преувеличивал ли что-нибудь покойный профессор Морошкин, говоря, что «мы, благодаря этим запрещениям, только и делаем, что совершаем преступления».

Случаев, где запрещения оказывали бы благие результаты, очень немного, да и то это замечено на иностранцах, пока они еще не оборкаются ** у нас с нашими запрещениями. Нашему же русскому человеку стоит только сказать:

— Нельзя, мол, нельзя, — запрещается!

Он уже сейчас и приспособится, как это одолеть. Гоголь говорит:

«Стоит только поставить какой-нибудь памятник или забор, так сейчас и нанесут на десять возов всякой дряни»...

У нас в Петербурге пишут, пишут на углах безобразные: «запрещается», «строжайше воспрещается», а мимо углов все-таки хоть не ходи, не заткнувши носа и не подобравши платья.

Так и все у нас соблюдалось: мы никогда не помним стольких охотников курить на улицах, как тогда, когда это было запрещено; никогда уже не видать нам таких сцен за шапки, как в то время, когда на николаевской железной дороге даже чиновники сидели с головами, повязанными по-бабьи — платками; ни в одном из современных бесцензурных изданий нет таких гадостных мыслей, какие кишмя кишели под цензурой.

Иностранцы, особенно англичане, не приобыкшие к запрещениям, подчинялись им гораздо точнее.

Вскоре после крымской войны в Петербург приехал один известный английский инженер Б-лей. Как человек любознательный, он купил себе указатель и бегал с ним

* См. сочинения Флеровского о рабочем классе в России, с. 7.

** Свыкнутся. — *Сост.*

повсюду, все сравнивая с описанием и делая обо всем свои заметки.

Таким образом, обходя известный «мраморный дворец», он заметил, что в строении этого дворца гораздо более участвует гранит, чем мрамор. Это его смутило. Англичанин заподозрил, что в его гиде непременно опечатка, что дворец, вероятно, называется «гранитный», а не «мраморный». Он рассердился, переменил гид, но и в другом опять стоит дворец «мраморный». Турист окончательно впал в недоумение; он обращался и к книгам, и к людям за разъяснением затрудняющего его противоречия и нигде не находил этого разъяснения.

— Почему же вы не называете этого дворца гранитным? — спросил он, наконец, одного администратора, а администратор, которому англичанин надоел своими докуками, отвечал ему:

— Нельзя этого.

— Но почему же нельзя? — добивался англичанин.

— А потому, что это уже так называется, — сказал ему, чтобы отвязаться, администратор.

Англичанин не успокоился.

Но вот проходит еще неделя, и вдруг в конце апреля на Марсовом поле собираются войска.

— Что это такое? — спрашивает англичанин.

Ему отвечают, что это, мол, у нас майский парад.

Тот опять взбеленился.

— Как, — говорит, — майский парад, когда у вас теперь апрель?

— Да уж так, — отвечают, — майский это называется.

— Но почему же он не называется апрельским?

— А так, — не называется.

Англичанин опять за справками к знакомому администратору.

— Зачем, говорит, вы этот парад зовете майским, а не апрельским?

— Так следует, — ответил ему администратор.

— И дворец так следует?

— Следует.

— И парад так следует?

— Следует.

Англичанин ушел и записал в своем гиде: «Мраморный дворец называется потому, что он из гранита, а майский парад потому, что он бывает в апреле».

Но успокоиться этим бедный Джон Буль тоже не мог: нарушение логики его так и жгло, и вот он отправляется в одну редакцию, где работал один из его земляков.

— Скажите мне, сэр, бога ради, — отнесся он к соотечественнику, — скажите мне, бога ради, по совести, как честный человек: отчего мне не хотят объяснить, почему гранитный дворец называется мраморным, а апрельский парад майским? Успокойте меня! Мой мозг горит от того, что я не добьюсь разгадки!

Обруселый англичанин понял своего земляка и нашелся, как помочь его горю.

— Извольте, сэр, извольте, — я вас успокою, — отвечал он.

— Бога ради!

— Извольте, сэр, извольте, — только отойдемте подальше от этих людей (он указал ему на сидевших в той же комнате других сотрудников).

— Охотно, сэр, отойдемте.

Они удалились.

— Это, сэр, — начал обруселый англичанин, склоняясь к уху своего беспокойного соотечественника...

— Ну-с!

— Подвиньтесь ко мне поближе.

— Подвинулся.

— Это, сэр, объяснять...

— Ну, сэр, ну!

— Запрещено! — прошептал таинственно рассказчик.

Англичанин взрадовался, сжал благодарно руку коварного соотчича и с этой минуты успокоился.

— Наконец-то, наконец, есть логика!

— Вы довольны, сэр?

— Доволен, сэр, доволен: тут есть логика, почему не объясняют!

Но, однако, в «Saturday Review» нам как-то вскоре довелось читать записки этого логического англичанина, где он опять высказывал сожаления, почему мраморный дворец в Петербурге не называется гранитным, а майский парад — апрельским.

Другой английский инженер, г. Миллер, взятый в плен в Крыму и живший в Пензе, где он и погиб, провалившись там в канаву на тротуаре Лекарской улицы, никак не мог осмелиться пойти на базар. Его пугала доска, во главе которой стояло слово: «запрещается». Слово это пленный понимал, но дальнейшего, что было написано,

не мог уразуметь и отказался совсем налагать на базар ногу.

— Я могу нарушить закон и попасть в б е д у, — говорил он, вовсе и не подозревая, что конечная беда ждала его на тротуаре Лекарской улицы.

От запрещений удавалось спасаться только там, где запрещения угрожали убытками самим запретителям. Так, не бог весть в какие давние годы одному из администраторов некоторых малороссийских земель пришло в голову запретить пахать землю обыкновенными и общеупотребительными в том крае малороссийскими плугами потому-де, что эти плуги тяжелы и несовершенны и требуют много лишней силы.

Администратор выписал английский плужок Смайля и решил по нем перестроить все пахотные орудия в Малороссии. Сказано и сделано: плужок привезен и выставлен на поле, согнаны туда с окрестных деревень крестьяне, и назначена публичная проба «для наглядного убеждения крестьян в несомненных превосходствах смайлевского плужка».

Народ и начальство, и плуг Смайля, и плуг малороссийский, и шесть пар волов — все на месте, и началась проба.

Запрягли шесть пар волов в нарочно, конечно, выбранный самый тяжелый малороссийский плуг и погнали борозду.

Идут понурые, соловые волы, тянется тяжелый плуг и глубоко взрезывает грудь земли; идут шесть погонщиков и орут: «гой-гей! цобэ! цоб!»

Администратор и власти смеются — народ ничего.

Прогнали борозду, отпрягли переднюю пару волов и заложили ее в плуг Смайля; немец, доставивший плужок, взялся за рукоять; волам вскинули на рога «налыгач», и пошла другая борозда рядом с первою — борозда поуже и помельче, но все-таки хорошая борозда.

— Видите! — кричит мужикам радостный администратор.

— Видымо, ваше осиятельство, видымо! — отвечают мужики, совсем недоумевая, чему тот радуется.

— Хорошо небось?

— Добрэ, ваше осиятельство, добрэ!

— Хотите, таким плужком пахать?

Молчание.

— Что же вы? Хотите или нет? А? Да что же вы молчите, канальи?

Мужики «чухаются».

— Ну, так я же вам запрещаю на ваших чертовщинах пахать, а вот этот немец научит вас, как делать такие плужки. Слышите?

— Чуемо, ваше осиятельство, чуемо.

— И согласны?

— Да цэ як зволыте, ваше осиятельство.

— Ну, так я по-старому пахать запрещаю.

Но вдруг выделяется из толпы седой «дедуня» и, поклонившись аж до самого «чобота», начинает:

— Милуйте-жалуйте, ваше грапское благородые...

— Что? Что тебе, старик? Что?

Администратор обрадовался, что вызвал-таки, наконец, свободное мнение.

— Ты свое мнение хочешь сказать?

— Эге.

— Ну, говори, старик, говори.

— Да зволтеся, будьте ласковы, ваше грапское благородые, — заводит тихонько старик. — Вы от здается зволылы як бы моркотнуть, где сами плужками орут?

— У немцев, любезный, у немцев этими плужками пашут. (Почему администратор махнул именно на немцев, это так и осталось его тайной; но, может быть, он имел резон, потому что о других иностранцах мужики, пожалуй, и не слыхали).

— То то же у тих немцев, що у нас в Одессе хлиб купують?

— Ну вот, вот, вот, у них, у них, у этих самых немцев, что у вас в Одессе хлеб покупают.

— То добрэ, але скажите ж, добродию, як мы зачнем по вашему указу сими плужками орать, то где же вы тоди нам будете хлиб куповать?

— Я! я! я вам буду хлеб покупать?

— Да а вже не знаемо — кто, але звисно, начальство повинно буде покупать.

Администратор велел поставить пока плужок Смайля в пожарный сарай в волости.

«Да так его куры там и засрамотили», — рассказывают мужики, знающие эту историю по всему малорусскому краю.

Администратор побоялся, что запрещение малороссийского плуга ему «дорого обойдется».

Летопись всех этих чудес и чудачеств велика безмерно, и конец ее, предреченный Федором Лукичем Морошкиным «в запрещении запрещений», едва лишь намечается на отдаленном горизонте, да и то, бог весть, во что это все оборотится: в голубя ли с масличной ветвью, или в кричащего ворона? Между тем газеты последних дней и журналы, на сих днях вышедшие, и кое-какие собственные наши корреспонденции дают новые материалы для рассказов о запрещениях, и в тех материалах замечательнее всего то, что наши «новые люди», как оказывается, в сочинении запрещений ничем не уступают опороченному в своем поведении «старому поколению». Напротив, новые, как явствует, еще дошлее, еще искуснее «запрещать», «строго запрещать» и «строжайше запрещать», и за то по усердию их в их ревности и чудодейственная сила их запрещений гораздо несноснее и гаже, несмотря на то, что это молодая сила. (Тем она и гаже.)

В новом «режиме» опять мелькают перед нами судьи, администраторы, следователи, либералы и «от всякого жита по лопате», но у нас нет времени и места, чтобы призаняться всем этим сегодня же, а потому отложите, благосклонный читатель, нашу беседу о новых запрещениях и новых запретителях до следующего воскресенья, и тогда подведем всему этому маленький итог в надежде, что нам никто этого не «запретит».

[ДВА СОБЫТИЯ]

Два события занимали Петербург на прошлой неделе: открытие промышленной выставки[1] и суд над убийцами князя Аренберга. Крайности сходятся; и как ни противоположны по своим началам, характерам и последствиям эти два явления — сходство между ними и соприкосновение существуют. Гений общественного добра и дух общественного зла, одинаково привлеченные на суд общественной совести: выбор не труден, но приговор всегда нелегок. И промышленность, ожидающая себе суда, — и убийство, уже осужденное, одинаково свидетельствуют о напряжении сил русского человека, то спящих, или много что полубодрствующих, — то возбужденных, рвущихся на простор, не знающих ни бича, ни узды. Мелкая, одиночная сила, помноженная на ум и знание, на капитал и хозяйственность, добровольно покорившая себя сознательной цели

и твердому порядку: это наша промышленность. Физическая жестокость, нравственное бессилие, неумение приладиться к жизни и войти в общую колею, одинаковое невнимание к прошедшей и будущей судьбе своей; эта убийцы Шишков и Гребенников. Они заключили союз на жизнь и на смерть, но и вместе не могли найти того, чего не принес каждый из них в отдельности. Промышленность, как невеста, стыдливо снимает с себя покровы, — и восторженный поклонник уже предвещает в будущем художественный облик и полное развитие промышленных форм. Он ошибся. Пред ним лишь взрослое дитя, которое только еще готовится шагнуть в область полной самостоятельности и совершеннейшей грации. Убийцы Аренберга — это заносчивая молодость, безумно вызвавшая на бой самый общественный порядок, — это необузданное удальство, которое уже испытало все ужасы дряхлой старости: ни будущности, ни утех посеянного в жизни добра не имеют они. Двигатели нашей промышленности, все эти мелкие и крупные производительные силы, требуют внимания, поддержки, ободрения от правительства и общества, — на преступников, напротив, нужна сдержка закона, угроза лишений, позор бесправия. В одном случае требуется большая свобода — в другом и малая доля свободы ведет лишь к злоупотреблению. Промышленное развитие всякую страну поднимает с низких степеней на высшие, из дикости в гражданственность, вчерашнего вора и кочевника сегодня превращает в полезного члена общества, взирающего с ужасом на прежний неустроенный быт свой. На крестьянине Шишкове и купеческом сыне Гребенникове видим совершенно обратное распределение сил. Одному следовало быть промышленником, производителем, а другому стоять за прилавком, сбывать другим или самому потреблять производство товарища своего; теперь же они — товарищи по Владимирке, оба обреченные к изгнанию из цивилизованного общества, в грубость и дикость, в ту среду, где развращенная преступность граничит с первобытным отсутствием всех твердых законов и обеспеченных прав. В произведениях всероссийской промышленности и в действиях личной преступной воли убийц — общество соприкасается с противоположными действиями собственных порядков и нравов, понятий и воззрений; в этих своих детищах оно должно усмотреть, что худо и что хорошо в нем самом. Успех и порок одинаково поучительны. Если хотите больших успехов, устраняйте

по возможности все условия для развития и действия преступных пороков. Пока же вы, с ужасом взирая на само преступление, хладнокровно уживаетесь с началами и условиями, его породившими, вы осуждаете только себя самих и ужасаетесь собственной беспечности. Чем больше сил тратится на преступление — тем более отвлекается их от промышленности и прочих общественных успехов. Итак, содействуйте без устали всему, что возвышает производительное для общества применение сил, — и вы будете вправе сказать, что уменьшаете число тунеядцев и преступников. Кончим пока эту параллель.

В среду, 13 мая, судились в окружном суде убийцы князя Аренберга — Шишков и Гребенников. Тогда же ночью состоялся и приговор по этому ночному делу. Оба они, как известно, приговорены на 15 лет к каторжной работе в сибирских рудниках и на поселение затем в Сибири. Теперь получила определенный исход общественная напряженность, вызванная трагическим происшествием с князем Аренбергом. Известное общество всегда интересно изучать по слухам и толкам, которые привязываются к тому или иному событию. В деле Аренберга, например, общественное остроумие прежде всего схватило сходство его с поконченною теперь марафонскою катастрофой в Греции [2]. Там два члена иностранных посольств вблизи греческой столицы попадаются в руки разбойников и кончают ужасною смертью, которой ни убийцы, ни убитые никак сперва не ожидали. У нас, почти одновременно, в самой столице, член одного из посольств лишается жизни от руки воров, не имевших, как теперь оказалось, даже мысли о подобном преступлении. В Греции началась деятельность дипломатов — и на свет божий появилась мысль, что судьбою целого государства можно пожертвовать из-за нескольких иностранцев. У нас также стали носиться слухи о разных дипломатических колкостях, оказавшихся, впрочем, весьма тупыми. Если к этим двум посольским катастрофам присоединить взлом с воровством, которым отразился на русском посольстве в Мадриде государственный переворот в Испании, — то получится на трех отдаленнейших пунктах однородный факт. Видим на европейских посольствах такое же роковое стечение несчастий, какое недавно можно было наблюдать на европейских принцах. Естествоиспытатель, когда видит

одновременное распространение холеры в Алжире, в Мекке и в Петербурге, заключает отсюда, что, вероятно, произошло общее изменение в расположении каких-нибудь сил природы. Одновременная эпидемия в природе — порождение общей причины, ускользающей пока от математического расчета. Идя подобным же путем, вправе ли был бы и моралист объяснить — изменением какой-нибудь общей, неизвестной причины совпадение на разных пунктах известных преступлений, имеющих как бы эпидемический характер? Что-то есть, но кто знает — что именно?..

Затем общественная совесть пустилась разбирать причины преступления, употребив для этого, впрочем, критический прием очень поверхностный. Набросились на полицию, и фельетонист академической газеты сделал из этого дома предмет полемики. Полиция, говорили, хороша, — но была бы еще лучше, если бы не случилось всего этого дела. Она быстро открыла убийц, честь ей за это; но, если бы она не допустила убийц до самого преступления, слава ей была бы вдвойне. Действительно, в высшей степени изумляет то обстоятельство, что несколько дней проводят вместе два человека, только что вышедшие из тюрьмы, что ведут они себя очень подозрительно, пребывая то в харчевне, то наводя справки в жилище князя, — и ничей глаз этого не замечает. Мы привыкли слышать слова: — «состоят под надзором полиции», — но в этом случае, вероятно, и сама полиция убедилась, что «быть под надзором» значит иногда быть в «шапке-невидимке». С другой стороны, едва ли справедливо слишком ударять на это роковое обстоятельство. В свое время мы читали, что, где было можно, здешнею полицией предупрежден был целый ряд убийств, задуманных двумя беглыми арестантами. Потом к психическим загадкам в преступниках принадлежит вообще и та черта, что раз предупрежденная попытка их неизменно повторяется вновь. В этом давлении к преступлению чувствуется присутствие особой карающей силы рока или провидения. Зло, зародившееся в духе человека, ждет выхода в общество, — может быть именно с тем, чтобы лицо было показано и целое общество получило урок и вразумилось. Князь Аренберг мог остаться жив, а через несколько времени тем же поплатился бы какой-нибудь питейный

сиделец или отставной майор; не все ли равно было бы для общественной совести?..

Общественный суд пошел далее. Пропала, говорят, всякая узда для преступников. Грубую силу можно и необходимо сдерживать только грубым способом — страхом. А какой теперь страх, когда телесное наказание уничтожено, — уважение человека даже в преступнике слишком для всякого очевидно, — так называемая, гражданская казнь у позорного столба еще очень тонка для грубой русской натуры, мало чувствующей стыд, — а смертная казнь, увы, совсем уже вычеркнута из кодекса обыкновенных уголовных судов. Один из почтенных филантропов по поводу дела Аренберга высказал даже печатно мысль, что если не состоится предполагаемый им проект наказаний, — которые, по его мнению, «только и могут заменить смертную казнь», — то «в скором времени сделается (снова) необходимою (сама смертная казнь) по возрастающей прогрессии нашей криминальной статистики». Усиливать как можно более наказание, чтобы давил и мучил один вид его, — таков смысл этих филантропических сетований. Теперь Сибирь и каторга не страшны. «И в Сибири, говорят, люди живут», при случае оттуда, наверное, можно бежать, — а каторга существует лишь по имени; на самом же деле и мест нет, куда сажать каторжных, и приходится нередко давать им жить просто на воле. Устройте каторжные работы вблизи городов, не высылая в Сибирь, чтобы народ ежедневно видел кару преступления и трепетал от одного взгляда на караемых, — тогда водворится в сердцах истинный и всецелый страх и многие преступления вовсе не появятся. Таковы суждения, с которыми, однако же, совершенно не должно соглашаться общество.

В самом деле, отбросим в сторону естественный ужас свежего преступления и наклонность, под влиянием минуты, увлекаться к суждениям односторонним и мерам, не вполне обдуманным. Забудем, что в нашей гостеприимной и цивилизованной стране убит член иностранного посольства и представитель одной из знатнейших и достойнейших фамилий дружественного нам государства. Под влиянием этих представлений слагалась уже мысль — для чрезвычайного преступления создать и чрезвычайный (военный) суд; но общество, уважающее себя, долж-

но, очевидно, стоять выше подобных интересов минуты. Не дадим увлечь себя также и тем певцам отжившей старины, которые находят связь между освобождением крестьян и размножением преступлений. Увеличились ли и насколько увеличились преступления — это еще вопрос, для разрешения которого самый метод выработан мало. Теперь преступления становятся известны; прежде их скрывали, даже в интересах общественного спокойствия. Наконец — после того, как одно вековое и общее преступление против народа, против всего человечества именно — крепостное право — стало невозможно, толковать после этого об увеличении частных преступных деяний — не значит ли жалеть о щепках, когда рубятся дрова? Важнее всего именно то, что в этих преступлениях мы на себе выносим последние результаты крепостного состояния, крепостного развращения, крепостного отсутствия правды и права, когда народ именно можно было считать толпою хищников, рвущихся из цепей. Итак, не надобно к настоящему случаю, как ни выходит он из ряда обыкновенных, прилагать точек зрения условных и раздраженно-страстных. Сойдемся с преступлением лицом к лицу и спросим: где его истинный корень, чье оно порождение и ужели нет действительных средств обратить на добро силу русского человека, которая столь часто направляется к разрушению и ведет за собою ранновременную гибель? Для этого же надобно помнить, что можно действовать не только к наказанию преступников (для этого есть и власти, и законы, и суды), — но необходимо действовать также органическими средствами для отвращения самих преступлений, в чем прежде всего обязанность самого общества. Итак, если устраним ужас преступления, его необыкновенную обстановку и все пристрастные суждения, — что же останется для нашего общественного суда?

Останутся: крестьянин Гурий Шишков и купеческий сын Петр Гребенников, ставшие на путь преступления. Почему же не пошли они по другому пути, на котором, каждый в своем знании, могли они быть добрыми и полезными слугами общества? Мы не имели возможности лично быть в суде, но и тем, что известно уже по этому делу из обвинительного акта и судебных допросов, можно пока удовольствоваться.

Прежде всего, возбуждается недоверие к принятым воззрениям на наказание. Многое в этих взглядах оказывается чисто теоретическим. Форма, придаваемая известному наказанию, делает ли его более действительным? Одиночное заключение или общее? Произведет ли исправительное действие работа заключенных в тюрьму, и какое именно? Лучше ли принуждать к бесплатной работе, или процент заработка откладывать в пользу самого преступника, на случай выхода его из тюрьмы? Вообще много ли исправительного элемента носит в себе наказание, основанное главным образом на идее кары и возмездия? Шишков и Гребенников, оба, как известно, содержались в срочной тюрьме. На ночь, как объяснил Гребенников, каждый там имел свою камеру, и сходились они только днем, а разговаривать имели случай только за работой. Однако же именно за работой они выработали замысел — ограбить богатого князя Аренберга, и Шишков, зная все устройство комнат и привычки князя, взялся быть руководителем. «Хорошо бы ограбить; сколько там золота, денег тоже тьма, и — паря, заживем мы с тобою!» Мысль эта неотвязно преследует их; только об этом и речей, только для этого и ждут они выхода из тюрьмы. Действительно, еще не успел Шишков выйти за ворота сыскного отделения, здесь ожидает его уже Гребенников, и сообща, через несколько дней, они доводят дело до рокового убийства.

Зачем же им, однако, деньги, когда в тюрьме старались их исправить работой и при выходе снабдили даже заработанными деньгами? Гребенников имел 20 руб. и мог рассчитывать на получение постоянного места. Шишкову дали денег немного, но он имел дядю, получал у него, вместе с Гребенниковым, приют да в долгу за князем Аренбергом считал 15 с лишком рублей. Нужды, по выходе из тюрьмы, они, очевидно, не имели, так что располагали средствами купить одежду для совершенно даже постороннего арестанта. Итак, ни уединенные ночные камеры, ни тюремные работы, ни заработок не произвели на преступников благотворного действия, ни обеспеченность от гложущей на первое время нужды не удержала их от преступления. Или предположить фаталистическую силу «Горя-Злосчастия», которое в известной народной повести —

«Само говорит таково слово:
Не хвались ты, молодец, своим счастием,

Не хвастай своим богачеством.
Бывали люди у меня, у Горя,
И мудрее тебя, и досужее,
И я, Горе, их перемудрило,
Учинися им злосчастие великое.
До смерти со мною боролися,
Во злом счастии позорилися,
Не могли от меня, Горя, уехати.

. . . .

Молодец пошел пеш-дорогою,
А горе под руку под правую;
Научает молодца богато жить —
Убити и ограбити.
Чтобы молодца за то повесили
Или с камнем в воду посадили...»

Есть у нас, на Руси, действительно фатальная сила, и не одну уже могучую натуру сломила она. Прежде то было крепостное право, теперь это — крепостничество духовное, отсутствие именно в простом народе школ, образования, вообще всех тех элементов, которые прекрасно выражаются словом — «просвещение». Вглядимся пристальнее в обоих подсудимых — и мы придем к ужасному открытию. Подсудимые — не изверги, окончательно забывшие человечность и духовное достоинство человека. Видим в их союзе на преступление известную черту действительной дружбы, взаимной помощи, хотя проникнутой долей мелкого коварства, свойственного обыкновенно дикарю или вообще уму неразвитому.

Пред совершением преступления они идут в часовню Спасителя помолиться, ставят там пред иконою свечу. Какое, однако, ужасное напоминание о религиозном начале, — но все-таки, очевидно, семя религии хранится в этих будущих убийцах. На самом суде они заметно пригнетены тяжестью неожиданно свалившейся на них беды. Гребенников — дюжий и рослый силач, весь точно съежился, и громкий тон его показаний совершенно не соответствует полной искренности, течению которой из тайников своего сердца он вполне готов отдаться. Шишков более упорен, и всклоченный вид этого человека хорошо отражает, что и внутри него мысли еще не успели собраться; жестокость преступления не помирилась еще с требованием правды и с позором бесславного дела. Он физически и духовно всклочен, разбит, встревожен. Он никак не может спокойно подумать, что он убил, и поскорее старается ответить уклончиво на каждый вопрос председателя, что задумали они в тюрьме на случай, если князь проснется.

в предварительном замысле — связать князя, потому он и запирался так долго, что его давила мысль о совершенном вовсе неожиданно убийстве. Он шел грабить, а ему говорят теперь, что он у жертвы своей сломал в горле кость, что он задушил ее. Он, очевидно, в ужасе, он, должно быть, ужасно страдает — как, вероятно, страдал и прежде, когда, уходя от князя, заметил, что он холоден и недвижим. «Мертв? Нет, не может быть — жив. Он должен быть жив».

А вот на суде конец иллюзиям, и все мучительные сомнения разрешены фактом неопровержимым, что один из них (и совесть подсказывает Шишкову, что это он), вернее же, что оба убили князя. Нечего увеличивать глыбу зла там, где его много; согласимся лучше, что в самой этой внутренней борьбе людей хранится малейшая доля добра, благородное свидетельство высшей нравственной природы. Но ужасно именно то, что такие незначительные остатки добра явились в смеси с огромным расположением к преступлению и не удержали от насилия. Они друзья — и Гребенников, однако, обманывает Шишкова на золотой монете, кладя ее попросту в карман за 75 к. — Они молятся Спасителю и, однако, призывают благословение божие на задуманное преступление. Они хранят еще естественное отвращение к убийству и, однако же, в решительную минуту скорее готовы душить сонного человека, чем убежать или, отдавшись в руки, добровольно покориться правосудию, отвращавшему их от убийства. Итак, очевидно, что добрые, но вконец и в корень испорченные их натуры были направлены крайне *дурно*, — что добро в них было бессильно против *зла*, — что пока религиозные понятия ограничивались поверхностною верою в силу божией помощи даже для злого дела. Добрые задатки в них вовсе не развиты и оставлены беспомощными на произвол всяких встречных искушений, в жизни так много превратного, и даже люди с могучими нравственными силами нередко бессильно падали под ударами безжалостного зла. От Шишкова ли и Гребенникова, бессильных младенцев, в смысле нравственной неразвитости, можно было ожидать успешной борьбы?

Образование вообще не составляет верного и непременного средства против преступлений, но оно именно дает твердость и полную ясность понятиям. Образованный ум

делается господином воли — добрые навыки получают чрез образование возможность являться к человеку на помощь в трудных случаях. Если же, кроме известного умственного и вместе с тем нравственного развития, человек обучен достаточно какому-либо техническому делу, — он уже может сказать, что в несколько раз более человека необразованного застрахован от преступлений. Важнее всего именно то, что чем яснее понятия, чем тверже убеждение, что навыки добрые и нравственные доставляют незаменимое наслаждение, — тем более вырабатывается характер и способность бороться с искушением, удаляться от зла под защиту рано усвоенного добра. В Шишкове и Гребенникове видим именно поразительное отсутствие этой способности бороться с самими собою, с низшими требованиями животности, с идеями о легкой и скорой наживе. Все почти время до убийства они проводят в харчевне; «ты поди, молодец, на царев кабак, не жали ты, пропивай свои животы». Косушку водки берут на самое место убийства. Бесхарактерность, это русское «авось», плод нашего поголовного и векового невежества, сказывается в каждом их действии. Увлекаясь неудержимо одной идеей насчет легкой наживы, они уже отступают от всяких иных мыслей, на которых непременно остановились бы, будь они приучены работать головою, критиковать свои понятия и мало-мальски подчинять волю и поступки свои решениям рассудка. Идут грабить человека, у которого шестеро слуг и собака. Над постелью сонетка, на столе звонок, — а молодцы даже не подумали, что таким способом князь каждую минуту может позвать людей. В первом этаже, ночью, зажигают по несколько раз свечу, расхаживают преспокойно по комнатам, — точно никто не может даже случайно их увидеть с улицы. Это уже такая небрежность и распущенность характера, которая граничит почти с идиотством. Не останавливаясь вовремя и не подчиняясь расчету до преступления, они в самом преступлении такие же разгильдяи. Собираются человека вязать, рассчитывая только на полотенцы, которые найдут на месте, — да и в самом деле связывают ноги рубашкой. Душат князя насмерть, а воображают, что так себе, маленько его потрясли, чтобы он приутих. Все прочее таково же, не исключая уменья скрыть самые следы преступления. Отсутствие характера, отсутствие благоразумия, нравственное неряшество — таково бросающееся в глаза свойство всего дела. Эти люди, очевидно, жертвы непри-

глядной умственной и нравственной темноты, где бродят они ощупью, с остатками добра, без всякой твердой заправы, без характера, без умения — и даже без желания — бороться с собою и с обстоятельствами. Им вообразилось, что, ограбив князя, можно легко поживиться и красно пожить, и кончено: следует ли еще рассуждать, что самая мысль об этом — ложь и преступление? Если бы спросить: что более — ограниченность умственная или недостаток нравственности толкнули их на преступление, то на вопрос, по справедливости, пришлось бы ответить вопросом же: а если бы эти люди получили хорошую заправу, прошли бы известный круг образования, испытали бы облагораживающее влияние знания, высоких идей, если бы научены были достаточно владеть собою — не относиться небрежно к началам и следствиям своих поступков, попали бы они или нет на скамью обвиненных? По убийству Аренберга — наверное нет.

Уместно теперь спросить: стоит ли нашим филантропам поощрять свою изобретательность над такими или иными формами наказания? Наказание — есть последствие совершенного дела и, следовательно, даже исправительным образом может действовать только на одно лицо, а предупреждать преступление оно не может. Ошибочно думать, что страх, внушаемый смертною казнью, удерживает других от преступлений. Английские воры крадут у публики часы в то время, как их несчастных собратий вешают на виселице.

Справедливо это, как ни печально. Всякая кара есть мера отрицательная, а человеколюбие, конечно, требует, чтобы она была по возможности более проникнута справедливостью и началами нравственно-благотворными. Но положительная сила, предупреждение преступлений — все-таки не в наказаниях. Людей грубых и диких надобно делать способными к нравам мягким и приучать их к принципам добра, пользы и порядка, на которых основано общество. Надобно, следовательно, распространять в народе, по возможности, образование, заводить всюду школы, чего бы ни стоило это. Хотите уменьшить тюрьмы — размножайте школы. Благоустроенные тюрьмы — это человеколюбиво; но благоустроенные школы — это благоразумно, даже в экономическом смысле. Развивайте понятия, сообщайте знания, укрепляйте харак-

тер, доверьтесь облагораживающей силе образования, и вы будете иметь чистый доход. Раз — потребуется менее расходов на суды, полицию, тюрьмы, этапы, команды, каторги, смотрителей, чиновников, писцов и др.; другое же — более будет полезных трудолюбивых членов общества, — и та сила, которая в преступниках теперь рвет и мечет их душу, совесть, будущность, тогда пойдет в общую пользу. Говорить об усилении наказаний или видоизменении наказаний — нетрудно; это касается одних преступников. Но предупреждать самую нужду в наказаниях — труднее: дело идет о том, чтобы само общество взяло безопасность в свои руки, раскрыло щедро свои карманы для пожертвований на образование народа и неусыпно занялось, вместе с этим, собственным самообразованием. Вопрос о том: в Сибири ли каторга, в городах ли каторжные тюрьмы — пришлось бы заменить другим: где строить школы? — не мало ли будет одной на каждое село? — довольно ли для народа простой грамоты? — и не позор ли, что у нас есть учебные округи, в которых одна гимназия приходится на миллион сто семьдесят тысяч жителей и на две тысячи квадратных миль и где на пять тысяч человек насчитывается всего один гимназист?.. Зато что улица — то кабак, что дом — то пьяница!..

[КУРСКАЯ ИСТОРИЯ]

Курская история начинает разъясняться. К сожалению, на этом печальном событии подтверждается еще раз, что не всегда справедливы бывают слова Цицерона: «Беда, которую знаешь, не так беспокоит, как беда, которую только ожидаешь». Все пятеро товарищей прокурора при курском окружном суде отказались от должностей своих; в одном этом отрывочном слухе много было тревожного; но, как всякий слух, он мог быть и преувеличен, и, наконец, могла существовать какая-нибудь неизвестная до времени причина, отнимающая от всего дела компрометирующий для новых судов характер. Теперь в «Судебном Вестнике» г. Клопов, один из участников события, сообщает подробности, и становится очевидным донельзя, что действительные размеры курского скандала превосходят возможное для обыкновенного предположения. Это крупное общественное событие, или, как называет «Судебный Вестник», «собы-

тие первой важности», идет из источников совершенно мелких, совершенно личных; но в том-то и беда, что на бесплодной общественной почве всякий дрязг превращается в драгоценное растение, — лучшего выбирать не из чего. Пятеро товарищей прокурора, лиц совершенно необходимых и облеченных значительными полномочиями, пятеро блюстителей закона вдруг, все вместе, оставляют свои должности: произошло, вероятно, что-нибудь важное? Какое-нибудь заметили они крупное злоупотребление? Кем-нибудь нестерпимо нарушен закон, так что необходимо было прервать мгновенно всякую связь с нарушающею законы средою? Или, быть может, общество курское настолько уже зрело, что тяготением общественного мнения вынудило лиц прокурорского надзора сознать непригодность свою для должностей? Или все пятеро действовали прямо вопреки своим обязанностям, — оправдывали преступников, вместо обвинения, — ссылались на песни и пословицы, вместо уголовных законов, — более думали об удовольствиях и менее о священном своем деле? Все эти вопросы весьма естественно приходили бы в голову всякому просвещенному, например, англичанину или французу, если бы в глазах его целая коллегия известных представителей власти и закона прервала свою деятельность и отказалась от возложенного на нее правительством доверия. Даже в Молдавии, когда подает в отставку одно дурное министерство и его место занимает другое, еще худшее, молдавские публицисты (там ведь тоже есть публицисты!) поднимают речи о принципах и прочих важных материях. А мы о каких возвышенных принципах имеем право повести речь, когда вся курская история на каждом шагу показывает отсутствие здравого и положительного начала — той внутренней самосознающей важности, которая должна привлекать к новому судебному сословию внешнее от всех уважение и полный над всеми авторитет.

Послушаем, что говорит г. Клопов. 6 апреля он вошел в общее заседание курского окружного суда. Постояв несколько времени в дверях, он прошел потом в самый зал и сел по обыкновению на диване. Потом, в удобную минуту, пожал руку некоторых присутствующих, одному сказал несколько слов и снова поместился на диване. Через полчаса подходит к г. Клопову секретарь и объяв-

ляет на ухо от имени председателя, чтобы он вышел из залы, «как человек в ней посторонний». Этот секрет, это шептанье показались г. Клопову совершенно неуместными, — а самое распоряжение сильно его сконфузило. «Под впечатлением этого чувства (он говорит) я впал в опрометчивость, которая состояла в том, что я обратился к общему собранию». Но едва лишь г. Клопов сказал несколько слов, г. прокурор заявил ему, что приказание председателя он должен исполнять беспрекословно; и сам председатель затем «во всеуслышание» сказал, чтобы он шел вон. Конечно, г. Клопов, «не помня себя от смущения, вышел». Вот первое действие. Дело передается г. Клоповым на общественный суд, и потому каждый из нас вправе судить его. Но мы лично хотели бы даже отвлечься вовсе от того, что это происходило в Курске или что здесь замешаны в дело известные лица, а будем судить просто факты.

Итак, в общем собрании суда товарищ прокурора должен ли был исполнить приказание председателя? По нашему мнению, должен. Но приказание передано было шепотом? Тем скорее следовало оценить эту деликатность; и разве лучше было дожидаться, пока это будет передано во всеуслышание? Не лучше ли было удалиться сперва, когда потом пришлось уже почти бежать, не помня себя от смущения? Прокурор должен ли был остановить неуместную речь своего товарища в общем присутствии суда, по поводу притом слов председателя, переданных на ухо? Вероятно, должен; сам г. Клопов говорит, что он впал в опрометчивость, и, следовательно, прокурор, удержавший эту опрометчивость в самом начале, оказывал даже личную услугу своему товарищу. Во всяком случае, простая основа дела такова: один человек несколько увлекся, другие дали ему это заметить, быть может, способом несколько необыкновенным. Но есть ли же здесь даже намек на то, что все пятеро товарищей прокурора должны из-за этого подавать в отставку? Намека на это нет, но есть сильные свидетельства, что между членами суда, равно как и в обществе курском, есть значительный антагонизм между личностями, какие-то раздоры на заднем дворе, которые теперь в суде завязывают первый узел для борьбы с официальным скандалом. Товарищи прокурора обыкновенно бывали в общих заседаниях суда — почему же теперь вдруг г. Клопову дают заметить, что он посторонний? Почему — не успел слух разнестись

в обществе, как пошли самые обидные личные комментарии о поведении г. Клопова, лишенные даже внешнего правдоподобия? Почему сам г. Клопов, человек сурового и спокойного закона, вдруг дает место на суде чувству, чисто личному — «опрометчивости» и свои личные недоумения считает достаточным предлогом к гласным прениям на суде, занятом делами более важными и для суда существенными? Г. Клопов, очевидно, против кого-то протестует; «накипело, дескать, у меня на душе, так вот теперь же я дам волю своим чувствам». Чувствуется, что эта вспышка, подготовленная всякими другими обстоятельствами, есть взрыв оскорбляемого и оскорбляющих личных самолюбий, ни временем, ни местом не удержанный в границах важности и порядка.

Второе действие. Г. Клопов передал о поступке с ним председателя своим товарищам. Те признали этот поступок оскорбительным не только для обиженного, но и для самих себя. Кто мог бы узнать, что в такую раздражительную минуту образуется понятие о коллективной чести, оскорбляемой будто бы только потому, что пять лиц занимают одинаковую должность? Но, как бы то ни было, все пятеро отправляются в кабинет прокурора и, устами г. Клопова, просят его оказать содействие к устранению таких оскорблений на будущее время. К удивлению, оказывается, что разговор принимает совершенно личный характер. «Вы дозволяете себе на каждом шагу массу неприличностей... Их так много, что я не припомню... Вы вели себя непристойно... меня упрекали, что я дозволил своему подчиненному такое поведение». — О коллективной чести товарищей прокурора, о действительном или мнимом ее оскорблении, наконец, о праве председателя удалять из заседания кого-либо из них вопрос совершенно не поднимается. Прочие молчат — ратоборствует на словах с прокурором один г. Клопов, заключивший свои возражения словами: «Кажется, я никакого неприличия в суде не сделал и при мне никакого ропота не было». С этого-то и начинается самая буря. «До сих пор (описывает г. Клопов) разговор с обеих сторон шел в тоне обыкновенной разговорной речи, но на последние слова мои г. прокурор уже закричал на меня: «Не извольте мне возражать!» (Это почему же?) «Если я говорю, что был, так, стало быть, и был». (Кто же так рассуждает?) Не угодно ли вам оставить мой кабинет. (А! Он еще оправдывается? В ссылку его!) Буря и

вихрь стали свирепствовать все crescendo. На заявление другого товарища, прокурор будто бы также крикливым тоном ответил, «что это его дело, что если он найдет нужным, то донесет, а в противном случае оставит без последствий, и затем уже закричал ко всем, чтобы они вышли из кабинета. На новое «позвольте, однако, доложить», третьего товарища, «г. прокурор (по словам Клопова) отвечал уже таким криком, что голос его стал раздаваться по соседним комнатам. Он нам выразил, что никакой солидарности между ним и нами нет, что он никаких коллективных объяснений с нами иметь не желает, критиковать свои распоряжения никому не позволит и т. п. При этом он снова неоднократно и дерзко требовал, чтобы мы вышли из кабинета».

Третье действие. От пяти оскорбившихся товарищей прокурора отправляется в Харьков к прокурору судебной палаты следующая телеграмма: «Оскорбительное и дерзкое обращение прокурора курского окружного суда вынуждает нас ходатайствовать у вашего превосходительства о переводе нас в другой округ и, вместе с тем, доставить возможность личного с вами объяснения». Восемь членов суда отправили к нему также письмо, в котором заявляли, что поведение г. Клопова в суде не могло вызвать и не вызвало с их стороны ничего похожего на неудовольствие. Декоративным же фоном для этих сцен послужила стоустая городская молва, раздувшая всю историю. Кончилось все дело тем, что двоих товарищей уволили от должности без прошения, а троих причислили к министерству юстиции. Г. прокурор харьковской палаты вызывал к себе только самого курского прокурора, а с товарищами его ни с кем объяснений никаких не имел. Пострадавшие теперь считают себя обиженными; вероятно, желают суда, сколько можно заключить из последних слов корреспонденции г. Клопова: «Все это (пишет он) может с большими подробностями подтвердиться строжайшим и добросовестным следствием».

Вот фактическая сторона дела. «Судебный Вестник», на основании записки г. Клопова, замечает, что он и его товарищи сделали один неправильный шаг. Вместо телеграммы, которая на другой же день стала предметом толков для всех языков, они могли отправить прокурору харьковской палаты письмо; цель была бы достигнута,

но избегнут скандал. Кроме того, они забыли, что коллективные прошения начальству о перемещении или отставке не допускаются и могут быть приняты за действие скопом. Этим шагом они затруднят начальство, если бы оно даже пожелало войти в законное рассмотрение разлада в прокурорской среде. Эти замечания юридической газеты дают право нам сделать одно, еще более общее. Отставка сама по себе не залечивает ран, нанесенных самолюбию, и мы не знаем — в обществе мало зрелом, где люди нужны крайне, есть ли отставка даже средство с достоинством отомстить за удары самолюбию, несправедливо кем-то нанесенные? В старину «службу» государству считали средством «кормиться», добывать себе хлеб и другие блага жизни. В последнее время к этому прибавилась идея долга, и тем естественная необходимость в пропитании украшена и облагорожена сознанием, что служащий кладет в свое дело известные нравственные начала, твердую решимость исполнять обязанности, независимо от своих личных убеждений. Но при этом очень часто недостает одного, именно — самопожертвования. Приносить жертвы, в угоду долгу нравственному и гражданскому, не значит только — не щадить своего здоровья в трудах или отказываться от незаконных сделок, как бы ни был горек и черств свой собственный хлеб. Есть жертвы более возвышенные — именно щекотливостью личного самолюбия. «Он меня оскорбил — я более с ним не служу». Спрашивается: чем это благороднее обычая военных выходить в отставку только потому, что их обошли производством? Долг и польза службы должны рассматриваться совершенно независимо от каких-либо личных интересов, и прежде всего должны быть оцениваемы с общественной точки зрения.

Нельзя при этом не вспомнить бессмертного Гоголя. Следите его переписку с разными лицами — и вы подметите вечно один и тот же вопрос: какую пользу и сколько кто именно может приносить на известном месте в известной должности? Как бы ни была она мала, она действительно существует. Житейское добро, в котором заключен источник для совершенствования людей и общества, разбивается, так сказать, на множество мельчайших кусочков, и в каждом, как в малейшем осколке зеркала, отражается вся его фигура. В этом смысле всякое должностное лицо есть уже не только единица, заботящаяся о своем существовании: оно есть еще более представитель известной

доли добра, которое можно назвать именем каким хотите — вместо прогресса, правосудия и порядка, — и в силу этого имеет обязанность быть его органом. Чрез вас людям подается прометеев свет, — а вы предпочитаете, чтобы он лучше мерцал блестящим огоньком где-нибудь в болоте, — лишь бы оставалось незатронутым щекотливое ваше самолюбие. Всякий теперь, писал Гоголь одному из своих приятелей, должен держаться за свою должность, как за твердую доску, которая спасает его среди общественного крушения борющихся и большей частью только еще созревающих мнений. В самом деле: судебная реформа дана только вчера, — еще не настало утро другого дня, как уже отовсюду идет шип и свист, что это не реформа, а переворот всех основ общества — ибо, если все равны на суде пред законом, то не полезет ли всякий мужик в господские сани, и всякая паршивая овца не станет ли утверждать, что на ней также мериносовое руно? Так рассуждают недоброжелатели новых судов и, с небывалою неусыпностью, стараются всячески устеречь малейшую мушку на новых судебных деятелях, чтобы из дружбы и ради пользы службы хватить камнем заодно и мушку, и судебное сословие, и — главнее всего — всю реформу.

Курская история нам показывает, что уже явились вестовщики таких страстей про заинтересованных лиц, что боже упаси! Живых готовы съесть, лишь бы мертвые не могли похвалиться, что «срама не имут». Г. Клопов и его товарищи (напоминаем, впрочем, что дело решительно не в именах и в лицах) могли бы рассудить, что при подобном настроении умов они должны твердо держать авторитет реформы, и следовательно, из личного вопроса не должно делать повода к значительному нареканию на само судебное сословие. Одного попросили выйти — пятеро оскорбились, шестой вложился в азарт, а кончилось все тем, что отметчик * общественной жизни должен занести этот факт в число грустных доказательств нашей незрелости в общественном смысле. Не наше дело указывать, как следовало поступить, но следовало во всяком случае порыв самолюбия удержать, из частного и личного вопроса не делать общего о коллективной чести и — конец всего — оставаться на службе. Обиженные оскорблены теперь еще более, и печальный исход личного дела гложет их сердце, — но спрашивается: не более ли должно трогать

* Наблюдатель тенденций. — *Сост.*

их, что эта домашняя история вышла на свет божий, как скандал в судебном сословии, что местные сплетницы говорят о ней в промежутке между болтовней о заболевшей собачке и прическе шиньона на завтрашний вечер? Не в тысячу ли раз для них должно быть прискорбнее, что естественное отправление правосудия существенно остановилось, может быть, на значительное время? Или что крупный разговор товарища прокурора с самим прокурором отразился на судьбе многих подсудимых, которые теперь лишнюю неделю — может быть месяц — будут мучиться в ожидании: когда-то подберут полный комплект обвинителей? А если еще эти подсудимые — лица невиновные?

Но посмотрим и с другой стороны. Какими принципами руководится оскорбитель? В этом отношении данные даются нам только г. Клоповым, одним из пострадавших, — но для обобщения вопроса это все равно, — а мы опять будем говорить не о курском г. прокуроре, но вообще о неизвестном представителе власти, действующем в ущерб ее авторитета и в силу только личных самолюбивых внушений. Прежде чем известное лицо приезжает на свою должность, уже говорят о его миссии — подтянуть своих сослуживцев, взять в ежовые рукавицы распущенную местную среду. В первой же приемной речи оно дает понять своим сослуживцам, что в отношениях с ними будет неприступным, недосягаемым начальником и от них потребует беспрекословной подчиненности. Пока еще дурного в этом нет ничего; только странно напирать на одну силу авторитета, когда он достаточно обеспечен самим законом, и с первого же раза подозревать нарушение повиновения, которого не было еще случаев испытать. Личное предубеждение, положительно неуместное в служебных отношениях, уже проскальзывает.

Чрез несколько дней начинается распекание за распущенность, за неумение держать себя в отношении высших властей и лиц; только и слышатся слова: «настою, не допущу, не дозволю, не потерплю». Подобное, при известной обстановке, сказать очень естественно, — только едва ли в устах представителя закона слишком частое повторение выражений, показывающих решимость личной воли, совершенно соответствует надлежащему уважению к высшим, определению бесспорного, законного автори-

тета. «Не попускать» может, кажется, тот, кто имеет право и попустить; в противном же случае выражения личной энергии решительно неуместны. Не я — закон. Мало-помалу сослуживцы убеждаются, что отношения их к прибывшему старшему товарищу из пределов закона входят в узкие рамки личных столкновений. Из того «посадить ли человека» делается вопрос: «будет ли это сообразно с достоинством», и товарищей прокурора не всегда приглашают сесть. Приглашают одного из них запиской, на которой написана в винительном падеже только фамилия призываемого: форма сношений, предполагающая или слишком большую короткость, или наизаносчивое высокомерие. Личный обмен мыслей заменен инструкциями и циркулярами, против которых нельзя было бы возразить ничего, если бы это было обыкновенное дело и если бы личные объяснения были формой вполне предосудительной при деловых отношениях. По одному частному случаю говорится новое внушение, что менее будет обращено внимания на движение дел и более на то, чтобы все поручения исполнялись товарищами прокурора неукоснительно, немедленно, во что бы то ни стало и каким бы то ни было образом.

Наконец, трагический случай 6 апреля доказывает, по-видимому, окончательно, что значение прокурора как власти смешано с правами свободной личности — распоряжаться делами по своему произволу. Я говорю — значит, это было; но ведь могло и не быть, а начальник благоразумный, строго соблюдающий законность, так говорить никогда не решается. Захочу донесу, не захочу не донесу — но вопрос не в хотении, а в обязанности: вы должны сделать то, что обязаны сделать, хотя бы этого и не хотели. Впрочем, это, положим, ошибочный взгляд, хотя в начальствующем лице ошибка иногда бывает неисправимее, чем преступление. Но вот уже полный разгул личности: обыкновенная нота спокойного разговора возвышается, — следует окрик: «не извольте мне возражать!» — окрик превращается в крикливый тон, — и за этим уже поднимается такой крик, что голос кричащего представителя закона и власти раздается по соседним комнатам. Здесь уже не ошибка, а страсть, постепенно возрастающая и направляющаяся, — это не голос власти, а крик самолюбия: «Я говорю так, стало быть, так. Но вы, вы говорите не так, следовательно, вы должны идти с глаз моих, чтобы вашего духу не было в этой комнате». Такая

манера оскорбительных отношений не предписана законом относительно даже последнего вора — общественное же приличие в свой кодекс давно внесло правило, что оскорбление и грубость противны хорошему тону; последняя солдатка и самый модный джентльмен одинаково находятся под покровительством известных правил. Правило благоразумия в свою очередь говорит, что сила убеждения и правота всегда мягки и что «неправ Юпитер, если он сердится». Если же власть вдается в сторону от этого общественного требования, если она хочет быть в халате и нараспашку и официальные сношения считать удобным случаем дать ход барским взглядам и помещичьим привычкам — такая власть сама себя осуждает. Авторитет ее зиждется на законе, а вовсе не на том, громко ли она кричит. Предписания ее действительны по внутреннему своему достоинству, — не слушать же возражений или гнать возражающих вон от себя, имеет ли она право? Бог весть.

Одним словом, нет никакого сомнения, что вся история — полная чаша самолюбивых выходок, мало сообразных с достоинством власти и решительно не поддержавших личной или коллективной чьей-либо чести. Одну сторону мы осудили уже в этом отношении, — едва ли менее строго должно отнестись общество к другой стороне. Укрываться преимуществом положения или распущенностью подчиненных эта сторона не имеет права: чем выше положение, тем достойнее должно быть поведение, и чем несообразнее с законами ведут себя подчиненные, тем более должно быть самой строгой законности в нашем собственном примере.

Обществу в этом деле решительно все равно, кто прав, кто виноват — или кто кого оскорбил. Важнее для общества, что в известном отношении неправы обе стороны и что в этом, в свою очередь, отражается еще наша общая незрелость в гражданском отношении. «Судебный Вестник», разбирая вышеизложенный прискорбный случай, замечает, что «машина хороша, да механика плоха, и что новая реформа, да исполнители старые» [1]. Этим указано зло, но не назван его корень. Корень же тот, что мы, гоняясь за преобразованиями отношений, забыли о перевоспитании лиц, о преобразовании самих себя. Мы не хотим видеть, что надобно стоить известных учреждений,

чтобы иметь их. Надобно догонять известные учреждения, чтобы затем управлять и направлять их. Не в том дело, что люди прежние; для всякого нового дела создатель не творит новых людей. Но в том дело, чтобы старые сбросили свои татарские халаты и переменили их — не на мундиры только, под которыми торчат по-старому халатные п р и в ы ч к и, — а на совершенно иные взгляды. Первый признак зрелости — самообладание. Личность имеет известные права, и в известном круге, никому не вредя, она может раздвигаться во всю ширь. Но смешивать личность с властью — это незрело; грубые привычки приносить в общественную службу — это весьма ограниченно; вообще полагать, что власть дает право не скрывать личной грубости и прочих недостатков — это вредно и предосудительно. В старину все было шито и к р ы т о, — и каждый городничий владел городом на поместном праве, и каждый помещик был в л а с т ь, — а в деревне каждый унтер-офицер дрался, как генерал. Теперь и нравы другие, и вся Россия другая. Хорошей авторитетной властью быть становится вообще трудненько. Надобно быть не только умным — но требуется и не быть грубым. Артемий Волынский [2] был умнейший человек, а дрался, как охтенский крючник: в то время крупных личностей расправа личная не вменялась власти. Теперь иное: но иное не потому лишь, что руке сдержан простор или языку, но и всякому мелочному, личному, вздорному самолюбию. В ваших руках судьба и будущность многих семейств, а вы не можете поручиться, справитесь ли с вашим гневом и не обидите ли вашего подчиненного! Еще печальнее: вы, может быть, даже убеждены, что как представителя закона для вас даже закон не писан. Наши предки очень любили помещать в своих сочинениях две поговорки: «дурно, говорили, видеть на хорошей лошади пьяного человека, висящего на сторону, но хуже того — несмысленный ум в добром деле», и еще другая: «мужа мудра посылай, мало ему кажи, а безумна посылай, сам не ленися по нем идти». Так и мы с нашими реформами. Сидим на хорошем коне, а кидаемся в сторону, и для хорошего дела, а ум имеем несмыслен. Дали нам азбуку, дай и указку; послал ты нас на дело, так и сам иди следом, не то как раз накуролесим. Одна власть исполняет, ставь над ней другую, чтобы наблюдала, хорошо ли исполняет, а над этою ставь третью, смотрела бы, хорошо ли та наблюдает. И однако, дело гораздо проще. Мы исстари захватили

с собою правило, что в службе личное самолюбие не должно приносить жертв и что малейшая щекотка должна ставить его на дыбы. Бросай службу, выходи в отставку; пусть это будет вредно, fiat justitia, pereat mundus *. Тебе противоречат — не щади их, кричи на них сколько хочешь, гони их вон, ибо на то и власть вручена тебе. Пока у нас будет в правах — власть и службу смешивать с претензиями личными, до тех пор курские истории повторяться будут сотнями. Немцы, в свою очередь, будут правы, упрекая нас, что реформы у нас хороши, да мы-то сами всякую реформу сейчас унизим до своих бесцеремонных привычек и невежественных взглядов. В халате ведь так легко, да и халат-то новенький — только с иголочки.

[МИРНЫЕ ТОЛКИ О ВЕСЬМА НЕМИРНЫХ ИСТОРИЯХ]

О чем толкуют? — О всем понемногу. Но теперь очевидно, что запереть иностранные события в портфели чиновников министерства иностранных дел уже невозможно. В старину, славной и блаженной памяти, европейские события неслись над Россией, не тревожа ни сна, ни бодрых досугов мирных российских граждан. Разве только для высшей знати, начиная с тайных советников, открыты были еще некоторые тайны, которые во всей Европе, впрочем, провозглашались с кровель и только у нас, прошедши двойной кордон пограничной, таможенной и внутренней цензурной стражи, получали вид чего-то урезанного, искаженного и неудоборазумеваемого. Для таких тайн политики, действительно, обыкновенного человеческого смысла было мало и необходимы были особенные тайные головы. Привилегия служебной иерархии давала привилегию кое-что знать, а политическое древо познания добра и зла подвергало искушениям только немногих, впрочем, довольно уже искушенных жизнью, чтобы еще увлекаться к новому политическому падению. Кто помнит несравненного грека Платона, пусть припомнит, что он говорит о людях, удостоенных истинного знания вещей. На своих конях носятся они в этом мире случайностей,

* Да свершится справедливость, а мир пусть проваливается (*лат.*). Лесков «переинтонирует» известное выражение, смысл которого таков: миру провалиться, но закону б ы т ь. — *Сост.*

и только их головы успевают иногда проникнуть в высший, надздешний мир идей, чтобы кое-что хорошего увидеть там и всю жизнь затем это вспоминать. Таковыми-то счастливцами были у нас в старину те люди высоких рангов, коим дозволено было кое-что знать из иностранных политических дел. Остальная масса подхватывала на лету бессвязные урывки чего-то, повторяя слова: «революция, конституция, партии, фракции, парламент» и прочее, как таинственные какие талисманы, которые сами по себе заменят им самую истину политики, им непонятной.

Иногда свыше, из недосягаемых для простого смертного пространств, делались внушения, предостерегавшие насчет зловредности некоторых идей и опасности некоторых движений, происходивших на Западе. Вообще всегда легко было в массу, не ознакомленную с истинным положением дел, водворить несколько тревожных опасений, которым в иное время не могло бы даже быть места. Кроме того, мы, русские, тогда воображали себя какими-то всеобщими охранителями существующих в Европе порядков. Стоило какому-нибудь Меттерниху[1] сделать нам намек, что в такой-то французской деревне два человека разговаривали шепотом, и, по-видимому, насчет революции, как мы уже готовились чуть не целыми армиями выступать на защиту угрожаемого «спокойствия и порядка». Чье перо было покрасноречивее, тому при этом не трудно было сказать несколько общих мест о «тронах и алтарях, о религии и нравственности», чтобы возбудить в нас, наконец, ужас и омерзение к деятелям, произведшим где-нибудь политический переворот. А так как всякое чувство требует себе соответственной пищи, — то и наша подозрительность старалась найти, наконец, в своем же собственном доме несколько лишних страхов и привидений. Откуда было к нам проникнуть зловредным искусственным и политическим принципам, когда газет иностранных к нам почти не пропускали, а самостоятельным политическим суждениям не учили, — и, однако же, всякое мало-мальски серьезное волнение, где-нибудь на другом краю Европы, непременно вызывало у самих нас особенную деятельность всякого рода надзоров и надзирателей.

Слава богу, с тех пор дела несколько переменились. Если и теперь еще есть книги, которых не дозволят читать коллежскому регистратору, пока он не пройдет по ступеням титулярного, надворного, статского советника до

вожделенных высших чинов, — то эти книги касаются уже, конечно, внутренних наших, а никак не иностранных дел. Что же? Пусть старается коллежский регистратор обратить на себя внимание начальства и достигнуть чинов известных, если Евино любопытство не дает ему покоя и хотел бы он узнать нечто об «администраторах новой школы» или неизвестных ему «окраинах России». Вообще же мы никаких неудобств для суждений о делах иностранных в наше время не испытываем; все, что случается за границею, узнаем своевременно и беспрепятственно, — читать самые любопытные выдержки из иностранных газет имеем всегда возможность; а некоторые известия, из них взятые, дают даже случай нашим юристам-практикам разъяснять некоторые недоразумения в наших собственных законах. Так-то свободно теперь у нас раздаются толки о происходящих во Франции беспорядках, без опасений, что этим кто-нибудь может нарушить порядок где-нибудь поближе Франции.

В самом деле, какое любопытное зрелище людям девятнадцатого века, если бы они пожалели, что не жили в конце восемнадцатого! Мы видим в стране, два года пред этим спокойной, социально-политическую революцию в полном разгаре, хотя бы кому-нибудь и казалось, что это лишь одна из многих случайностей, которыми так богата история Франции. Спорьте себе об источниках этих движений, сколько хотите, — пожалуй, каждое мнение на этот счет будет иметь даже долю правды. Кому кажется, что теперь по Франции делает свой грандиозный опыт международная революционная лига, тот может, в подтверждение себе, сослаться на участие младших, а кажется — и старшего Гарибальди [2], в последних событиях в Лионе и Париже. Иные думают, что мутит все бонапарт, подготовляя в свою пользу умы буржуазии, трепещущей за свое имущество и за свой спокойный, производительный труд. После известных брюссельских телеграмм, может быть, и против этого возразить многого пока нельзя. Иные простерли свою зоркость еще далее и за центральным революционным парижским комитетом видят интриги орлеанистов, рассчитывающих, что и теперь, по головам буржуазии, опираясь на какого-нибудь нового Лафайэта [3], один из них провозгласит себя диктатором современной Франции. Даже и такое мнение не может быть вполне отвергнуто. Кому опять кажется, что это лишь патриотическая вспышка всех элементов, недовольных поражением

Франции и тяжелым последним миром. Хотя поддержать это мнение было бы всего труднее, — особенно же в виду заявлений центрального комитета, что он уважает предварительные условия мира, — но значат же что-нибудь заявления того же комитета, что мятежники захватили пушки с целью, чтобы сохранить их от выдачи пруссакам. Как бы там ни было, как бы ни смешны были руководители движения и формы его, — мы имеем уже налицо факт изумительный, непостижимый. Сбор каких-то неизвестных людей терроризует двухмиллионное население столицы, все шире раздвигает пределы гражданского волнения, успевает захватить власть в руки, мало захватить, умеет ее удерживать; а произведенные в Париже выборы доказывают, что эти люди в известной степени успевают свою власть сделать даже практически полезною.

Последние телеграммы еще внушительнее. Сознание прав своей власти в революционном комитете так сильно, что он чрез официальную газету объявляет о своем намерении предать суду членов Национального Собрания. Одним словом — видим в стране два правительства, яростно восставшие друг против друга: одно сильно в стране памятью только что понесенных несчастий и политической опытностью некоторых из членов своих; другое же сильно самым фактом своего возникновения и ссылками на историческое значение Парижа, как сердца и столицы Франции. Законное правительство, распоряжающееся из Версаля, возникло прежде революционного, — но это последнее возникло позднее и, напротив, потому-то считает незаконным своего предшественника. Законное может объявлять, что все департаменты на его стороне и что оно энергически подавит восстание, — однако доселе оно изумляет всех бесплодностью своих действий. Мы вчуже чувствуем, как там растерялись все эти Тьеры [4], Фавры [5], Пикары и подобные, которые, при Наполеоне [6] смело и не без гениальности, указывали ему его ошибки и предлагали свои способы дать управление страною. Законное правительство думало бы опереться на войска, и даже, словно важную пользу, провозглашает, что в Версаль прибыл, наконец, и отряд кавалерии; однако, доселе в этих войсках что-то не видно желания идти против своих же сограждан, и самая верность их версальскому правительству довольно сомнительна. Очень может быть, что Винуа и чувствует себя способным сыграть роль Кавенья-

ка [7], а среди подчиненных ему поручиков и зреет уже какой-нибудь новый бонапарт, который вспрыснет по народу картечью свое недавнее производство; но эти чисто личные особенности не имеют ничего общего с достоинством, силой и значением самого французского правительства. С другой стороны, правительство революционное, мы видим, удивляет при случаях своею скромностью, которая, однако, сопровождается решимостью сдать свою власть не иначе, как в руки самого населения и выбранных им общинных деятелей непосредственно. Тем временем в Лионе, в Марсели и Сент-Этьенне произошли совершенно подобные же явления, как и в Париже; а правительство версальское, по обычаю, тешит всех пламенными уверениями, что все приходит в порядок; еще бы жалеть огня, стоя на вулкане! Одним словом, нынешнее положение вещей во Франции, начиная от ее столицы, совершенно переносит нас к временам первой революции, и никто не ручается, что даже в среде самого Национального Собрания не произойдет внезапного перерождения, в смысле парижских революционеров, если еще наперед не успеют они разогнать, не то и совсем сжить со света, «версальских говорунов».

В этом виде перекрещиваются толки общества о происходящих во Франции событиях. Но можно в них открыть и еще одну любопытную сторону. Как комментарий к недавнему прошлому и к наступающему будущему, быть может и отдаленному, читаем, будто прусский король энергически объявил, что ни одной капли немецкой крови не прольет он для восстановления порядка во Франции. На его месте можно было бы это же самое сказать иначе: не надобно проливать немецкой крови против того, за что еще так недавно и так обильно она пролилась. В самом деле, кто в тоне прусских официальных документов и газетных статей не заметил одной, странной довольно, мысли? Разумеем неоднократно повторенные выражения, что Германия несет относительно Франции воспитательную миссию. Эту нацию, делающую революцию днем и бредящую о ней ночью, следует, дескать, проучить, ввести ее в рамки обыкновенного, разумного, спокойного гражданского порядка; следует научить французов дорожить существующим и не искать призрачного. На словах вожаки Германии старались заверить весь свет, что наступит

для Европы новая пора, когда окончательное поражение надолго смирит, успокоит и, так сказать, усыпит горячую французскую бурливость. Все, боящиеся революций, спите спокойно; мы за вас сделаем с Францией общее дело, уверяли нас немецкие мужи. Действительно, все предложенное было достигнуто, и нация-революционерка превращена в жалкое сборище оборванцев, глупцов, сумасшедших; теперь уже не политике, а благотворительности оставалось, по-видимому, заботиться о ней. На деле же выходило совсем напротив. Мы, при первом же известии о попытках к заключению мира, предсказали, что неумеренность победителей должна повести к торжеству красной республики и что — если Франция задымится кровью братоубийственной войны, это будет лишь необходимым дополнением и следствием войны с пруссаками. По-видимому, не было даже лучшего средства вызвать и утвердить социально-демагогический хаос во Франции, как вести войну в тех размерах и для тех целей, как это сделано было со стороны Германии. Итак, если Германия вела войну на пользу революции, очевидно, теперь ей уже не приходится проливать кровь сынов своих против нее: мать ли поглотит дочь свою? Но то останется навсегда неопровержимым фактом, что урок, данный французам немцами, не послужил к исправлению революционеров; он, напротив, разнуздал все, что еще скрывалось до времени, он создал для них все необходимые условия и вулканизировал почву. Воспитательная миссия немцев превратилась в разрушительную, и ей-то именно обязаны мы ближе всего зрелищем последних французских событий. В чем, однако, основной их смысл? Об этом можно говорить лишь со всевозможными оговорками — необходимо, однако, признать, что, быть может, они служат зловещим началом громадного переворота отношений, выработанных французской и вообще западноевропейской цивилизацией. Очевидно, слова уже там не соответствуют понятиям, и термин «республика», энергически провозглашаемый Тьером и всей его партией, одно значит для него — и совершенно другое для многих других французов. Для парижских, лионских, марсельских и других революционеров общепризнанных гарантий права и общественной жизни уже мало; все элементы свободы, которыми доселе держалась и о которых мечтала интеллигентная часть Франции, не оказываются удовлетворительными для некоторых классов общества, заявляющих теперь о себе

в столь тревожное время с такой страшной настойчивостью. Разве уже в Париже и Лионе не проскользнут намеки, что это мстит за себя жалкий пролетарий самодовольному разжившемуся буржуа. «Мы не отрицаем, что необходимо уплатить немцам контрибуцию; но справедливость требует, чтобы она преимущественно пала на богатые классы, вызвавшие в о й н у», — прокламируют в Париже. «Теперь-то для бедного рабочего пришло время озаботиться о своих правах и своем с у щ е с т в о в а н и и», — объявляет коммуна в Лионе. Встает, следовательно, тот опасный призрак, которого так долго умели на Западе всякими средствами удалять из общества, призрак безземельного пролетариата, готового смести всех и все, когда прекращаются у него заработки или обстоятельства отдают все распоряжение производительными силами страны в руки богатых капиталистов.

По мнению французского пролетария, республика уже не то, где из старых же политических элементов готовятся создать новую форму правления; но республика есть такой порядок, который найдет в стране совсем новые политические силы и без различия возьмет под свою охрану все народные интересы, от высших до низших. В этом смысле кто же стал бы отрицать, что нынешние французские события указывают нам на попытку решить вопрос, который на Западе Европы имеет свою жизненную основу в ненормальности общественных отношений и особенно в давлении капитала на труд? Так его понимая, необходимо согласиться и с тем, что пытающиеся решить столь жгучий вопрос новые французские революционеры некоторым образом уготовляют путь будущим преобразованиям гражданских западноевропейских отношений, которым, рано или поздно, придет, однако, непременно своя очередь.

Но здесь собственно и есть пункт, на который хотели бы мы поставить своего читателя для правильного понимания некоторых указаний, как бы случайно мелькающих в общественных толках. Если нынешний порядок вещей во Франции, с одной стороны, вызван предшествующей войной, с другой же, несмотря на печальный характер их, в существо дела, держится не одними нелепостями и для будущего имеет серьезное з н а ч е н и е, — то наших собственно интересов в происходящих событиях, очевидно, не замешано никаких. Кто бы ни делал нам намеков, что следовало бы так или иначе

вопрос о французских беспорядках сделать предметом некоторых международных объяснений и, пожалуй, и соглашений,— нам нечего на такие намеки обращать внимание. Так называемая «гидра» революции, во время оно возбуждавшая столько ужасов, для нас теперь — не что иное, как совершенно безголовое чудовище. Безземельного пролетариата у нас почти нет — великая реформа 19 февраля оградила наш народ от тяжкой необходимости связывать свое существование с вопросами о капитале. Мы на всякие там парижские коммуны и прочее можем смотреть совершенно спокойно [8].

Если взаимное отношение общественных классов в Германии много похоже на французское, если недавние победители ничем не ограждены у себя дома от сцен, которые в таких роскошных декорациях ими поставлены в Франции, кто же виноват? Никак не мы. Следовательно, от каких-нибудь новых священных союзов, которые, повидимому, для охраны европейского порядка, нам готовы были бы предложить, да хранит нас судьба. Лишь бы мы застрахованы были в спокойном пользовании благами и трудом дней мира, а какое нам дело, если кто-нибудь другой не совсем ловко себя чувствует, упиваясь торжеством славы и побед. Немезида мстит в истории — и кто вызвал революционный взрыв, пусть на себя же одного берет и всю тяжесть расплаты. Мы, русские, знаем один священный союз — всесословный союз всей земли для общего земского устроения.

СТАТЬИ 70-х ГОДОВ

СТРАНА ИЗГНАНИЯ

Под этим заглавием недавно поступила в продажу книжка, составленная из путевых очерков и заметок одного из известных ученых русских офицеров, Сергея Ивановича Турбина[1]. Почтенный автор этих очерков на своем веку изъездил Россию во всех направлениях и имеет с нею хорошее знакомство, а также талант рассказывать виденное правдиво, образно и беспристрастно. Поэтому все появлявшиеся до сих пор заметки полковника Турбина всегда бывали очень интересны; ныне же вышедшая его книжка еще более полна этого интереса, так как в ней собраны очерки и картины краев отдаленных и малоизвестных. Это картины «страны изгнания», то есть Сибири.

О Сибири писано немало, хотя и не особенно много; но то, что написано о ней полковником Турбиным, так непосредственно и своеобычно характеризует этот далекий край, что книжечка его никак не может быть лишнею для того, кто желал бы познакомиться с бытовою жизнью в «стране изгнания». Рекомендуя с этой стороны упомянутую книжку, мы, конечно, не затруднились бы указать на обилие хороших замечаний автора об устройстве сибирского хозяйства и проч., но всех этих заметок не перечислишь, да и в одном беглом перечне их нет никакой пользы. Для того чтобы ознакомить читателя с интересной и необыкновенно легко читаемой книжкой г. Турбина, гораздо лучше привести из нее небольшие, но очень живые сцены, яркие картинки, которые могут служить образцом мастерства автора рассказывать с задушевною безыскусственностью и простотою. Не затрудняясь особенно тщательным выбором, берем три встречи полковника Турбина: 1) с каторжным бродягою, 2) с ссыльным

поляком и 3) с добровольными переселенцами.

Встреча с каторжным бродягой произошла в селе Завододуховском, где полковник переменял лошадей и сварил себе раков и ел их. Вот как он рассказывает об этой встрече:

«Бряцанье цепи прервало мое гастрономическое наслаждение.

— Хозяин, что это такое?

— А надо быть, бродягу ведут.

Я выглянул в окно. Перед домом стоял рослый детина, с окладистою светло-русою бородой, в ножных кандалах, одетый в плохой побуревший армяк и стоптанные бродни, и при нем, в виде конвойного, дряхлый старичок десятский с палочкою.

— Подайте Христа ради! — проговорил бродяга.

Хозяин подал большой кусок пшеничного хлеба.

— Здравствуй, братец! — сказал я.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие.

— Ты какой губернии?

— Херсонской.

— Отчего же так чисто говоришь по-русски?

— Да я только родился в Херсонской губернии, а у меня отец и мать были русские.

— Ты, верно, из солдат?

— Точно так, ваше высокоблагородие.

— Где служил?

— В N кирасирском полку, ваше высокоблагородие.

— Имени не скрываешь?

— Никак нет, ваше высокоблагородие: Семен Васильев Скляров.

— За что же ты попал сюда?

— Долго рассказывать, ваше высокоблагородие.

Вот рассказ Семена Склярова, с которым мне еще раз пришлось встретиться:

— Служил я, ваше высокоблагородие, как уже докладывал, в N полку. Характер у меня, то есть, самый неподходящий: не уважил я раз вахмистру — тот ротмистру; расправа в то время была известно какая; я заартачился, до грубости дошел большой; ну, под суд отдали; прошел полторы тысячи и попал в арестантскую роту.

— А потом?

— Потом, ваше высокоблагородие, не мог потрафить в арестантской роте.

— И что же?

— Да ничего. Попал под суд, прогнали скрозь строй, лишен солдатского звания и сослан в каторжную работу в Александровский винокуренный завод; оттуда бежал, пойман, наказан плетьми, с постановлением литеры Б ниже локтя, с назначением в Петровский железный завод, откуда бежал вторично и добровольно явился в Омутнинской волости.

— И не добровольно, а поймали, — вмешался десятский.

— Почтенный старичок, где же поймали? Как бы я хотел уйти, нешто ты укараулишь? Смотри.

Скляров тряхнул ногою, и деревянные кандалы слетели.

— Ты это видишь? То-то же!

— Куда же ты пробирался?

— Да куда глаза глядят. Мы, бродяги, всё больше так ходим. А что, ваше высокоблагородие, об манифесте ничего не слышно?

— О каком манифесте?

— Да вот памятник в Новгороде открывают, так по этому случаю?

Слухи и толки о манифесте по случаю открытия новгородского памятника в Сибири были повсеместны, и бродяги сильно на него рассчитывали.

— Что же теперь с тобою будет?

— Да ничего. Накажут плетьми, поставят слово како (с.к., то есть ссыльно-каторжный) на руке и на лопатке и пошлют в нерчинское ведомство. Вы, ваше высокоблагородие, куда изволите ехать?

— В Иркутск.

— Бывал-с, город хороший.

— Послушай, Скляров, ты правду мне говорил?

— А на что же мне лгать? Приедете в Иркутск, можно справиться в экспедиции о ссыльных по статейному списку.

— А из нерчинского ведомства уйдешь, или оттуда трудно?

— Это, ваше высокоблагородие, глядя по делу. Труда большого нет. Оттуда все больше бегают. Года вот мои проходят — вот что-с! Мне ведь без года пятьдесят, ваше высокоблагородие.

На вид ему было не больше сорока.

— Надо полагать, ваше высокоблагородие, в Сибири недавно?

— Отчего ты так думаешь?

— Да нашим братом антиресуетесь. Поживите, присмотритесь; тут нас много.

— По дороге буду встречать?

— Никак нет-с. Наши тут всё сторонами пробираются, маршлут свой имеют. До самой Бирюсы, то есть до иркутской границы, по большой дороге не ходим. Ну, а там если б ехали весною, то как бараны идут. Теперь, к осени, становится меньше, а всё будут попадаться. Только теперь настоящих старых бродяг мало; в тех местах по осени идут больше перваки. Настоящие мастера проходят раннею весною.

— Ты же из каких?

— Да я что, всего по второму. А есть молодцы; кругом шестнадцать, или кругом Иван Иваныч, значит, весь в клеймах. По десятому и больше. Раза по два на приковку к тачке осужден.

Скляров видимо одушевился.

— Ну, а встретишься с этаким, ничего?

— Я, ваше высокоблагородие, докладывал — бараны, бараны и есть. Мухи не обидят, не то что человека. Христа ради попросят: дали — спаси господь; нет — на здоровье.

— Ну, кое-когда и забижают,— заметил хозяин.

— С голоду разве, да и то не всегда. А что вот этим калужским, что под Омутинском живут, об тех толковать нечего. Когда-нибудь припомнят.

Мне объяснили, что живущие в Омутинской волости новоселы-калужане очень часто ловят бродяг и представляют по начальству. Скляров был задержан ими же.

— Послушай, Скляров, ты человек бывалый, скажи, где лучше: в арестантских ротах или на заводах?

— Это, ваше высокоблагородие, как кому. Для человека слободного, например, для мужика, для мещанина, для приказного звания, для господ, в заводах много лучше, сравнения нет, а вот для человека казарменного, как наш брат, — беда просто...

— Отчего же это?

— Да как же, с малолетства тебя одевали, кормили, вот привычки и нет, как с собою обойтись. В заводах дадут тебе паек, жалованье — распоряжайся, как знаешь. А наш брат, известно, жалованье — в кабак, с пайком тоже обойтись не умеет; привык к готовому. А в арестантской роте я сыт, обут, одет; сидеть под замком привык сызмала, а работа не бог знает какая. Общество большое,

всё свои. А вот слободным, так тем в арестантских ротах шибко круто приходится, особенно которые с Капказа, а на заводах — ничего, скоро обживаются.

Расспросы и наблюдения, сделанные мною после, привели к убеждению, что эти слова Склярова положительно верны.

Лошади были уже давно готовы, и нужно было ехать.

— Счастливо оставаться, ваше высокоблагородие! — крикнул по-солдатски Скляров.

Я ему подал целковый, он не взял.

— Много даете, ваше вскабродие: вам дорога дальняя, — пожалуйте гривенник, больше не нужно».

Вот и вся сцена, но какая глубокая, потрясающая и характерная сцена. Этот Скляров стоит перед вами как живой, и стоит не оболганный и облаянный, á la Глеб Успенский, а очищенный и омытый своею безропотною скорбию, которую передает с такою сердечною простотою г. Турбин.

Теперь образец сцен другого рода.

Автору начинают встречаться ссыльные поляки, из которых ни один не хочет сознаться, за что он сослан, и все объявляют себя политичными. Настоящие политические поляки их терпеть не могут и чуждаются, но тем не менее те все-таки отыгрывают свои политические роли. Лиц этого сорта очень много; но мы возьмем одно наиболее приятное исключение — это поляк Z..., сосланный за продажу своей лошади, — единственный ссыльный поляк, не объявляющий себя политическим.

Вот что рассказывает о нем г. Турбин:

«На почтовой станции ко мне явился человек, показавшийся по наружности отставным солдатом, но прежде чем я успел предложить ему вопрос: где он служил? — я услыхал от него такую рекомендацию: «Z., ...byty czlachcic z Wielienskieqo posbawiony wszelkich praw» (то есть бывший виленский шляхтич, лишенный всех прав).

На мой вопрос: за что же он посбавлен прав? — я ожидал ответа — за что-нибудь в политическом роде, но услышал: «Za sprzedaz wlasnego konia» *. За этим последовал длинный и, как видно, много раз повторенный рассказ, что Z... продавал собственную лошадь, в которую вклепался «пся вяра жид», и продавца судили и осудили как вора. В рассказе часто упоминались пани матка и пан брат,

* За продажу собственной лошади (*польск.*). — *Сост.*

последний не иначе, как с прибавлением «бестия». Не последнее место занимал также пан исправник, с прибавлением «галган» и «лайдак». О пане городничем тоже было сказано, что когда Z... с лошадью был приведен в полицию и ему там сделали импертиненцию (дерзость), то он «сдубельтовал», то есть отвечал тем же, с удвоением. Z... был единственный встреченный мною в Сибири поляк (а я их встречал много) без примеси политики. Не знаю, насколько справедлив рассказ шляхтича, но в литовских местечках не раз мне случалось видеть, как у бедняков крестьян и мелких шляхтичей отбирали их собственный скот по жидовским претензиям. А тут еще присоединилось ответное дубельтование сделанной импертиненции.

Подъезжая к селу Омутинскому, со мною встретилось десятка два подвод, возвращавшихся порожняками. Лица, одежда и самая упряжь показались знакомыми. Громко сказанные слова: ен (он) и яны (они) сразу объяснили мне, что это за люди и почему показались знакомыми.

— Здравствуйте, братцы! Вы курские?

— А курскаи, усе (все) как есть курскаи. А твоя милость откелича? С наших сторон, что ли-ча? — посыпались вопросы.

— Нет, братцы, я орловский, только долго жил в Курске.

— Орловской, ето значит сусед, усе едино. — Ребята, снявши шапки, побросали телеги и обступили повозку. Молодые парни, по курскому обычаю, молча разинули рты (признак особого внимания). Душою я невольно перенесся на родину.

— Давно вы переселились?

— Дамно. Годов тридцать есть; ети усе понародились здесева; я мальчонкой пришел, — отозвался мужик постарше. — Стариков много примерло, а кое-какие ешшо есть.

— Где же вы живете?

— А тут поблизости, версты четыре.

— И где четыре! ня буде четырех, — три.

— Я табе говорю, четыре.

— А я табе говорю, три.

Спор поднялся».

Полковник Турбин заинтересовался земляками и велел свернуть в их деревню, которую они назвали «Плетнево», потому что выселены из села этого наименования в Кур-

ской губернии. Описав весьма живо, кратко и картинно свой въезд в село и изменение в костюме курян в Сибири, автор так описывает их тоску по родине.

«Поместившись в большой и довольно чистой горнице, я стал расспрашивать о житье-бытье, и мне рассказали вот что:

— Таперича ничего, как будто попривыкли, а попервоначалу — беда. Пуще всего бабы голосом голосили. У нас они, сам знаешь, привыкши два раза в год к Владычице, Знаменью Коренской божьей матери ходить, а здесь етаго заведения нетути — ну и тосковали. Другое, опять наша сторона садовая, а здесева нет табе ни яблочка, нет табе ни дульки, — етим скучали. Веришь ли, отселева баб пять, должно быть, у Коренную, к девятой пятнице ходили. Что ж, бог привел, поворотились. Пробовали мы и яблони садить, семечками, стало быть; взойдеть, растеть, а там пропадеть. Что будешь делать. Климант такой, что ли-ча? А вот насчет хлебушка — ничего, земля уродимая. Пашаница растеть, рожь, только настоящей аржи тут самая малость, больше ярица. Скус тот же, а силы нет. Насчет скотинки тоже слободно, а чтоб лошадей крали, как по нашим местам, здесева не слыхать.

— А каковы соседи?

— Всякие есть: и худые и добрые... Насчет сибирских, мы их чалдонами дразним, больше чаями занимаются, а работать не охочи. Иные живут справно, а есть и нищета. А то вот недалеко новоселы калуцкие: к пахоте непривычны, народ лесной, то бедуют, то есть так бедуют, что боже мой!..

Подали самовар, и, нечего греха таить, кажется, не чищенный со дня покупки.

— Э, да вы чай пьете?

— Нет, мы к нему непривычны: молодые стали баловаться. Его мы больше про чалдонов держим: яны без етаго не могут.

— А чалдоны у вас часто бывают?

— А то как же? Известно, по-суседски: хлебушка когда купить, когда взять до новины.

— Разве у них нет хлеба?

— Есть, как не быть, да всё меньше супротив нашего, им так не спахать: мы на том стоим».

В этой заботе о хлебе притупляются и со временем врачуются или гаснут порывы nostalgiae *, и переселенец

* Тоски по родине (*греч.*). — *Сост.*

становится старожилом, а потом и туземцем, которого новые пришельцы, в свою очередь, станут дразнить чалдоном, а он их считать необразованными мужиками.

Удивительная эта привилегия нашего русского человека слыть образцом невежества даже среди своих же братий, которые имели случай только обазиатиться, и у г. Турбина очень много чрезвычайно интересных наблюдений над этими пионерами русской цивилизации в Сибири, но мы уже остановимся на том, что рассказали. Кажется, и этого довольно для того, чтобы дать понятие об этой книге тем, кто ее не читал, но может прочесть с большим для себя удовольствием и с пользой.

Недавно нам довелось сказать в «Русском мире» несколько сочувственных слов в похвалу превосходным народным сценам П. И. Мельникова и указать, что не народный жанр в повествованиях этого рода опостылел читателям, а опостылела манера жанристов Успенских, Левитова и других, прослывших за специалистов в изображении народных сцен, тогда как их справедливее, кажется, просто считать специалистами для сочинения сцен нелепых или безвкусных. Теперь же мы очень рады возможности, говоря о книге С. И. Турбина, еще раз показать, что народные сцены могут быть и интересны и приятны, если у автора, который их рассказывает, есть настоящая наблюдательность, положительный ум и добрая воля оглядеть «Ивана Ивановича кругом», а не с одной той стороны, откуда он пошлее, злее и отвратительнее.

Материал все тот же самый, но что под пером гг. Мельникова и Турбина, а еще более под пером гр. Льва Н. Толстого выходит занимательно и прекрасно, то под другими перьями нередко становится безобразно и поистине отвратительно. В чем же тут секрет? Очевидно, в том, что народные сцены хороши, когда они пишутся людьми сведущими, талантливыми и чуткими, но сцены эти отвратительны, когда они сочиняются холодными паяцами, которые всегда имеют свойство надокучать своим кривляньем всякому, кто еще не извратил своего вкуса до того, чтобы предпочитать художника фигляру.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ ЗАПИСКИ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО МИТРОПОЛИТА АРСЕНИЯ О ДУХОБОРСКИХ И ДРУГИХ СЕКТАХ

I) Высокопреосвященный Арсений[1], в начале составленной им записки о сектантах, говорит, что «тамбовская епархия, подобно другим епархиям, довольно обильна сектантами, если измерять обилие их не столько числом, сколько степенью загрубелости и ожесточения их» (Труды Киевской Духовной Академии. — 1875. — Февр. — С. 149).

Мне кажется, что «измерять обилие» не числом, а «степенью» крайне неудобно. Приняв такой метод измерения, весьма легко прийти к заключениям произвольным и неправильным. Например, можно сказать: «Васильков от Киева очень далек, если измерять расстояние не количеством верст, а степенью запущенности гадкой дороги». На самом деле между этими городами все-таки будет только 38 верст, а не более.

II) На этой же странице читаем: «Причины и побуждения, заставившие сектантов уклоняться от господствующей веры и общественного порядка, у всех одинаковы: это честолюбие, своекорыстие, плотоугодие и самоуправство в начальниках, а невежество и бессознательная подражательность, завлеченная и отуманенная порывом, имеющим вид добродетели, — в толпе им слепо верят».

Причины уклонения не у всех сектантов одинаковы: раскольник буквенного характера и сектант пиетистического духа уклоняются от господствующей церкви по совершенно различным причинам и побуждениям. Блюдя краткость в моих заметках на записку митрополита Арсения, я не могу разъяснять здесь всех этих различий, но они хорошо известны всем, более или менее знакомым с характером русского сектантства. «Слепая вера» толпы, по-моему, здесь вспомянута тоже совсем не у места: кто слепо верит, тот не уклоняется, ибо, не умствуя, держится того, во что «слепо верит». Чтобы изменить веру, надо прежде окритиковать ее так или иначе и пожелать искать лучшую, чему мы и видим дока-

зательство, например, в современных южнорусских штундистах. Люди эти начали с того, что стали критически сравнивать свою православную нравственность с нравственностью людей, живущих «в колонках», и соблазнились, что «там честнее». По религиозности своей они стали критически сравнивать веру и впали в новое заблуждение, найдя, что «в колонках вера лучше, ибо учительнее». Теперь же мы видим в этих критиканах людей, осуждающих своих предков за то, что они «дрались за веру», тогда как по штундистскому верованию «вера силою не защищается и не поддерживается». Тут можно видеть, что угодно, но только не слепоту.

III) На стр. 150 сказано: «старообрядцы ведь и всегда сами на себя похожи», — замечание глубоко верное: за Кавказом, в Турции, в Австрии они «везде сами на себя похожи», и очень жаль, что этого же самого нельзя сказать о наших церковных людях, которые очень охотно делаются «на себя не похожи» — католичатся, немчатся и даже считают иногда безверие признаком просвещенности.

IV) На сей же странице достопочтенный автор записки говорит, будто бы правительство «в законных (!) постановлениях» о молокано-духоборческой ереси «подводит ее под одну категорию с обыкновенными сектами раскольническими».

Это совсем не так: в нашем законодательстве ересь молокано-духоборческая поставляется во многие особые условия, от которых свободны другие раскольники. Не перечисляя всех этих особенностей, укажу лишь на то, что еретиков духоборческого толка высылали с мест их жительства целыми селениями, и кроме того они подвергнуты другим ограничениям; так, по IV тому свода законов: «молоканы, духоборцы, иконоборцы, иудействующие и скопцы» лишались права ставить наемных рекрут иначе, как из своей среды. Из этого, кажется, ясно видно, что положение этих еретиков отнюдь не заурядное со всеми раскольниками.

V) На стр. 152 господин митрополит говорит: «молокано-духоборческая секта имеет две стороны: одну — религиозную, а другую — политическую. Первую она небоязненно высказывает, ибо знает, что за веру не преследуют (?!), хотя о некоторых более важных предметах религии, о некоторых местах в книгах св. писания объясняется двусмысленно загадками и иносказаниями, а вторую (т. е. политическую) тщательно скрывают».

Во-первых, как я выше сказал, едва ли справедливо утверждать, что еретиков молокано-духоборческой секты за веру совсем не преследуют; во-вторых, «иносказательные» толкования книг св. писания сими еретиками, в значительной мере, берутся из книги «Ключ Разумения», о которой упоминал, между прочим, в своем изъятом из обращения сочинении бывший студент киевской духовной академии, Орест Новицкий *. Книга «Ключ Разумения» написана писателем православным и даже известным борцом за православие, и нужно удивляться, что на книгу эту, служащую пособием к своеобразному толкованию св. писания у русских сектантов духоборческого толка, до сих пор не обращено должного внимания нашею духовною критикою; скажу более: при многих моих столкновениях с представителями нашего клира я убедился, что большинство духовных лиц даже вовсе не знают, что в сей книге заключается. Удивительное небрежение этого всего более непонятно там, где вокруг ходит учение духоборцев, нередко проповедующих с прямыми ссылками на книгу «Ключ Разумения» **. И наконец, третье: у сектантов духоборческой ереси, может быть, и есть свои политические взгляды, но я ни от одного из них никогда не слыхал, чтобы они небрегли благосостоянием и целостию государства или зломыслили о его верховном правителе.

VI) На 160 стр. его высокопреосвященство пишет, что «причина появления и распространения сект заключается по крайней мере не в одних священниках»; но если снести эти слова с 1-ю строкою стр. 155, то выходит нечто странное, ибо там читаем: «кто же был причиною отпадения? уж, конечно, не священники, по

---

* «О духоборцах», сочинение Ореста Новицкого (Киев. — 1832. — В типографии академической, при Киево-Печерской лавре. — С. 17).

** «Ключ разумения», священникам законным и свецким, от недостойного монаха Ионакия Голятовского, ректора и игумена монастыря Брацкого 1669 года свету поданный. Типогр. св. вел. Лавры Печерско-Киевской». По сопиковскому описанию (часть I, № 578) «книга редкая». В настоящее время книгу «Ключ Разумения» можно встретить только разве в некоторых избранных библиотеках да у духоборцев, которые по ней делают многие возражения православным священникам, а те не знают, откуда это берется, и все только клеплют на немцев, чем сугубо смешат сектантов. Впрочем, что касается книги «Ключ Разумения», то я изготовлю ее подробное обозрение, которое и не замедлю напечатать. — *Н. Л.*

крайней мере не тамбовские». Посредством этой сноски, смысл приведенного положения двоится, и из всего духовенства выделяется только как бы одно тамбовское, что совсем неблагоприятно для репутации всего остального православного духовенства.

VII) На 161 стр. сказано: что «священики в отношении к своему содержанию должны быть поставлены чрез производство им постоянного и достаточного жалованья от казны, и по смерти их семействам заслуженного ими пенсиона, в состояние независимое от воли прихожан».

Я часто слышу эти толки о поставлении священников в положение независимое от прихожан и знаю, что это мнение разделяют очень многие, но тем не менее я всегда слушаю его с большим прискорбием. Может быть, я неправ, но, мне кажется, что я должен здесь высказать об этом вопросе свое мнение: пусть более меня знающие опровергнут меня и вразумят.

По-моему, и пастырь, и пасомые должны составлять единость: паства связана с пастырем нуждами духовными, а пастырь с паствою — материальными. Нужно изменить только способ взимания с прихода за обязательные требоисправления. На правительстве лежит обязанность: а) воспитать детей мужского и женского пола и б) призирать вдов, сирот и престарелых служителей церкви. Все внимание должно быть обращено на эти статьи, а не на жалованье, без коего духовенство может обойтись, стоя на всей высоте своего призвания. Ежели бы указанные мною статьи были вполне обеспечены, священник и его семейство не чувствовали бы себя совсем брошенными, а в то же время священник не манкировал бы своими прихожанами, как может манкировать состоящий на жалованье правительства чиновник духовного ведомства. Завися от своего прихода, священник искал бы расположения прихожан и заботился бы об их доброй нравственности и теплоте к церкви и был бы «деятель достоин мзды своея» (1 Тимоф., 5, 18). Повторяю: может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в этих хлопотах о жалованье есть большая ошибка, которая со временем когда-нибудь скажется нехорошими последствиями.

VIII) На 162 стр. митрополит киевский рекомендует в назначении «оклада на содержание духовных принять мерою оклады служащих в каком-либо министерстве и

определенную законом соответственность чинов светских чинам духовным».

Что касается выравнивания духовных людей по ранговым линиям с чиновниками, то этого всего более надо избегать: это не идет духовенству и, как справедливо думал митрополит Платон, — это портит духовенство. А «оклады служащих в каком-либо министерстве» отнюдь не зависят от их чинов, а даются по должности, — так что чины гражданские в отношении жалованья — мерило самое неустойчивое.

Этим высокопреосвященный Арсений закончил свои указания на необходимые, по его мнению, реформы в устройстве духовенства и затем переходит к предложению «деятельнейших мер собственно против сект» (стр. 162), что составляет любопытнейшую и самую замечательную часть его записки.

Вот эти меры:

1. «Обратная передача сект и сектантов под непосредственное заведывание духовного начальства, так, чтобы как наблюдение за ними, так и дознание и исследование производимы были лицами духовными, для большего, впрочем, беспристрастия при депутате с гражданской стороны. Что же касается до обращения сектантов в православие, то от одной мысли, что они снова передаются в ведение духовного начальства, дело сие быстро подвинется: надзор духовный несравненно будет для них чувствительнее полицейского» (162 и 163).

Выписав этот пункт, я чувствую такую нравственную тяжесть, что хотел бы лучше ничего о нем не сказать, но долг совести и любовь к вере отцов моих понуждает меня вымолвить, что я страшусь: не заслужат ли наши архиереи и священники всеобщее презрение обращаемых, если они станут стараться о том, чтобы их духовный надзор был «чувствительнее полицейского».

Но этого мало: митрополит Арсений, установляя сильнейший надзор, не упраздняет и слабейший: на стр. 164 его высокопреосвященство говорит: «само собою разумеется, что надзор духовный не исключает и полицейского»... Кое ли общение им приличествует?..

Вторая мера: «соединение сектантов всякого рода на жительство в одном каком-либо месте, хотя бы даже внутри России, но с тем, чтобы они далее определенной черты ни под каким предлогом не могли отлучаться;

с православными, кроме местных чиновников и духовных, не имели никакого сообщения; торговлею довольствовались бы только внутреннею — внешнюю же производили бы через агентов правительства. Мера сия хороша тем, что, не представляя собою ничего жестокого, ни притеснительного, ведет прямо к цели, а благодать божия ниспошлет свою всесильную помощь и довершит остальное».

«Если же сие предположение по каким-либо причинам не получит одобрения, то для успеха обращения сектантов полезно: а) временное, впрочем бессрочное, удаление в монастыри ересеначальников и расколовожатаев и б) воспрещение сектантам нанимать в рекруты православных» (что, — снова замечу, — не допускалось по IV т. св. зак., а ныне, со введением новых положений о воинской повинности, совсем не имеет смысла).

Заботясь о предупреждении новых отпадений, высокопреосвященный Арсений предлагает следующее (стр. 165 и 166):

«а. Лишить сектантов, и преимущественно молокан, права приобретать покупкою или брать в арендное содержание земли и лесные дачи, также владеть мельницами и так называемыми рушалками или крупяными машинами, заводами и постоялыми дворами».

«б. Тех из сектантов, которые живут в уездах и, в селениях по одному или по два семейства единственно на соблазн других, перевести в другие уезды и селения, где их находится в большем количестве и где удобнее будет надзирать за ними».

«в. Всем управляющим имениями подтвердить строжайше, чтобы они управляемым ими крестьянам в один из постов давали неделю свободы, дабы последние могли приготовиться к исповеди (и) святому причастию, а в воскресные и праздничные дни отпускали и даже побуждали их ходить в церковь к богослужению».

Этим записка высокопреосвященного Арсения оканчивается.

Последний, заключительный пункт этого интереснейшего исторического документа, появившегося в февральской книге «Трудов Киевской Духовной Академии» за 1875 год, напечатан как бы при полном забвении освободительного манифеста, уничтожившего крепостную зависимость, после чего крестьяне ни от каких управляющих имениями не зависят и те не могут ни удержи-

вать их от церкви, ни посылать в нее. Тому же забвению совершившихся фактов должны быть приписаны и заботы о недозволении рекрутского найма, которого теперь более не существует, а потому об этих двух пунктах записки говорить нечего, и мы обратимся к другим пунктам, в коих предлагаются меры иного свойства.

Главнейшее из мероприятий, предлагаемых митрополитом киевским, есть, конечно, выселение сектантов из среды православных и переселение их в особую местность, с лишением права выезда и свободы деловых и общественных соотношений с несектантами. «Мера сия, по словам всемилостивейшего киевского архипастыря (стр. 164), хороша тем, что, не представляя собою ничего жестокого и притеснительного, ведет прямо к цели»...

Я опасаюсь, что рассуждение о нежестокости и непритеснительности этой меры многим покажется просто иронией, и я не стану доказывать, что жесточе и притеснительнее этой меры ничего нельзя выдумать, ибо выселить людей из одного места, перевесть их в другое, поселить их там против воли и вдобавок еще связать ограничениями в праве промысловых сношений, — это в существе значит не что иное, как в корень их разорить и покрыть их позорнейшим бесславием перед всем христианским миром. Но я не буду развивать этой мысли, которая сама по себе ясна с первого взгляда; а я укажу лишь на практическую сторону пересыльных операций, рекомендуемых киевским владыкою.

Во 1-х, где мы можем приготовить ссыльное место для сектантов? Место это должно быть очень пространно, потому что у нас сектантов много, а при усилении гонения на них число их, конечно, еще более увеличится, ибо народ наш и на сей раз не изменит своего убеждения, что «не та истинная вера, которая мучит, а та, которую мучат». «Не даде бо нам Бог духа страха» (2 Тимоф., 1, 7): они станут «в терпении стяжать души» и удивят всех и своим характером и своим числом: место для них потребуется очень большое... Где же оно? В средине государства такого места не выберешь: здесь и так все уже заселено, да и притом тут неудобно надзирать за общением сектантов с несектантами. Иначе пришлось бы закрыть проезжие дороги и оцепить границу ссыльного места кордоном. Надо поискать просторное место для сектантов по окраинам.

Предположим, что для них, например, отведут Архангельскую губернию; но тогда надо же прежде подумать: куда убрать отсюда всех православных, живущих ныне в Архангельской губернии? Всеконечно необходимо начать с того, чтобы выселить отсюда всех православных, дабы они не смесились с сектантами, которых погонят на их место, иначе опять произойдет смешение и на новых местах явится то же самое, что было на старых. Стало быть, не может быть спора, что прежде самих здешних православных надо куда-нибудь переселить... Куда?.. Опять требуются новые местоназначения... А если эти православные возропщут и скажут: «Не трогайте нас; мы здешние и здесь хотим жить и умереть... За что вы нас тревожите?» Право, не знаю, что им тогда ответят, за что их сгоняют с насиженного места на другое, отдаленное и незнаемое? Не выйдет ли тогда, что эти люди «страдают за православную веру?»

Теперь обратимся к так называемой политике, которой высокопреосвященный Арсений дает очень веское значение в оценке достоинств сектантского учения. Допустим, что у сектантов действительно есть свои смелые политические убеждения, простирающиеся до того, что они даже сомневаются (стр. 153), «неужели и Закревский [2] был поставлен от бога». Если это так и сектанты эти отказываются верить, что «и Закревский был поставлен от бога», то при каких обстоятельствах это может обнаружиться более резкими проявлениями: тогда ли, когда все люди подобных убеждений рассеяны по лицу всей земли вперемежку с людьми, имеющими другой взгляд на назначение Закревского, или тогда, когда указываемых митрополитом вольнодумцев соберут от всех концов в одно место и они представят плотное население в несколько миллионов (положим, хоть в три) и при единстве своих взглядов скрепят свой союз еще единением в ненависти к истязующему их правительству? Два ответа на этот вопрос невозможны: старая политическая доктрина основательно учит, что люди, рассеянные и не имеющие центра действий, всегда гораздо безопаснее для власти, чем те же люди, собранные вместе...

Но идем далее: предположим, что правительство, во уважение церковного авторитета митрополита Арсения, по его слову двинуло бы переселение народов России с места на место. Представляю каждому вообразить себе эту ужасную картину повсеместного плача, сортировки

людей и высылки их, по указанию духовных лиц, а также эти перекочевки целыми группами, с детьми, скотом и всяким скарбом... Поистине это было бы нечто вроде великого переселения народов под конвоем, ибо иначе народы эти, собранные в большую группу, пожалуй, и не дойдут по маршруту...

Но допустим, что и эта «нежестокая и непритеснительная мера» (164) благодаря великой скромности русского народонаселения совершилась благополучно: что же тогда? Живые люди не могут оставаться в неподвижности сердца и мысли, и среди переселенных сектантов может начаться движение в сторону церкви. (Имея в виду довольно частые в наше время обращения в православие сектантов и даже иноверцев, такие случаи нельзя считать невозможными.) И что же тогда, как быть с покаявшимися и обратившимися? Очевидно, их нельзя будет оставлять среди коснеющих в своем заблуждении, и надо их снова как можно скорее куда-нибудь выселить... Куда же? опять на старые места; но там уже дом их пуст, или на селе их сеет другой. И где же будет граница этим расселениям и когда придет им конец?.. Что за страшную и неблагодарную работу должно будет принять на себя с этою мерою правительство, перед которым все государство явится не в нынешнем положении мирной страны, а в плачевном состоянии какого-то пересыльного церковного этапа.

Но митрополит киевский и сам сознает, что рекомендуемое им переселение народа нелегко, и на случай, «если предположение сие по каким-либо причинам не получит одобрения» (164), он предлагает другую меру (165): «временное, но бессрочное удаление в монастырь ересеначальников».

Бессрочное заключение людей в монастыри то же самое, что вечное заточение: это одно из тягчайших наказаний, каким заменяется только смертная казнь. Предоставляю каждому судить, насколько это сообразно мере вины и сродно евангельскому учению? Этою мерою ставится такая дилемма: «или измени своим убеждениям, или ты никогда не выйдешь из монастыря, где все противно твоему духу и твоим мыслям!..» Дилемма страшная и гораздо более сродная римскому древнеимператорскому духу, чем духу любви евангельской.

Но посмотрим, как это может отозваться на самих монастырях?

Нельзя скрывать, что монастыри наши и в настоящее время несут на себе много нареканий и не пользуются большим уважением; но если так относятся к монастырям-обителям, то как станут относиться к монастырям-тюрьмам, какими они рискуют явиться по мысли высокопреосвященного Арсения? Предлагаемая киевским митрополитом мера обращения монастырей в довечные тюрьмы согласна ли с идеею учредителей нашего монастырского общежительства? Я утверждаю и, если об этом может быть спор, берусь ответственно доказать, что она несогласна. В монастырь сходятся люди единомышленные для того, чтобы воспитать свой дух в одних правилах; какое же место между ними еретику, человеку противумысленному и, стало быть, для всей братии чуждому по вере? Что сказать, если тот или другой твердого характера настоятель монастыря (каковые, к чести нашего иночества, еще водятся) не примет еретика, дабы охранить братию от соблазна, или если сама братия потребует, чтобы противумысленный ей еретик вышел из ограды монастырской? А такие примеры возможны, и даже очень недавно были: многочтимый старец Иона, строитель Троицкого монастыря в Киеве, не хотел взять присланного к нему штундиста и, подчинясь этому только в силу особых давлений, все-таки не успокоился до тех пор, пока освободился от этого гостя, а второго экземпляра вовсе не принял и, конечно, был прав, ибо берег братию от «духа лестча».

Я опасаюсь, что предполагаемое запискою митрополита Арсения обращение монастырей в довечные тюрьмы для сектантов нанесет последний и решительный удар этим учреждениям; оно может отвратить от них всех людей, исполненных христианского духа.

Но мне могут заметить: как же духовенству держать себя по отношению к сектантам? Я считаю и себя и всякого христианина свободным от обязанности отвечать на этот вопрос, на который есть положительный и ясный ответ в Новом Завете; вот этот ответ: (Матфея, гл. 18): «Если же согрешит против тебя брат твой, поди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи Церкви, а если и Церкви не послушает, то да будет

тебе, как язычник и мытарь». В Толковом Евангелии и в Беседах Иоанна Златоуста смысл этого изречения истолкован так: «Не считай более упорного своим братом и прекрати с ним христиански-братское общение, чтобы не заразиться его болезнию».

Мы наших отпадших братий обличали, мы возвестили о них церкви и они ни нас, ни всей церкви не послушались, — значит, они нам теперь по вере люди чужие, а апостол Павел не велит нам судить веры чужих нашей вере людей (Посл. к римлянам, гл. 14, ст. 4): «Кто ты судяй чуждому рабу! Перед своим Господом стоит он или падает; силен Бог восставить его». Принимая это с верою, «мыслим убо верою оправдатися» (Рим., 3, 28).

Отпадения от церкви совершаются не в одном нашем слое русского общества: они так же идут вверху, как и внизу: всем ведомо (кроме тех, которые ничего не хотят ведать), что в Петербурге, где ежегодно собираются все наши митрополиты, одновременно с ними прибывают из чужих краев особливые вероучителя, «имущии образ благочестия, силы же его отвергшиеся, поныряющие в домы и пленяющие женищь, всегда учащася и николиже в разум истины приити могущие» (2 Тимоф., 3, 5—7). Что же сделано всем сонмом наших иерархов против сих «поныряющих в домы и пленяющих женищь»?

Ни-че-го!

А тут, кажется, много бы можно сделать, и сделать в самом христианском духе: «учаще человецы растленны умом и неискусны о вере».

ДИКИЕ ФАНТАЗИИ

Крымская эпоха была во многих отношениях важною для армии и имела огромнейшее влияние на солдатскую литературу. Солдат стали обучать в полках грамоте, и одновременно с тем открылись заботы дать новым грамотеям чтение, сообразное их воинскому званию. За это дело взялись люди, которые обещали сделать много, но едва ли исполнили то, что обещали. По крайней мере в периодической литературе специального назначения за все время после крымского периода не выдалось ничего такого, на чем бы можно было остановить внимание. Самым выдающимся писателем в новой солдатской литературе был, без сомнения, недавно умерший писатель Александр

Фомич Погосский[1], по рождению поляк, по положению отставной офицер русской службы. Личные воспоминания об этом патентованном солдатском писателе еще и теперь, может быть, не подлежат огласке: скажу только одно, что человек этот при встречах с ним за границею вскоре после крымского замирения являл собою «смятенный вид» и не высказывал никаких намерений служить интересам русской армии, но вдруг все перевернулось, и имя Александра Фомича Погосского является в самой главе солдатских писателей новой школы. Он был необыкновенно счастлив на этом повороте своей деятельности: литературная критика того времени приветствовала его появление с самым пламенным восторгом; петербургские журналы и газеты почти единогласно провозгласили его наблюдательнейшим знатоком солдатских нравов и талантливым писателем, «какого еще не было». Один большой, тогда очень влиятельный журнал [2], не находивший под солнцем имени выше действительно достойного почтения имени драматического писателя А. Н. Островского, даже поступился несколько величием своего фаворита и назвал Погосского «солдатским Островским». В военных кружках новый писатель так понравился, что сразу же нашел там своим писаниям самую сильную поддержку. С этих пор имя Погосского стало пользоваться авторитетом в солдатской литературе, а его сочинениями в изобилии снабжались все полки и команды. Солдаты должны были их читать, и говорят, будто бы «зачитывались». Сказкам вроде «Еруслана» и «Бовы», казалось, пробил конец — выжита была и «скобелевщина». Теперь оказывается, что «скобелевщина» действительно исчезла, а «Бова» и «Еруслан» пережили невзгоду. Дело это в таком же положении и ныне: и теперь, если вы обратитесь в книжные склады агента военно-научных заведений г. Фену с требованием книг для солдатского чтения, то вам подают пачку книг Погосского. Другого выбора почти нет, и это весьма понятно, потому что с тех пор как Погосский забрал силу и стал редижировать солдатское чтение, конкуренция с ним стала невозможна. Писать для солдат можно было только при известной поддержке, а поддержка оказывалась только Погосскому, который и делал что хотел. Если бы кто-нибудь стал писать для солдат в ином духе, он, конечно, не имел бы успеха, потому что апробованный для сего дух был специальный дух Погосского. И вкус критики, и вкус начальства были в пользу этого писателя,

а потом, вероятно, это в значительной мере прививалось и солдатам. Оставалось подделываться под манеру и тон Погосского, и за это было некоторые принялись, но не имели успеха: Погосский умел удержать за собою первое место при жизни, и оно остается за ним и после смерти этого «незаменимого писателя».

Что же им сделано для просвещения ума и сердца русского солдата?

Этому пора подвести итог, ввиду событий и обличений, устремляемых против церкви за ее нерадение о солдате, который не кладет в ранец евангелия, а таскает там «Еруслана» и «Бову».

Серия книг, написанных и изданных при самых благоприятных условиях А. Ф. Погосским, очень велика. Одолев ее всю прежде, чем приступить к этой статье, я решаюсь думать, что большинство критиков, так единодушно и так решительно восхвалявших талант Погосского, не имели времени и терпения, чтобы прочесть от доски до доски массу плотных листов, выпущенных в солдатскую среду этим плодовитым писателем, давшим тон и камертон для солдатской литературы. Прочесть его — это большой труд, которого, как известно, бежит спешный критик современной литературы, ловящий только «общий вывод и направление». И мы проследим только это направление и посмотрим, к какому оно может привести выводу.

Благосклонный читатель! кто бы вы ни б ы л и , — возьмите терпение пробежать со мною ряд книжек, которые я вам постараюсь представить. Если вы духовное л и ц о , — это вам объяснит многое, что, может быть, вас удивляло в настроении солдата, за которого теперь вас тянут к ответу; а если вы м и р я н и н , — вы поймете, как неосновательны многие делаемые церкви укоризны, и это вам будет на пользу.

Садимся за читальный стол солдатской сборни и начинаем перебирать книжку за книжкою.

Берем по очереди, что попадет под руку.

1) « Ж а р е н ы й г в о з д ь ». Все содержание книжечки вертится на голой, нимало не покрытой бесстыжести: герой рассказа солдат поставлен на постой к молодой простодушной крестьянской женщине. Пользуясь, своею плутоватостью и жалким легковерием молодой женщины, нежно любящей своего мужа, солдат приводит ее к нарушению брачной верности и очень доволен. Бесстыдная

история эта рассказана с отвратительною развязностью и бесшабашным цинизмом. Оставя в стороне несчастную добрую бабу, которая была хорошею женою и обманута солдатом самым мошенническим образом, автор рисует пожилую женщину Пафнутьевну, «вдову с бесконечным потомством по милости солдат и своих физических средств» (3), и ее устами рассказывает, как солдат наутро прощался с хозяйкой.

2) «Лешев хутор» — голая чертовщина. Рассказ вроде гоголевского «Вия», но без гоголевского таланта.

3) «Чему быть, того не миновать, или Не по носу табак» — театральное представление, разыгрывая которое солдаты, исполняющие роли, говорят со сцены публике неудобные для печати слова (см. стр. 14, 19, 20 и 23); но всего характернее это то, что должны осмелиться произносить публично другие женские лица играющего персонала; например (стр. 71) разговор двух девушек о кирасире.

Писатель прививает такую гадость не только солдатам, но и их дочерям и женам, для которых писаны эти роли. Если справедливо, что театр есть школа нравов, то чему может научить такая школа, с такими уроками?

4) «Анчутка беспятый», «Наум сорокодум», «Собачий застрельщик» и «Медвежья наука» — четыре произведения в одной книжке и в одном роде.

5) «Злодей и Петька», еще развязнее. Тут прямо ругаются по-русски...

6) «Отставное счастье» и «Два кольца».

7) «Господин колодник».

8) «Подосиновики». — Солдат приходит в отставку домой к жене, которой не видал много лет, и, застав у нее кучу рыжих детей, находит, что это так надо быть — что это грибки-«подосиновики».

9) «Чертовщина», «Путешествие на луну», «Мудрый судья». В первом рассказе изображен добрый солдат, который, стоя у молодой хозяйки, слышал, как ее ночью «домовой душил», — домовой этот был его однополчанин «унтер-офицер». Второй — о кузнеце, который, приняв к себе издалека хозяйку, «ахтительную красавицу, и с той поры даже с Феклистихой не водился». Но жена у него «сбежала с Оською Комолым», а в это время в село пришли солдаты, и «солдат Яшка спознался с старухою». В третьем рассказе автор касается высших

сфер общества — и выводит напоказ солдатам полковых дам, которые представлены невесть какою гадостью.

10) «Всем шильям шило» — рассказ, в котором видим еще другую сторону автора. Тут девка Зайчиха, нарожавшая себе детей неведомо от кого, держит их, как зверят, в пещере и пьет с горя, а когда приходит к ним, то ведет такие речи (44—45): «А нема ж на вас погибели!» — «А бо-дай вас трясца замордовала, бесенята проклятые!» На 46-й: «Щоб тоби хвороба! Бо-дай ты вспухла! Сто вам чертыв!» (47) «Пиячка непотребная; видьма бесстыжая!» и т. д. Если не сальность — то хоть грубость.

11) «Суходольщина» — знакомит нас опять еще с одною стороною направления Погосского: тут есть, так сказать, «тенденция». Крестьянский мальчик Леша, взятый в лакейскую, в Петербурге, в течение двух лет коечему поучился и стал такой, что и студенты, собиравшиеся у его господина, заспорив о чем-нибудь, обращались к этому мальчишке, говоря; «Ну вот посторонний человек: ну говори, как ты об этом думаешь?»

Бедные студенты!

12) «Жизнь без горя, без печали» — опять образчик в ином роде. — Это уже стихотворная штука, по размеру напоминающая «Конька-Горбунка» Ершова; но с такими стихами, каких нет у Ершова. Например.

Не собьемся, братцы, с такты.
Там какая есть у нас,
Все же такта, — ну вот так-то (стр. 7).

Ты пусти меня, желанный,
В море синее гулять,
Воевода ты мой сбранный (8).

Дошло до «взбранного воеводы» — и идет далее.

13) «Дедушка Назарыч» — отставной солдат лес караулит и трет табак, «пертюнец». По скромности или по иным требованиям автор это словцо в одной букве испортил, но зато в другом поправил. Табак «пертюнец» очень понравился дьячку, и этот дьячок, чтобы отблагодарить солдата, приносит «портрет», который должен служить вывескою для терщика. Чей же этот портрет? — Благоволите, читатель, выписать себе от комиссионера военно-учебных заведений эту книжечку и полюбоваться картинкою, напечатанною на 25-й странице, и вы, конечно, узнаете и фигуру и позу. Это мужчина, который нимало не похож на Назарыча, а похож на ти-

пическое изображение совсем иного лица. В левой руке у него чаша на высокой ножке, отнюдь не похожая ни на муравленный горшок, ни на иготь *, в каких трут табак. В облике нет ничего воинственного, а скорее нечто иконописное — даже древлеписные движки есть на челе, а вокруг головы венчиком расположены буквы, образующие слова: «Отменный табак». Есть тут намек и на хлеб, но при этом прималевана и бутылка... Всмотритесь в эту картинку, и вы не затрудните сь узнать нечто весьма вам знакомое и, конечно, не поверите, чтобы такую кощунственную штуку мог выкинуть человек русский... Но и этого мало; по игровой фантазии г. Погосского (26), «мальчишка Васютка приткнул свой нос к носу портрета и что сам имел под носом, то и припечатал, — отчего портрет еще живее вышел».

На этой тринадцатой книжке надо остановиться: здесь, говоря в тоне рассматриваемого нами оригинального писателя, — «чертова дюжина», далее которой забираться уже невозможно. Даже в тех целях, в которых мы должны были пошевелить ворох нашей новой солдатской литературы, следить за нею неудобно. Дальше приведенных нами тринадцати повестей стоит «Посестра Танька» — это солдатская Мессалина русского сельского происхождения. «Посестра Танька» из всех книг Погосского самая распространенная и самая расхваленная в свое время критикою. «Посестра Танька» не «посестрие» в раскольничьем смысле — не «сталая подруга» человека, имеющего свой взгляд на брак, но все-таки держащегося «любве ко единой жене произволения». «Посестра Танька» г. Погосского держится донжуановского взгляда по истолкованию гр. А. К. Толстого. Раз оскорбленная изменою, она «насмешке жизни мстит насмешкой». Но quod licet Jovi, non licet bovi **; что у графа А. К. Толстого разыгралось в каприз сердца, то у Погосского выразилось простым муженеистовством. Байронизм Погосского годился только на то, чтобы изобразить в героине развратницу, от подробной передачи похождений которой должно отказаться самое беззастенчивое перо. Что здесь описано на одной 53-й странице, того не встретите ни в какой другой современной русской книге. Но все это, невозможное для повторения, не лишено

* Ступка. — *Сост.*

** Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку (*лат.*). — *Сост.*

и некоторой тенденции; проститутская практика Таньки, которой «везде было полно», связана с храмовыми праздниками, причем «всесветная и безответная, неистомная и беспардонная» красавица (86) получает себе и церковника; и тот говорит (83): «и аз аки людие». Словом, повесть совершенно невозможная для человека, в котором была бы хоть капля жалости к нравственному состоянию читателя.

И между тем этот грубейший цинизм, эта неслыханнейшая безнравственность поддерживалась не только теми, с которых нечего спрашивать литературных понятий, но она одобрялась и критикою — тою самою критикою, которая преследовала «клубничное настроение» Всеволода Крестовского. Но что же «Петербургские трущобы» г. Крестовского в сравнении с любым произведением из перечисленной нами более дюжины г. Погосского? Никакая Чуха, никакая Крыса «Трущоб» не могут идти и в сравнение с «Посестрою Танькою». Если нам скажут, что «общий вывод» в солдатской литературе имеет доброе направление, то допустим, что это так; но разве меньше добрых стремлений в «книге о сытых и голодных» г. Крестовского? Если скажут, что у Погосского все искупается его литературным мастерством и знанием быта, то не станем об этом спорить. Что за мастер г. Погосский, это видно, но видно и то, какой он знаток солдатского быта. Он изучил его — это правда, но только с какой стороны? Допустим, что у г. Погосского были самые добрые намерения и что в его рассказах есть одобрительный «общий вывод»; но... Это напоминает известное сравнение Гейне по поводу характера женщин различных наций. «Англичанка, — говорит он, — проста и питательна, как ростбиф ее национальной кухни; а француженка — вся в приправах; здесь дело не в мясе, а в соусах. И эти соусы, за которыми исчезла сама француженка, отвели ей очень невысокое место и заставили предпочитать ей в воспитательном смысле простую и здоровую, как ростбиф ее национальной кухни, англичанку». Так много может вредить соус, где его переложено, а в этом нет недостатка у г. Погосского, пикантными соусами которого мы питали душу нашего солдата целые двадцать лет кряду, начав это в самую значительную эпоху — эпоху переустройства военного быта и распространения в войсках наших грамотности! Мы никого не осуждаем, но спрашиваем: могло это благоприятствовать образова-

нию в наших солдатах вкуса к тому чтению, которым занимаются солдаты других христианских армий, на которые нам теперь указывают, находя тут вину представителей церкви? Нет; и тысячу раз нет. Эта литература, на которую наш солдат был направлен тотчас же по обучении его грамоте, не могла дать ничего, кроме потворства низким его страстям, и отвести его глаза от произведений, которые ведут к иному. Этот-то отвод глаз от доброго чтения, — смеем сказать с горестью, — едва ли и не был причиною того, что указанное чудовищное направление находило поддержку даже там, откуда ее всего менее надлежало ожидать... И что же: несмотря на все это, чем являет себя русский солдат в нынешнюю томительную войну? — тем же храбрым, терпеливым и сострадательным человеком, каким его давно знали! Какая богатая природа и какая превосходная заправка! Откуда же взялась последняя? Если солдата поили литературного отравою, то не вдохнуло ли в него все эти силы ораторское красноречие вождей? Не много, конечно, в нашей памяти новейших образцов этого красноречия, но кое-что из самого новейшего помним. В газетах была одна речь раненого генерала, где мы в десяти строках насчитали три раза слово «черт». «Черт меня возьми, черт тебя возьми, и черт все побирай». Другой генерал говорил: «Чего боитесь смерти: у меня есть дом в Петербурге и несколько тысяч дохода, а у вас ничего, кроме блох...» Черти да блохи... Едва ли и это могло дать солдату чувство христианского самопожертвования, и опять приходится искать: не вдохнула ли этого в него воспитавшая его церковь, и вдохнула так крепко, что этого ничто не могло до сих пор из него вырвать? Вот явления характерные и замечательные, которых не следовало бы упускать из виду тем, которые так чивы * на укоризны церкви за произведения, находимые в солдатских ранцах. Мы с горестью встречаем эти нападки, не потому, чтобы они были уже очень тяжелы и больны, но потому, что самое лучшее их объяснение — это непонимание дела. Но еще хуже, если в этом не столько непонимания, сколько намерения опять «отводить глаза» от настоящих причин зла, коренящихся в самом воздухе, которым дышит наш вертоград, дающий так много черто-

* Щедры. — *Сост.*

полоха и пустоцвета. Белые лилии не могут здесь расти, сколько бы их ни подсаживали.

Мы знаем, что в обществе теперь есть претензия: почему же в духовенстве нет таких самоотверженных людей, как достопочтенный пастор Дальтон [3], который трудится на войне и приносит раненым очень много пользы? Серьезная претензия, на которую, впрочем, отвечать очень легко. Пастор Дальтон делает прекрасное дело, потому что «его общество» дало ему средства делать это дело. Одною доброю волею и пастор Дальтон ничего бы не сделал. Но где такая русская община, которая снарядила подобным образом русского священника? Или их нет — таких добрых священников? Кто будет так нагл, чтобы утверждать это, тот скажет неправду. Если их и немного, то они все-таки есть, только может быть:

Этим соколам
Крылья связаны,
И пути-то им
Все завязаны... [4]

Но, к сожалению, этого словно не допускает направленское пристрастие, или, откровеннее сказать, «направленская ложь», которая и в новом своем настроении, совершенно по-старому, и лжет, и ползет, и бесится. Это не обещает ничего хорошего для страны, которой так нужна теперь самая нелицеприятная правда.

ПОДПОЛЬНЫЕ ПРОРОКИ

(Современное явление)

Пророк признаваем был за пророка, когда сбывалось слово того пророка.

Иерем., XXIII, 9

Опять знакомые, хотя и давно позабытые у нас явления: опять забормотали темные вещуны — и опять пророчествуют черноземные пророки.

Как и где?

Разумеется, в Москве, откуда идет все чудесное.

Кто же пророк и что его за пророчество?

О том, кто пророк, скажем несколько ниже, а о духе его пророчества не обинуясь отвечаем: оно политическое, возбуждающее Россию к вере в саму себя, в свои силы

и в свои судьбы на Востоке. Словом, это пророчество «победное».

Без всяких шуток: как бы кто ни посмотрел на пророчество, о котором я намерен рассказывать, оно, мне кажется, не может не иметь своей доли довольно серьезного политического значения.

Дело главным образом не в том, что пророк пророчествует, но важно: почему он пророчествует?

Такой взгляд необходим по отношению ко времени и к обстоятельствам.

Ни для кого не новость, что в обществе есть значительная доля людей, которые все нынешнее патриотическое возбуждение, или по крайней мере наибольшую его долю, приписывают частному «раздуванию». Этим людям кажется, что народная масса была бы совершенно безучастна к происходящим событиям и, если бы этого дела не «раздували» газеты, оно бы так преблагополучно и потухло.

«Новое время» в своем 307 № (5 января 1877 г.) не обинуясь констатирует этот факт, что такие люди есть; Ф. М. Достоевский в своем декабрьском «Дневнике писателя» говорит то же. Оспаривать этого нельзя, да и незачем.

Гораздо интереснее и полезнее дать читателям сколько-нибудь осязательное доказательство, что это не так — что патриотическое возбуждение отнюдь не держится газетным раздуванием, а что оно живет в самом народе, как явление самостоятельное и имеющее серьезное значение.

К сожалению, однако, такого доказательства до сих пор ни одна из проникнутых патриотическим духом газет представить не могла. Это и понятно: о значении адресов в этом смысле у нас с некоторых пор говорить не принято; а рассказов и сцен вроде тех, какие написаны некоторыми из наших беллетристов, в публике не считают за доказательство. Да и в самом деле, бог знает, можно ли за ними признать эту силу... Других же средств добыть и представить наглядные доказательства, как относится наш народ в своих чувствах к совершающимся событиям, при нынешних условиях нашей общественной жизни, нет.

Но по счастливому случаю я получил на сих днях нечто такое, что, мне кажется, должно быть признано веским доказательством большого и глубокого народного патриотического возбуждения в самой темной и закоренелой народной массе. Доказательством этого рода я имею

смелость считать только что вышедшую с секретного типографского станка книжечку «подпольной печати», носящую такое заглавие: «Пророческое предсказание о взятии Царя-града и о погибели турок».

Эта, лежащая передо мною книжечка напечатана в четвертку, на церковно-славянском языке и церковно-славянскими буквами, с киноварью и заставицами. В ней всего десять страниц — отпечатана она довольно опрятно, как все так называемые «подпольные» богослужебные книги московских секретных раскольнических типографий.

Содержание этой оригинальной книжки следующее:

На 1-й стр. заставица и заголовок.

«Предсказание о пленении Царя-града турками и паки о хотящем быти взятии русскими, ему же есть предзнаменованием сия настоящая война».

2-я стр. с оборотом занята надписанием «над гробом царя Константина», вслед за чем начинается перевод, или, лучше сказать, истолкование «сицевого подобия». Тут интересно следующее: «Исчадие (турецкое) царствует тонко и мало. Народ же русский вкупе со причастники всего победят и седмихолмик возьмут с прибытками, тогда же и воздвигнут войну междоусобную, ярящуюся даже до пятого часа. И глас с небесе возгласит трижды: стойте, стойте, стойте, со страхом и спеспешитеся много тщательне на десную страну, обряще мужа прирожденного, чудного и сильного, и юного, и крепкого и его же приемше, того имейте владыкою, любимец бо мой есть, и его приемше, той волю вашу исполнит. Переведено сие свидетельство из гранографа греческого языка, древнего письма, на русский».

На обороте 4-й стр. «Русский народ с первозданным Измаильтянина победит и седмихолмного восприимет сопред законными его, и того ради брань воздвигнут велику междоусобную и проклятую, даже и до девятыя годины».

На обор. 6-й: «Да разумевши окаянне (Магомете) пришедше бо российский род с преждесоздательными всего Измаильтян победят и седмихолмного приимут, с преждезаконными его и в нем воцарятся».

На обор. 7-й: «Се имахе махметане и басурмане вси праведны вины, их же род долговременно пребывает ва-

ша махмецка ересь на земли; но да ведаете, яко вскоре исчезнет».

Обор. 8-й: «О сих днесь пророчество имут у себя мурины и верят, яко полунощный некий самодержец святый град Иерусалим и все кесарство турское в державу свою мечем своим приимет. Полунощной же сей самодержец есть царь и великий князь московский. Сей бесерменскую, махметанскую скверную ересь и богопротивный закон истнит и потребит и погубит до конца. К сему еще или от Бога, или от демона, ты прокляте Махомете надхнен, сам пророчествовал еси, яко тысяща лет течию скверное твое учение имать пребывати. Но уже тысяща лет минула и с навершением и закон твой богопротивный и ересь скверная в мале времени погибнет. Но не требе усумневатися, приходит время еже атаманское господство падет, имут бо о сем и сами Турцы много временное волшебство на погибель свою и ожидают события его на всяко время от нас. Волшебство их оно, сими словесы по их языку писано <...>».

«Царь наш придет, поганого начальника царство возмет, и червленое яблоко приимше в свою силу подбиет, аще бы затем, до седми лет меч христианский противу его не восстал, тогда уже дванодесять лет будет созидати, винограды насаждати, ограды тверды ограждати, тада будет умножати. По двоюнадесять лету, яко яблоко червленое в державу его падет и изыдет христианский меч, и турка от всех стран обступивши на главу поразит и имя его погубит».

Затем «выход», в котором указаны источники, из коих составитель книжицы собрал свое «пророческое предсказание». Эти источники: «надгробное надписание» св. царя Константина; 2) книга Льва царя премудрого; 3) Степенная книга и 4) книга «Лебедь».

Достоверность этих источников и достоинство самого, составленного по ним московского «пророческого сказания» критической оценки не требуют. Очевидно, что сказанию этому название «пророческого» присвоено по меньшей мере преждевременно. Этот пророк может претендовать на признание его пророчества только тогда, если бы оно сбылось; но надо нечто прибавить к объяснению самой истории появления этой книжки.

«Пророческое сказание о гибели турок», по слухам, которые, кажется, должно считать вполне достоверными, составлено в самое недавнее время, в Москве. Состав-

лял его довольно известный начетчик беспоповщинского, филипповского толка. Где и кем напечатано, это, разумеется, неизвестно и, надо полагать, так и останется неизвестным «в полноту своего исторического времени». Но напечатано это «пророческое сказание» не по единоличному изволению составителя, а с благословления «старцев», прослушавших и одобривших это сказание общим советом на собрании, бывшем в Дурном переулке, «яко зело правдивейшее и к целям державы российской преполезное».

Еще замечательно, что все это сделано раскольниками именно того филиппова толка, который особенно упорен в своих правилах о «немолении за власти», что людям этого согласия и ставится в особую вину. Теперь этим, конечно, незаконным образом выраженным, но горячо патриотическим поступком люди эти доказывают, что их «немоление» есть просто последствие их чисто религиозных взглядов, но что граждански и политически они не менее, чем кто-либо, соревнуют силе и славе отечества и трона.

Затем предстоит оценить самый факт напечатания и выпуска этой книги.

Ни для кого, конечно, не составляет секрета, что у раскольников не переводятся ни свои «подпольные архиереи», ни свои «подпольные типографии». Произведения сих последних типографий тоже известны всем, и простолюдинам, которые держатся «старины», и многим литераторам и ученым, занимающимся расколом. Но в «подпольных» раскольничьих типографиях обыкновенно печатаются исключительно только богослужебные книги и «цветнички» или «изборнички», словом, одни религиозные книги.

Оберегая свою «подпольную печать», раскольники никогда не соглашаются рисковать ее спокойствием, печатая что бы то ни было нерелигиозное, а тем более с политическим оттенком, и... однако, на сей раз, после долгой и неизменной сдержанности, прорвались и выпустили «пророческое сказание», за которое, конечно, не могут ожидать себе никаких похвал и поощрений... Эти расчетливые и тонкие практические люди не глупы, чтобы не понимать, что они делают, и они, конечно, все это отлично понимают. И если, несмотря на все это, они все-таки выпустили свое возбудительное «пророческое сказание», то уже, разумеется, это не легкомыслие, не

фанфаронада, а живое, горячее, хотя и темное убеждение, что этим стоило рискнуть, ибо сие пророческое сказание есть «зело правдивейшее и к целям державы российской преполезное».

Не выдержали уста и от избытка чувств возглаголали!

Пусть кому как угодно кажется нелепым и смешным это мужичье «пророческое сказание». Об этом мы ни с кем спорить не станем — дело не в его разумности и основательности, а в силе и непосредственности вызвавших его побуждений. Простецы не совладели с потребностию сказать от себя соотчичам, что «не требе усомневатися еже атаманское господство падет». Так ли это или не так, но нельзя не оценить усилия этих простых людей, из самой темной массы, с большим для себя риском возгласивших во всеуслышание: «не требе усомневатися!»

В этом случае можно кстати припомнить слова поэта:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Слова эти здесь будут кстати. И что до нас лично, то не обязанные произносить никакого своего суждения об уместности приема, к которому обратились раскольники, дабы сказать свое «не требе усомневатися», мы не можем не поставить факта появления этой странной подпольной книжонки раскольничего издания в ряду самых веских доказательств, что нынешнее патриотическое возбуждение России не «вздувается» газетами, как это кажется многим, смотрящим с верхов, но оно поддерживается даже из мужичьего подполья... Оттуда, забывая страх тяжкой ответственности и кары, сами темные люди тычат набранный их заскорузлыми руками листок: «не требе усомневатися».

Мне кажется, что это, рассказанное мною, явление в нашей простонародной среде уже никак нельзя не считать за доказательство настоящего, неподдельного народного желания, чтобы Россия с «неусумненною» верою в себя шла теперь к законнейшим историческим целям своего призвания.

Не знаю: как это покажется тем «европействующим» и «жидовствующим», о которых говорит Ф. М. Достоевский; но... например, если бы узнал об этом лорд Дерби, который так язвительно отзывался об особенном «уст-

ройстве» наших заявлений, то он, вероятно, не отказался бы заметить для себя, что и у нас не все заявления «устрояются» одинаково.

6 января 1877 г.

О ТРУСОСТИ

(Письмо в редакцию)

Позвольте сказать несколько слов в успокоение людей, предающихся позорной трусости и оставляющих столицу в опасении гибели, повсюду пугающей их робкое воображение. К несчастию и досаде, их очень немало, и притом большинство их принадлежит к тому классу, который должен бы стараться другим дать пример спокойного благоразумия и гражданского мужества, столь необходимого при всяком общественном бедствии. Молчать об этом бесполезно, потому что об этом говорит весь народ и особенно те, которым бежать некуда и которые не только никуда не бегут, но и не обнаруживают позорного страха. Страх этот действует на многих безотчетно и эпидемически и становится заразительным. Под влиянием его в некоторых слоях общества беспрестанно слышатся бесстыжие речи трусости, которых не говорят в других слоях и которые там за стыд почли бы говорить. Про трусость эту слышат иностранцы — они ее даже видят, и конечно, она не остается секретом для Европы, которая будет иметь прекрасный случай издеваться над нашею повальною трусостию. Но дело в том, что она не повальная, и даже не русская, потому что ее обнаруживает та часть столичного общества, которая никогда не была вернейшей выразительницею русского духа и подчас едва справляется с русской речью. Она даже о своей робости болтает вздор на чужом языке.

Против эпидемий хороши все полезные меры, и между прочим — стыд. Известно, что когда в одном из городов южной Франции обнаружилось эпидемическое стремление женщин топиться, то муниципалитет города после многих мер объявил, что вперед он всех утопленниц будет выставлять в морге голыми — и это положило конец утопленничеству. Стоило бы, может быть, изобрести что-либо подобное и для наших трусов, да это, верно,

и изобретено: они непременно увидят себя где-нибудь во всей наготе объявленными с их заячьим духом. Иностранцы, перед которыми они выбалтывают свои страхи, не позабудут увековечить их болтовню в скандальных хрониках европейской печати. Но я, как русский человек, с своей стороны хочу попытаться урезонить этих робких людей одним примером, который может их несколько успокоить, а может быть, и несколько устыдить.

Назад тому столько лет, сколько прошло со времени последнего польского восстания, многие, поныне здравствующие люди получали так называемые смертные приговоры от революционного правительства, которое было не церемоннее нынешних террористов. Что делали, получая эти приговоры, лица служащие — этого я не знаю, но я знаю, что с ними делали литераторы, в числе которых я знаю трех человек, получивших такие приговоры. Один из них теперь в Москве, а двое здесь, в Петербурге, и в числе сих двух есть один, которого я знаю как сам себя. Они ничего не делали — ни бежали, ни жаловались, ни искали особой защиты, а жили, как живут ныне, и не переставали делать то, что делали до получения смертных приговоров. А все эти литературные люди были и неполномочны, и беззащитны, и совершенно открыты свирепой ненависти, возбужденной их образом мыслей. И никто из них не ставил да и поныне, конечно, не ставит себе этого ни за малейший подвиг.

Кроме этих трех, были, кажется, и другие в том же положении, и тоже об этом даже не говорили...

То же и о подметных письмах, которые теперь получаются. Конечно, между ними могут быть и действительные угрозы, но, может быть, тут имеет место и другое.

Беру это тоже с очень памятного для меня примера: я учился в орловской гимназии в то время, когда этот многострадальный город дотла выгорел. Пожары были по нескольку всякий день, и при этом самые ужасные. Подметные письма разбрасывались повсюду и в большом изобилии. Слабая губернская полиция сбилась с ног; аресты шли во множестве, поджигателей судили военным судом и наказывали страшно. Я помню, как на самом пожарище на Ильинской площади шесть человек секли шпицрутенами по 6000 ударов. Их возили на дровнях и били мертвых, когда трупы их представляли только одну черную массу. Губернатор князь Петр Иванович Трубецкой ездил вокруг верхом и кричал: «всем так

будет», а вечером опять загорались пожары и находили письма. Чьи дела были пожары, этого я не знаю, но с письмами помню непозволительные, но пресмешные вещи. Насмотревшись на все страхи ильинской казни, некоторые маленькие ученики гимназии, не особенно секретничая, строчили такие письма «злым» учителям, между которыми, разумеется, были люди совсем и не злые. Так, например, писали директору А. Я. Кронебергу и учителю немецкого языка В. А. Функендорфу «за то, что он линейкой дрался». Исполнения по этим письмам, конечно, не было, но если бы их авторы попались, то вряд ли бы им сдобровать. А что всего курьезнее, это дошло до того, что один из представителей одной из тогдашних орловских палат раз нашел у себя на письменном столе такое, угрожавшее поджогом, письмо, написанное без всякого изменения почерка швейцаркою, гувернанткою его детей, — очень доброю женщиною.

Удивленный этим поступком, чиновник пригласил гувернантку к себе в кабинет и говорит:

— Марья Крестьяновна! для чего это вы мне такое письмо написали?

Та вспыхнула, переконфузилась и зарыдала, а когда ее успокоили и привели в себя, она созналась, что ей «было очень скучно, и она хотела посмотреть, как все перепугаются».

— Ну, а руку-то вашу как же вы не подумали скрыть?

— Да, об этом, — говорит, — я не подумала.

Пожар ограничился тем, что это письмо сожгли на свечке.

И все это делалось, как я говорю, в самые тревожные минуты, когда всякая вина была виновата. Испуг и сумятица нужны людям злоумышляющим, но они же иногда возбуждают любопытство и других людей, ожидающих от своих непозволительных проделок того или другого эффекта. И чем более общество склонно доставлять такие эффекты, тем для него хуже. А какой еще эффект может быть более, чем эта паника, при которой во все звоны звонят об опасностях? И все это малодушие идет на глазах у детей и прислуги, которые видят ежеминутно робость старших... Неужто все это не стыд, не срам и не бесчестие?

В заключение еще об одном вопросе: «что же нам делать? Общество ничего не может сделать».

Неправда; общество может сделать то, что всего нужнее для успеха действий власти, поступившей нынче

в руки лица, внушающего всем честным людям большое доверие и уважение к его способностям. Что нам делать? Гоголь сказал в одном месте: «пусть всякий метет свой двор, и тогда города будут чисты». Надо мести свой двор, надо беречь свою семью не только от дрянных мыслей и намерений, привносимых в нее пустомысленными друзьями, но и от собственного нашего суемыслия, порождающего хаос в понятиях всех чад и домочадцев. В дрянном и бессильном настроении общества виновато само общество, и исцелиться от этого оно может только одним приемом соблюдения доброго настроения в своей семье. Общество более всего нуждается в оздоровлении его духа, и это зависит менее от власти, чем от нас самих.

СТАТЬИ 80-Х ГОДОВ

[ФИЛОСОФЕМЫ СПИРИТИЗМА]

Спорная область между двумя мирами. Наблюдения и изыскания в области медиумических явлений, с рисунками. Соч. Роберта Лель Оуэна, переводсанглийского.—Спб.—1881

Один наблюдательный и остроумный газетный фельетонист, назад тому несколько лет, заметил странную особенность спиритских книг в России: они появляются у нас всегда в такую пору, когда в обществе ощущается особенно тяжелое утомление тупою и мертвящею скукой. Это замечание нам кажется верным, и мы, ввиду появления новых книжек о вопросах, стоящих между небом и землею, готовы думать, что наше общество снова находится в области большой и очень сильной скуки. Это так и есть: хлеб нынешний год зародил, но все, не о хлебе едином сытые, — скучают безмерно. Но в силах ли спиритская литература сколько-нибудь облегчить скуку, или наоборот — не в состоянии ли она еще более усиливать ее несносную истому? И да, и нет.

Те спиритские книги, которые в дни особенной, усугубленной скуки выходят в России, — очень скучны, но это потому, что наша спиритская литература, в силу особых, местных условий, вынуждена все повторять зады. В них мы не встречаем почти ничего иного, кроме ре-стровки отрывочных проявлений и репортиц о каких-то «стуках» и «прикосновениях», порою к этому присовокупляется что-нибудь о видениях, являвшихся где-то, кому-то и когда-то; но все это вечно одно и то же и скучно, как немецкая песня о «Lieber Augustin», или русская «докучливая басенка» о Кутыле и Журавле, которые «накосили стожок сенца, поставили его посреди польца, и не сказать ли вам об этом опять с конца». Если при

описании явления духов иногда и бывают обозначены инициалы или даже полностью названы имена тех, кому открывались *явления*, — все это мало изменяет дело, ибо, как бы ни велико было число подобных рассказов, они всегда имеют то удивительное свойство, что поводы к сомнению в их реальности никогда не исчезают. Вечно в них дело начинается и кончается «за занавескою», или действующий дух ежится, как «стряпчий под столом». Притом описание всех этих явлений бывает всегда какое-то сухое, однообразное, лишенное всякого художественного впечатления, но зато с претензиями на научность, не имеющую, впрочем, ни законов, ни метода. Оттого читать спиритские книги, действительно, очень скучно. Господа спириты обыкновенно жалуются на презрительный тон «людей, преданных исключительно физическим изысканиям», и в самом деле такая презрительность не совсем понятна, ибо едва ли у ненавистников спиритизма есть основание утверждать, что вся суть вопроса о причине вещей находится в заведовании партизанов «силы и материи». Конечно, еще «есть вещи, которые не снились нашим мудрецам». Не более справедливы и другие противники спиритизма, которые утверждают, что спириты «дают одно безумие Богу».

Самый ревностный борец в этом последнем направлении, петербургский протоиерей Иван Полисадов [1], говорил о спиритах с кафедры и писал книжицы, которых ему, к большой его досаде, долго, бог весть почему, не дозволяли печатать. Но ни тем, ни другим способом о. Полисадов не обнаружил ни понимания предмета, ни умения спорить о мнениях с соблюдением вежливости и приличий, от которых умного человека, кажется, не должно бы освобождать даже и духовное звание. О. Полисадов относился к спиритам как к людям дурным и вредным, на что никто и нигде не жаловался. В числе спиритов, без всякого сомнения, есть люди известного ума, большой честности и настоящей образованности, шельмовать которых могут дозволить себе только ум необразованный и повадка нахальная. Когда заведомо честные и несомненно ученые люди открыто уверяют, что они сами слышали и видели нечто всеми относимое к «области внемировых явлений», то тут уже потребна не площадная брань и клеветы, сближающие спиритов даже с крамольниками, а при таких обстоятельствах, как бы они ни казались странными и невероятными, долг разума состо-

ит в том, чтобы суметь вникнуть в эти заявления, а не отделываться насмешкою или злословием, которые в деловом споре ничего не доказывают. Между тем, со спиритами обращаются именно таким образом, и благодаря тому за все время полемики выяснилось одно — что на стороне противников спиритизма материалистической фракции более литературной бойкости и таланта, чем у гг. спиритистов, а у противников другого сорта — вся сила в непобедимом «авторитетном» невежестве. Следить за такою борьбою, которая, с одной стороны, ведется средствами чрезвычайно слабыми, а с другой — слишком неразборчивыми и подчас пошлыми, конечно, нимало не занимательно, но помочь делу выплыть на более чистую воду едва ли возможно. Во-первых, этому всего более противятся сами духи, которым проявить себя как будто «и хочется, и колется». По-видимому, иначе им и быть нельзя. Нынешняя спиритская книга не только этого не скрывает, но она заявляет, что именно такова природа духов, или, лучше сказать, таковы условия, в которых духи себя чувствуют среди нашей земной природы. Против этого, конечно, можно бы возразить многое из других примеров, выставленных теми же спиритами, но comparaison n'est pas raison *, и споры этого рода в конце концов всегда будут бесполезною тратою времени, которое стоит поберечь даже среди скуки. Пусть подстольные стряпчие спиритизма изловчаются, и когда их шнурок станет менее короток, так что кого-нибудь из них можно будет показать, устранив все сомнения, что это дух, т. е. «житель внемировой области», тогда можно будет поинтересоваться этим, а теперь достойно обратить внимание на ту сторону спиритизма, которая у нас обыкновенно «пускается в нетех», между тем как она-то и способна дать повод к очень интересному обмену мыслей.

У спиритизма есть его собственные философемы, которых полою рясы о. Полисадова не прикроешь. Их навсегда утаить от людей невозможно, тем более что по ту сторону нашей западной границы давно никто не заботится делать из этого какое бы то ни было подобие тайны. Философемы спиритизма нимало не касаются политики, но они делают огромной величины вопросительные знаки «призванным» знатокам и толковникам библии,

* Уподобление не довод (*фр.*). — *Сост.*

что при нынешнем возбуждении религиозных вопросов очень важно и очень интересно. Это и есть та другая сторона, которою медаль у нас в России до сих пор лежит плотно прижатою к столу. Книга Роберта Дель Оуэна в полном ее английском оригинале интересна именно этою философскою своею частью, которой в русском переводе нет. Вот почему она была прочтена в Англии с любопытством и с удовольствием людьми образованными, которых не может не занимать всякая, более или менее серьезная попытка новой критики о старых, но до сих пор не уясненных материях.

К области заповедного, до чего русский перевод не договаривается, находим в нем только подходы: притаившиеся, например, в эпиграфе гл. II, *«И увидела ослица ангела* Господня, стоящего на пути» (Числ. XXII, 23). Гл. о проявлении тайных деятелей в движении веских тел: «И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал (Елисею): «ах, господин мой!», а топор взят был на подержание. И сказал человек Божий: — Где он упал? — Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор». (IV Цар. VI, 4—6.). Или в главе III о возможности письма рукою духа. «В тот самый час вошли персты руки человеческой, и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала». (Кн. пророка Даниила, V, 5.). Такие напоминания в книге Оуэна встречаются нередко, и конечно, они сделаны для убеждения неверующих посредством наведений из библии, что вещи невероятные возможны и не опровергаются авторитетом св. писания. В этом, бесспорно, есть почва для объяснений очень живых и любопытных, причем и о. Иван Полисадов, если у него есть запас знаний, которых он до сих пор не обнаружил, — мог бы с пользою для истины их обнаружить. Он мог бы доказать, что там, где Крукс [2] и Гегинс [3], Вагнер [4], Бутлеров [5] и Александр Аксаков [6] предполагают участие каких-то достойных изучения сил, просто-напросто есть одно бесовское наваждение, против которого лучше всего действует кропило. Но все, что может прямо поставить этот вопрос и сделать его доступным для обсуждения, у нас, к сожалению, устраняется. Заботам об уничтожении спиритизма в России это, разумеется, не помогает, потому что передовые люди культа читают на тех языках, на

которых писать об этом не сочтено опасным, а прочим, людям более простым, духи непосредственно «выстукивают» бесцензурным способом такие философемы, которые самое смелое перо едва ли решилось бы передать бумаге.

В заключение отметим один не лишенный интереса факт о лице, которое имеет место в истории как превосходный гуманист и добросовестный применитель на практике чисто социалистических (не революционных) теорий в Нью-Ленарке. Мы говорим о Роберте Оуэне, которым редко кто из нас — молодежи сороковых годов — не вдохновлялся до упоения. Получая о нем контрабандные известия, преимущественно по изданиям А. И. Герцена, большинство молодых людей нашего времени считали Роберта Оуэна, с одной стороны, «неисправимым социалистом», а с другой — поклонником, культа богинь «Цереры, Помоны и сродников их»; но каково же должно быть удивление многих, когда в книге сына покойного учредителя Нью-Ленарка находим, что Роберт Оуэн «последние семь или восемь лет своей жизни непоколебимо верил в спиритуализм и до последнего часа говорил о будущей жизни с такою ясною уверенностью, точно о каком-нибудь земном событии, скорого наступления которого ожидаешь» (106). Читая такое известие, поневоле скажешь, что ведь, вероятно же, в этом учении или в этом культе — есть что-нибудь кроме пустяков и нелепостей! И сдается, что в нем, в самом деле, как будто есть какая-то убеждающая сила, но какая же именно? Вот это-то и хотелось бы знать, да конечно и можно бы знать, если бы не боязнь, что пойдет какой-то говор и застанет по обыкновению «не вприготове» тех, кому надо бы «быть всегда готовым давать ответы».

К этому прибавим еще одну заметочку историко-анекдотического свойства. Известно, что покойный государь Николай Павлович, в бытность свою в Лондоне, виделся со знаменитым социалистом, посетив его в его собственном доме, и что Роберт Оуэн при этом «представил государю своего сына», а государь будто сказал: «Какой молодец! и какой бы из него вышел превосходный гвардеец!» Тот гвардеец и нынешний спирит — очевидно, одно и то же лицо, потому что, как помнится, у Роберта Оуэна был только один сын.

Вот какие бывают обороты!

ПОЖАРЫ

Только что настает лето, а уж сердце сжимается от ужаса. Чуть не всякий новый день приносит новую весть о пожаре. Горят целые кварталы, горят села, деревни, дачи, выгорают города. Недавно горел Тамбов, погорел Ораниенбаум, вчера горело в Шувалове, сегодня получено известие о страшном пожаре в Ковно. Но что же мы делаем в виду этой грозной, хотя и привычной нам беды? Ответ краток: да ровно ничего. Мы имеем похвальную привычку все забывать, ничему не научаться и во всем уповать на начальство. При этом у нас слово не только не вяжется с делом, но и зачастую является единственным выражением нашей деятельности. Мы — как евангельские фарисеи — «глаголем, но не творим» и при этом готовы весьма наивно удивляться и сетовать, отчего-де это дело не делается само собою, «по щучьему велению». За примером ходить далеко не следует — таковые к вашим услугам на каждом шагу. Кто из вас не слыхивал, например, жалоб наших граждан на невозможность существования, вследствие тяготения на всех наших деяниях тяжкого гнета полицейской опеки, мешающей нам якобы жить и действовать, а между тем, едва нам представится случай выказать какую-нибудь деятельность, мы тотчас же готовы, только ради того, чтобы не покидать своего dolce far niente *, сами призвать на себя всевозможные виды опек и начальств — лишь бы самим не пришлось, боже сохрани, чего-нибудь сделать. В этом случае и страх на нас действует, только заставляя нас плакаться и взывать о помощи, но отнюдь не делать дело, которого мы боимся больше и пуще всего на свете. Поучительный пример такого хронического отвращения от всякого дела представляют злополучные обыватели погоревшего на днях Ораниенбаума.

Допустим, что до сих пор эти почтенные граждане и не подозревали ни того, что может случиться пожар у них, ни того даже, что пожар вещь вообще очень нехорошая, от которой следует себя всячески охранять. Но вот судьба судила и им познакомиться с проказами всероссийского «красного петуха». И что же? Какой-нибудь там немец или иной сын «гнилого запада» засуетился бы и стал ломать себе голову: как бы на будущее время

* Сладкое безделье (*ит.*). — *Сост.*

отвратить от себя такую беду? Нам же никакой головоломки, как известно, не полагается, а потому ораниенбаумские (и кстати, некоторых других дачных окрестностей) граждане решили пожарный вопрос очень просто: взяли и обратились в Петербург к кому следует с такою приблизительно просьбой: «Так как мы, мол, погорели, а впредь гореть не желаем, то и снабдите нас своей пожарной командой, хотя на лето; благо к тому же наедут к нам ваши же дачники». — Отписали в таком роде и, полагать надобно, успокоились. — «Мы-де свое дело сделали, а там как себе знаете — сгорим, так вам же грех будет». — Это ли еще, скажите, не «святая простота»? Это ли еще не бесконечное упование на начальственную опеку и покровительство? — И притом, да радуются наши народники-самобытники, ни малейшего поползновения подражать какому-нибудь европейскому «новшеству». Даже на мысль ни одному из благодушных дачевладельцев не пришло прибегнуть к образованию какого-нибудь «вольного пожарного общества» или хотя бы сделать складчину и приобретение какого ни на есть снаряда, придуманного немцами для борьбы с огнем, — все это вздор, ничего не нужно; есть, мол, у нас начальство, оно обязано об нас пещись и заботиться.

Но, отдавая полную справедливость народности, самобытности, начальстволюбию и иным доблестям ораниенбаумских граждан, мы все-таки позволим себе спросить их. — Если, к примеру, с такой же просьбой обратятся в Петербург обыватели и других окрестных местностей, переполняемых в летнее время дачниками-петербуржцами, и петербургское начальство внемлет их просьбам и снабдит на лето частями своей пожарной команды, что станет тогда с самим Петербургом и теми из его обывателей, которые лишены возможности проводить лето in's Grüne *? — Мы смеем думать, что во-первых, петербургской пожарной команды не хватит и на половину всех его окрестностей; а во-вторых, и главное, что и сам он находится далеко не в таких благоприятных пожарных условиях, чтобы заботы его о себе самом представились излишней роскошью. — Отсюда следует, что обитатели старого «Тамбова» сделают очень разумно, если возьмут на самих себя заботу о своей собственной безопасности.

* На лоне природы (*нем.*). — *Сост.*

POSTE RESTANTE *

(Письмо в редакцию)

Все, конечно, знают, что такое письма poste restante, т. е. письма, адресованные на известное имя с надписью «удержать до требования». Цель таких писем — доставить возможность получения корреспонденции людям, которые в данную минуту не могут указать своего адреса. Такого рода письма особенно нужны для лиц, которые путешествуют и которым пишут на места, расположенные по их предполагаемому маршруту. За границею это практикуется очень широко и притом очень просто и удобно. Останавливаешься в городе на один час, идешь в почтовое учреждение, справляешься, нет ли письма, подаешь карточку, и по ней тотчас же делают справку, и если письмо есть — его вам выдают, а если нет, то так и отвечают, что писем нет. Затем путник спокойно едет далее, надеясь встретить свою корреспонденцию в другом пункте своего маршрута.

Не так у нас.

На сих днях был здесь в Петербурге проездом из Москвы в Варшаву мой старый товарищ, инспектор калишской гимназии, Н. А. Сотничевский, назначивший свою корреспонденцию poste restante в Петербург.

Остановился он в «Европейской гостинице», где у него по существующим правилам тотчас же взяли для прописки его отпускной билет от калишской дирекции, а затем мы с ним оба отправились в с.-петербургский почтамт получить ожидаемые им письма с надписью «до требования». Но г. Сотничевскому писем не выдали без предъявления им паспорта. А когда мы сказали, что паспорт взят в полицию и мы можем предъявить только наши карточки, то нам сказали, что «это ничего не значит». На просьбу выдать письма под расписку отвечали таким же отказом. Тогда г. Сотничевский решился остаться на один лишний день в Петербурге с тем, чтобы завтра явиться с паспортом; но дабы не сделать всего этого даром, без нужды, он просил только сказать ему: есть ли на его имя письма? Но и в этом ему было отказано. Равно было отказано и в просьбе его переслать письма, ему адресованные,

* До востребования (*фр.*). — *Сост.*

мне, здешнему старожилу, на дом или в министерство народного просвещения экзекутору.

Тогда пришлось бросить всякую надежду не только получить самые письма, но даже получить известие: есть они или их нет?

Так он и уехал.

Нам, однако, было сказано, что «на это есть такие правила», а так как эти правила не значатся в местных законах и так как правила эти неудобны и чрезвычайно стеснительны, то позволительно желать, чтобы об них было объявлено во всеобщее сведение. А может быть, почтовое ведомство признает возможным и облегчить что-нибудь из этих суровых правил, обязывающих хлопотать о выручке своего паспорта единственно для того, чтобы только узнать: есть ли письма или нет?.. Может быть, возможно, чтобы лицу без паспорта, справляющемуся о корреспонденции, по крайней мере отвечали: получена ли для него какая-нибудь корреспонденция или ее нет? От этого, кажется, не может быть никакой беды, а между тем для людей, желающих иметь известия во время путешествий, это предоставило бы большие удобства, удовлетворение которых было бы справедливо и вполне желательно.

В былые годы почтовый департамент был известен своим вниманием к заявлениям публики. Может быть, он и теперь последует своему доброму старому обычаю и сделает что-нибудь в разъяснение или в обеспечение существующих неудобных «правил» с poste restante. Это, конечно, будет встречено с большим сочувствием очень многими, потому что случай, мною рассказываемый, далеко не единичен и порядки эти чрезвычайно раздражают и русских, к стеснениям привычных, и особенно иностранцев, к тому не привычных.

О ПОХОРОНАХ РАСКОЛЬНИЦЫ

(Письмо в редакцию)

Русские староверы не любят, когда о них и особенно об их молениях подаются публике сведения ошибочные и неверные. Тихих и благочестивых людей между ними такие вести исполняют тревог и беспокойства. Хуже всего для них, когда в печати указывают, что «раскольники

произвели оказательство, да еще при этом назовут это «оказательство» обрядами какой-то новой будто секты. В таковых случаях не участвующие в знании церковной истории полицейские власти приходят в возбуждение, которое с их стороны весьма понятно, но для староверов — беспокойно.

К подобной напрасной суете могло подать (и уже подало) повод известие о выносе тела купчихи Щедриной, напечатанное в «Новом Времени», № 2480. Заметка об этом, озаглавленная «Старообрядческие похороны», надо полагать, написана лицом, несколько мало знакомым с русскою церковною историей вообще и с так называемым «старым обрядом» в особенности. А как через его неосторожность получилось известие весьма неудобного для скромных богомольцев содержания, то это известие надо поправить для спокойствия многих.

Полагаю, что «Новое Время», не делающее различия в отношении справедливости к русским людям старого и нового обряда, дозволит мне сделать упоминаемую поправку.

1) В заметке сказано, что покойница Щедрина «принадлежала к Дмитриевскому толку, молельня которого находится в Болотной улице».

Никакого «Дмитриевского толка» в русском расколе нет. Речь идет о простых, давно известных церковной истории и правительству Филипповцах, т. е. последователях «Филиппова согласия», которые давно имеют моленную в доме Дмитриева (покойного) в Коломенской улице. Моленная эта имеет свою историю, о которой много раз упоминалось и в книгах, и в газетах (напр., «Русь» — мой рассказ об «Обнищеванцах»). Автор заметки, вероятно, принял «дом» Дмитриева за толк Дмитриева — что составляет большую разницу и, как я сказал, ведет многих к напрасному беспокойству.

Покойная Щедрина и погребавшие ее были, конечно, простые, давно известные Филипповцы или Филиппоны, из дома Дмитриева.

Нового в сектантском смысле здесь нет и иоты.

2) Все они были одеты в длинные сибирки, через плечо которых у каждого из старцев была накинута какого-то «особого покроя полутальма».

Все «старики» или «батьки» во всем беспоповщинском расколе (к которому принадлежат, между

прочим, и филипповцы), за неимением попов, исполняют то, что «по нужде» дозволено и «простецу», т. е. они крестят, исповедуют, молебствуют и поют погребения — читают сорокоусты. Все это им не возбранено и практикуется у них исстари и постоянно.

Старики в расколе носят длинные (не сибирки) а «рабские азямы», вроде подрясника «с тремя сборочками на кострецe». Так одевается всякий «правильный старик», и это тоже не возбранено. «Полутальмы» — это, конечно, «кафтырьки», которые старики надевают при моленьи, потому что многие из них отреклись от мира и считают себя иноками, «келиотами». (Такие старцы Филиппова согласия живут «в малых келейках», приткнутых по задворкам дома Дмитриева.) Иноки же старого обряда всегда носили кафтыри, и «особый покрой этих полутальм» всякий может видеть сейчас на любопытной картине Перова «Никита Пустосвят». Выходить в таком уборе на улицы «келиотам» древнего благочестия недозволено, ибо это есть уже «оказательство», но у себя дома и у своих единоверцев, без «публичного оказательства», староверческие иноки беспрепятственно носят такое платье, которое отвечает их вкусу и их душевному настроению.

3) «Идеши душе в рай» и «учини ее в раи» — это слова известных песнопений, в которых я не знаю даже что может остановить особенное внимание. Очевидно, филипповские старцы пели то, что указано петь «по старому Потребнику».

4) Кадильницу старый простец (по мнению отметчика «настоятель») держал «за ручку», потому что он и не мог ее держать ни за что другое. Кадила «на цепях», какие употребляются в наших храмах, и у староверов поповщинских могут быть только «в руке освященных (которая, по мнению раскола, «рассыпалась»), а не в руке «простеца». Это не новшество, а просто скромность.

5) При выносе «настоятель надел на голову женский платок»... Не знаю, о ком идет речь, но не сомневаюсь, что это был, вероятно, лысый старик, который боялся простудиться, так как теперь зима, а хорошие русские богочтители провожают своих покойников «с непокровенною головою», ибо покойника, по обычаю, надо несть «в преднесении креста». Так и иереи, и дьяконы церковные повязывались да и теперь еще в селах и городках часто повязываются, «чтобы не простудить голову и не

знобить уши». Это совсем не обряд, а житейская необходимость. Чтобы устранить это повязывание, священникам и дьяконам теперь дозволено уже надевать при проводах «скуфейки», но у кого нет скуфейки, тот еще и теперь повязывается. Нарочитого же, обрядового устава повязывать «настоятелей» бабьими платками нет ни в одном из самых нелепейших толков русского раскола.

6) Настоятель (?!), «подвязал салфетку и, приложив к груди образ Спасителя, двинулся». Икону нести впереди гроба — есть старый русский обычай, не только терпимый, но и дозволенный и постоянно практикуемый. Нести же образ не просто на носильном платье, а «на чистом убрусе» принято во всей России, и это соблюдается всеми русскими чтителями обычая отеческого. Худого здесь нет ничего. Точно так же и с невестою, которую везут в церковь к венцу, берут дитя с образом, под который «подвязывают» кусок новой, чистой материи. Это — просто почтение к иконе.

и 7) Провожавшие «пели гнусливо упокой, упокой». Это, конечно, пожалуй, может быть сочтено некоторыми «оказательством», но, по-видимому, такое оказательство считается безвредным. И мы, писатели, и студенты тоже ведь не клирошане, а, однако, провожая Достоевского и Некрасова, мы пели «Святый Боже» и «Со святыми упокой», — причем, может быть, иные из нас и «гнусили», но все это нам в осуждение не поставлено. Всякий поет богу своему так, как умеет, и может желать петь ему «дондеже есть».

Словом, во всем описанном в заметке о погребении Щедриной нет ровно ничего, что ново и не в русском обычае, или что указывает на какой-то «Дмитриевский толк», которого не существует. А потому, надеюсь, вы поспешите дать возможность разъяснить это, чтобы не плодить напрасных вестей о новшествах в нашем и без того многоветвистом расчленении, а с тем вместе и успокоить простых людей, которые сами никого не беспокоят.

МОГИЛЬНЫЕ КРЫСЫ
(К одному из социальных вопросов)

Известное мне семейство постигло домашнее горе: молодые супруги потеряли семилетнюю дочь, прекрасную собою и нежно ими любимую. За ребенком был самый тщательный досмотр и самая разумная бережь, и однако

дитя заболело простудой; ее лечили самые лучшие специалисты по детским болезням, и однако дитя умерло. Случай весьма обыкновенный. Потом, разумеется, ребенку сделали «щегольский» гробик у Изотова и похоронили на одном из кладбищ, в фамильном склепе. Отец и мать были удручены своею потерею, и многие из друзей тоже плакали, потому что усопшее дитя было действительно прекрасно. Притом же по самому своему рождению дитя это было так хорошо поставлено, что путь жизни пред ним расстилался прямой, ровный и бархатный. Тут бы, думалось, только жить, и между тем ее нет, а перед нами снуют и жалобно канючат таких же, как и покойница, лет оборванные кладбищенские нищенки, — все они в лохмотьях, все, несмотря на стужу, босые, неумытые и нечесаные, все скребутся ногтями, точно неаполитанцы. И их не берет ни дифтерит, ни скарлатина, ни коклюш, к ним никто не покусится звать ни г. Быстрова, ни г. Коровина[1], и однако они не только живы, но и здоровы без всякой гигиены и терапии. Секрет их благополучного существования заключается, вероятно, в удивительной приспособительности человеческой натуры.

Но это не все, что вы видите.

Мать, потерявшая ребенка, будучи окружена упомянутыми оборвышами, остановилась, чтобы оделить их деньгами. Они все — девчонки и мальчики — тянули свои ручонки, все они друг друга отпихивали, спорили и, ничем не хуже взрослых, ловко и смело клеветали друг на друга. Беспрестанно слышалось: «Не давай ей, барыня, подай мне, — она воровка». Порицаемая отвечала: «Врет она, барыня, она сама крадет». Но что всего более удивляло — это общее нападение на одну маленькую девочку (5 лет), о которой ее соперницы все в одно слово выкликали, что «она пьяница». Как пьяница? Может ли быть пьяница пяти лет от роду? Это и маловероятно, и ужасно! Такого несчастного ребенка, конечно, надо постараться взять и спасти, пока страсть в нем не окрепла. И молодая мать, схоронившая здесь свою дочь, именно и пожелала это сделать в память умершей. Оставалось узнать: действительно ли упомянутая пятилетняя нищенка пьянствует и кто имеет на нее родительские права? Справка была сделана точная и аккуратная, и по ней оказалось следующее: девочка действительно имеет от роду 5 лет, и она действительно пьянствует, т. е. любит напиваться простою кабацкою вод-

кою допьяна. Кто же покупает для нее вино? Кабатчики не имеют права отпускать вина малолетним. Они, быть может, и не отпускают, но для той же пятилетней пьяницы, о которой идет речь, покупает вино ее родная мать, и они ее вместе пьют. Удивительно, что водка ребенку нравится! «Это хорошо... вкусно», — говорила она, когда ее расспрашивали. Кто же ее мать? Такая же нищая, только из возрастной труппы. Эти являются «с руками» при погребении взрослых; дети же напускаются специально при погребении детей, так как они более трогают понесших утрату. Где же родятся эти дети? Отвечают: здесь же, в нищенских притонах при кладбищах. Здесь они зачинаются, здесь рождаются и здесь вырастают. И здесь же, среди могил, они сами начинают... свое довременное растление... Эту породу зовут «могильные крысы»... Они пьют с детства, и не пить им, говорят, будто бы нельзя, потому что могильные крысы «работают на холоду и на сырости». Отцов у «могильных крыс» нет (т. е. отцы их им неизвестны), но матерей своих крысы знают и составляют их собственность, и при том — собственность, очень прочно охраняемую законом. По крайней мере никакие усилия взять в честный дом на воспитание пятилетнюю пьяницу не повели ни к чему; мать не пошла даже на сделку, а прямо и откровенно сказала: «Она мне в год больше напросит».

Я не казуист и не законник, я не знаю, как бы следовало поступить в таких случаях по лучшей справедливости, но я чувствую, что могильные крысы властны заставить каждое сострадательное сердце скорбеть и желать каких-то более человеколюбивых понятий о праве.

ПАГУБНИКИ

Посвящается друзьям беспомощного детства

Горе миру от соблазнов, обоче горе человеку тому, им же соблазн приходит.

Мф., XVIII, 7

В этом очерке я буду говорить о предмете, который считают щекотливым, но речь моя будет так скромна и сдержанна, что не оскорбит ничем чувства людей нравственных, к которым я пишу эти строки, прося их о внима-

нии и о помощи существам, требующим сострадания.

Нынче у нас, как и в чужих краях, многие сильно заняты заботою о том, чтобы уменьшить сколько можно число несчастных молодых девушек, идущих дурною дорогою. Об этом много пишут, говорят, и кажется — кое-что делают. Надежнее многих иных забот в этом роде мне представляются заботы той благородной шведской дамы, которая приезжала в Петербург летом 1885 года. Она была здесь с целью сгруппировать в нашей столице добрых людей, способных чувствовать живое сострадание к молодым девушкам, испытывающим на чужбине тягость беспомощного положения, подвергающего их опасности терять себя в непосильной борьбе с обстоятельствами. Поиски людей, готовых прийти на помощь девушке, когда она изнемогает в борьбе и ей угрожает падение, кажется, удались шведской д а м е, — по крайней мере они удались ей хотя в известной мере, но все это касается одних шведок...

Даму, о которой мы говорим, несправедливо было бы обвинять в национальной узкости: всякому простительно прежде всего позаботиться о своих, а потом, если есть возможность, и о других. Иначе можно разбросаться силами и не достичь ничего. Этому уроку и мы желаем последовать.

Я не филантроп, не имею возможности быть филантропом и не верю в пользу филантропических затей, которых видел много; но вопросы, интересующие общество в данное время, интересуют отчасти и меня, а что мне интересно, то я люблю уяснить себе не с чужого голоса. С этой целью я собрал и напечатал в одном из наших исторических журналов несколько исторических сведений о том, как у нас ранее сего собирались уничтожить публичную пагубу у девушек и как этим ничего для пользы их не достигли [1]. Но, помимо частного исторического материала, с которым я имел дело в журнале историческом, мне попалось в руки еще нечто достойное внимания читателей семейного журнала, так как добрая семья может принести величайшую пользу всем, кто приходит с нею в какое бы то ни было соприкосновение. Я имею те же убеждения, как упомянутая мною шведская дама, т. е. что спасать девушек от худого пути надо ранее, чем пагуба их совершилась. А потому меня особенно интересовало: как доходят самые молоденькие девушки до п е р в о й с т у п е н и лестницы, приводящей их в дальнейшем на самое дно мрачной ямы? И вот что сильнее поразило меня: это родственные

письма, адресуемые из деревень к проживающим в Петербурге молоденьким девочкам, находящимся в услужении или в учении. Письма эти присылаются обыкновенно ближайшими родственниками детей и наичаще даже прямо родителями, и потому, казалось бы, тут ли быть какому-нибудь злу или соблазну, а между тем тут-то именно и есть и зло, и соблазн. Я собирал (выпрашивал и покупал) этакие родственные письма и почти во всех из них всегда находил одну очень странную, как бы сказать — народную черту: родственную жадность, сколько бессердечную, столько же и безрасчетную. К девочке, находящейся в услужении или даже в учении (а особенно в услужении), пока ей идет год одиннадцатый, двенадцатый, «посылают деревенского гостинца», а у ней осведомляются: «нет ли у тебя кофию и сахару». Хозяева или лавочник, у которого забирают для дома, дарит девочке фунт кофе, и она его посылает с детской радостью. Это — начало. Дома «кофий» пьют и шутят: «пропили Саньку». Но чуть девочка подрастает (лет с 14-ти) — ей начинают уже кроме кофе напоминать, что «дома трудно» и что «нельзя ли тебе самой достать где-нибудь хоть на пашпорт» («кофий» пойдет уже на всю жизнь). Впрочем, рядом с первым требованием денег сейчас же следует и строгое наставление: «веди себя честно». Девочка жалеет родных, плачет и где-то раздобывается деньжонками и посылает их на паспорт. Дома как будто только и ждали этой податливости. Сейчас же изменяется тон упоминаний о присылке денег — он становится настойчивым и переходит в требовательность, в которой уже слышна уверенность, что девочка может достать и прислать денег. Притом ее ставят всегда в неловкое положение со стороны деликатности, а деревенские дети очень отзывчивы ко всему, что им напоминает родную семью и ласку. Родители пишут, например, девочке следующее: «едет твоя тетка Маремьяна, и мы посылаем тебе с нею деревенских гостинцев, орешков домашнего собирания. А ты с ней пришли нам в оборот домой кофию и чаю, и сахару, и денег, десять рублей, или сколько можно побольше, и веди себя честно».

«Веди себя честно» — это как припев, который идет вслед за каждым куплетом о том, что просят «прислать». Тетка приносит мешочек лесных орехов и стоит на кухне — что называется «над душой», пока не выканючит у девочки и кофий, и чай, и сахар, и еще 5—6 рублей, которые та

со слезами выпросит у хозяев, в счет жалованья, получаемого в размере 3-х или 4-х рублей в месяц. А пока девочка отслужит эти деньги — из деревни жалует уже опять новое родственное лицо, и снова с копеечными деревенскими гостинцами и с жадною просьбою «послать кофию и чаю, и денег, и вести себя честно».

Многие хозяева, имеющие в услужении молодых подростков-девочек, очень хорошо знают это жадничанье и заступаются за обираемых детей — хозяева представляют родным резоны, что «девочке самой надо обуться-одеться», но это не помогает. Им отвечают: «а как же родным быть, — они ее вспоили-вскормили, и теперь сами при старости». Девочка слушает эти пререкания и плачет. Она хотя и знает, что хозяева правы и говорят дело, но все-таки выпрашивает что-нибудь «до заслуги» и посылает и кофию, и чаю, и денег. Иногда эти деньги идут действительно на домашние надобности, а иногда расходуются здесь же, в Питере на пропой... Решительного и твердого характера хозяева порою отказывают в этих жадных поборах, но это делу не помогает. Из дома от родителей девочки приходит письмо: «от этих хозяев сойди — тетка тебе приищет лучшее место». Является какая-то присыльная тетка. Это почти всегда бывает бойкая, на все искусившаяся в городе бабенка, которая сейчас готова что хотите устроить. Она уводит девочку от честных хозяев, и «ставит» ее по своему усмотрению, основанному всего чаще на очень низких соображениях и расчетах. После теткиного устройства девочка начинает присылать деньги легче. Родители рады — приемлют, благодарят и повторяют увещевание: «веди себя честно». Это они считают за добродетельную формальность... И девочка скоро тоже начинает относиться к этому только с формальной стороны. Она знает, что достать столько денег, сколько родные у нее просят, и при том «вести себя честно» — нельзя. У нее в голове сложился простой вывод, что родители ее — не малолетки и что они без сомнения знают и понимают, как молодая девушка может получать деньги более того, что она может заработать. Отсюда другой вывод: «стало быть, они не гнушаются тем, как она добыла деньги, а даже как бы «благословляют» ее на это. Только «присылай». Это нужно. «Я посылаю вам, — писала одна девочка, — а вы, родители, — вы за меня богу отмолите»...

Бога она еще боится, но религии, в смысле правил жизни, у нее нет.

Что же касается слов насчет «честного поведения» — то это одна старая погудка...

Девочка пошла доставать и посылать все более и более. Но недолго она будет посылать: скоро, даже чересчур скоро неправильная жизнь притупит в ней все те нежные чувства, которым она повиновалась, отсылая в семью все, что могла добыть. В душе несчастной развивается суетная страсть к нарядам и глухое, но очень понятное негодование на домашнее попрошайничество. Одно воспоминание об этой родственной жадности, которая навела девочку на первую мысль о том, чтобы разнообразить свои средства к добыче денег, — как ножом колет ее в сердце; девочка раздражается, сердится на родных, которых она ранее нежно любила, и вдруг, совсем неожиданно для самой себя, перестает их любить. Это большею частью случается с досады и быстро внедряется в сердце, где нет ни религии, ни других руководящих правил, а все держалось на одном чувстве. Родительская жадность оскорбила чувство — и оно сразу выпадает, как цветной глазок из перстня. Глядеть больше не на что — надо все колечко снять и бросить куда-нибудь в запамятный ящик.

Иногда бывает даже и так, что девочки очень нежные начинают ненавидеть своих родителей, а над заветом их «вести себя честно» дерзко и нагло смеяться... Известна ведь сложенная на эту тему поговорка: «невинность соблюсти и капитал приобрести — невозможно». Так молодая девушка навсегда пропала для семьи и для себя, и весь небольшой доход, не в пору рано с нее начатый, — рано же кончается. Вместо того, чтобы долго быть полезною по мере сил своему семейству, — девушка бросает и думать о родных, а часто и знать их не хочет. Это довременно погибшее дитя теперь напоминает собою зеленый недозрелый плод, который сорвала варварская, бесхозяйственная рука. Наступает время, что о ней надо плакать, о ней надо жалеть, и вот родители пишут ей: «мы наслышались, как ты живешь и не по званию ходишь, но мы тебя так не благословляли, а всегда тебя учили: веди себя честно. И нынче тебя в том же благословляем и просим пришли нам кофию и чаю, и сахару, и денег тридцать рублей на починку платья, да относильных платьев сестрам». Отсюда на деревенских девушках появляются те алые, зеленые и голубые обноски, самый цвет которых на городской улице сверкает чем-то зазорным. Родители не обращают на это никакого внимания: они думают, что они

вполне правы, что они всегда прекрасно поступали, — они только просили кофию и чаю, и денег, но всегда писали: «веди себя честно». Они нимало не повинны в том, если что-нибудь нечестное случилось с их дочкой... Они думали, что она может брать чай и кофий у хозяев или даром у лавочника, а «посылать деньги» она могла... так себе откуда-то...

Падение совершилось: это — ужасного значения шаг в жизни девушки, а между тем как он делается иногда легко и просто!

В числе корреспонденций, которые сделались мне известны в это короткое время, пока я слышу о заботах, клонящихся к тому, чтобы оцеломудрить наши города, — есть одна историйка, чрезвычайно характерная и трогательная по своей архаической простоте. В сановитом и очень достаточном, но простом по своим обычаям петербургском семействе в числе прислуги жила девочка шестнадцати лет, которую мы здесь назовем хоть Грушею. Она происходила из крестьян Петербургской губернии Ямбургского уезда и пришла в этот дом 14-ти лет. Здесь ей платили сначала 2 рубля в месяц, потом 3 и, наконец, 4 рубля; но главное — ее здесь любили и берегли, как свое дитя. Девочка жила как будто в родной семье, с тою разницею, что эта семья была более нравственная и более разумная, чем та родная семья, которая воспитала дитя в деревне. Груше строили платьица и обувь, стараясь сделать ей все хорошо и дешево; Груша жила в одной комнате с барышней и пила чай с няней, а вечером шила у одной лампы с хозяевами и «слушала книжки». Ее научили читать и писать, ознакомили со словом божиим и приучили уважать труд и хранить скромность и умеренность. Девочка была некрасивая, но очень смышленая и очень сердечная. Все позволяло надеяться, что из нее со временем должна выйти хорошая и вполне честная женщина, но не тут-то было. Та безукоризненная, по мнению многих, «деревенская среда», где будто нравы очень чисты, настигла свое дитя в его городском приюте. Родственные проделки над Грушею были приблизительно те же, что и везде, и проделаны они были по всем статьям родительской программы: сначала просьба — «пришли чаю, сахару и кофию, и на паспорт», — а далее, немножко позже: «чаю, сахару, и кофию, и денег десять рублей», и так пошло далее как по-писаному.

Между тем девочка сама рассказывала, и хозяева ее

другими путями знали, что родители этой девочки «по крестьянству люди нескудные». У них были и поля, и луга, и берег озера, и кони, на которых зимою отец и брат Груши приезжали в Петербург извозничать; но от всего этого Груше не становилось легче, — напротив, с приездом отца и брата ей было еще хуже. Отец поездит, поездит, и заедет к дочке: «Дай полтинник — я другой день без почина». Девочка стыдится, плачет и выпрашивает у хозяев. Через неделю ее посещает брат: «Дай полтину — я оглоблю сломал в трактире на дворе — меня теперь со двора с лошадью не спущают». Девочка отказывается и плачет, говорит: «проси у отца — отец даст».

— Нет, — отвечает брат: — отец не даст — он лаять станет.

Девочка плачет.

— Вы меня, — говорит, всю испили с отцом, а потом еще мать приедет — та просить станет, а мне самой одеться будет не во что.

Брат, как человек опытный, посмотрел на сестру и говорит: «Отчего же? отчего другие смотри-ка как одеваются».

— Другие, — отвечает застенчиво девочка, — мне за другими не угоняться.

— Отчего же так?

— Не хочу говорить.

— Разумеется, нечего говорить.

Девочка уже умела понимать смысл таких слов... Их оскорбительное значение сначала вывело ее из себя: она бросила брату полтинник и, плюнув ему в лицо, сказала, чтобы он не смел никогда приходить к ней. Тот назвал ее дурою, обтерся, но полтинник взял и — его пропил.

Но едва девочка оградилась от родства с мужской стороны, как деревня подходит к ней с наиболее чувствительной, с женской линии: к девочке является с деревенскими гостинцами присыльная деревенская тетка. Эти «присыльные тетки» — прелюбопытный и в своем роде препротивный тип. В большинстве случаев они представляют собою самые ужасные, бесстыжие и гнусные характеры. Они, как на подбор, всегда пройдохи и мастерицы вымозжить из девочки все, что только возможно. Девочки их редко любят, а часто боятся и трепещут, но всегда принимают. Тетки ли они «всамделешние», или десятая вода на киселе — этого не разберешь. Деревенская род-

ственность ведь идет вширь и вдоль очень просторно. Называются же эти бабы просто «тетка из своего места». Не разберешь, какая это степень по кормчей. Главное в этих тетках — их цепкость и емкость во взыскательных приемах. Дайте только им поручение обобрать девочку — и уж они оберут ее до последней нитки или сейчас «переставят на место». И несмотря на это, деревенские родственники нарочно и подсылают такую тетку.

— Эта, — говорят, — управистая.

За исполнение исковых поручений «тетка» урвет себе кус из взысканных денег и возьмет «отсыпного», т. е. отсыплет чаю, сахару, кофе.

Стоит только дать эдакой бабе «адресок девочки да гостинчики», и она уж, известно, доймет с девочки все, — лучше, чем подьячий на правеже.

Стоит только послушать, какие истории рассказывает эта Шехерезада бедному ребенку, к которому прислали ее родительская нежность и родительская алчность. То она рисует ей сцены трогательные, ужасные — как дома будто томятся нуждою и как страдают оттого, что вынуждены просить у своего дитяти пособия.

— Нешто это легко матери-то? Мать-то, слезами обливаясь, говорила: «скажи ей, Груше-то, мне ведь ее жалко».

И рассказчица сама плачет. Глаза у нее всегда на мокром месте.

Девочка волнуется, растрогивается и тоже плачет. Сердце ее теперь рвется к семье и готово на всякую жертву — лишь бы только это было в ее возможности.

Тетка переменяет вид и заводит песни веселые и уносящие душу стремлениями к дому — она сообщает, как за сестру девочки жених из торговцев сватается и как всему этому легко бы статься, но только у невесты платья с спаньей нет. А как «спанье» шьется — это девочка знает. Не важная бы вещь учредить «спанье» — да не на что. Самого незначительного дела не достает, а через это можно упустить большое счастье!

Тут, как хотите, надо на все решиться! — Ведь это свои, а не чужие...

И станете ли вы удивляться, что такие по-видимому малые вещи производят большие последствия?

Не будьте торопливы и несправедливы — не удивляйтесь.

Если самые обыкновенные, неуклюжие, но речистые

свахи так часто и так легко обольщают и морочат людей взрослых и иногда даже людей очень опытных, прошедших школу жизни, то есть ли что-нибудь трудного в том, что названного типа «присыльная тетка» свертит с толку и сделает все что захочет с девочкою — с существом еще юным и малоопытным? Нимало! Здесь, в этой родственной игре все козыри на руках «присыльной тетки», и разумеется — всякая игра ею у девочки всегда выиграна. Первые претензионные и неосновательные недовольства хозяевами, первые опыты грубить им и делать им дерзости и ни во что не считать все знаки оказываемого им доброго внимания — все это начинается с «научением присыльной тетки». Чаще всего девочка и начинает обнаруживать свою строптивую глупость тотчас же после посещения ее «теткой», и притом она всегда почти начинает говорить ее же пошлым, ерницким языком. Тут выработались свои известные вокабулы, по которым строятся речи. Тетка так и учит: «ты им скажи такие речи».— Я мол, не дурочка, довольно того; у меня сродственники — я к своим в деревню поеду или на другое место сойду. «Ты не поддавайся, а отвечай в речь — так и так»,— и девочка спешит показать свое знание — она затверживает теткин урок и ищет случая проговорить его, «произнести свои речи». Она ищет повода, к чему бы ей придраться, чтобы почувствовать себя будто в обиде и начать «не поддаваться» и «грубить»...

Желаемый случай, разумеется, является скоро. Кто хочет придраться ко всякому поводу, чтобы обидеться, тот, конечно, всегда найдет такой повод. И вот девочка, которую в доме любили и берегли, словно перерождается: лицо ее утрачивает милое и доверчивое выражение, которое к ней располагало,— вместо того она морщит брови, надувает губы на всякое замечание и фыркает, как злой котенок, на каждый доброжелательный совет. Скоро она уже будет пробовать свое искусство «говорить речи». Сначала ей снисходят и только удивляются: «Откуда это? что такое с нею сделалось?.. Было такое милое доброе дитя — и вдруг стал огрызок! Город портит простые, добрые нравы... соседние кухарки, дворники, лавочные сидельцы»...

Во всем винят «тлетворное городское влияние», а никому из рассуждающих об этом и в голову не приходит, что это совсем не городское, а самое народное, простое, деревенское, что это привезено из деревни и в рукаве

старой рубашки с орехами, — и это, к сожалению, почти всегда так...

Но проследуем дальше: пошлость надо только раз попробовать, а потом она уже и сама в себя потянет. Девочка быстро утрачивает милые черты детства, — она усваивает привычку «отвечать» как взрослая, — она становится «грубою»: неприятною, ее нельзя держать — и ее отпускают... Птичка выпархивает на крышу, а из слухового окна ей навстречу выходит кот...

Так было и с тою, о которой я рассказываю. Досаждаемая докучными просьбами родных, девочка Груша стала «разлюбливать» их, а в то же время «с сердцов» она стала отвечать хозяевам «речи», т. е. говорить то, чего сама не думала.

Хозяева ей советуют:

— Не посылай, Груша, больше, чем можешь. Это не поведет тебя к добру.

— Как же я могу своим да чтобы не посылать?.. Они просят.

— Отговорись.

— Они тетку пришлют.

— Не выходи к тетке.

— Как же не выходить, — она от родных пришедши.

— Что же делать, если твои родные так нерассудительны, что не дают тебе опериться. Это для них же хуже. Бог даст — подрастешь, станешь получать более — тогда и им помогать можешь.

— Всякому свои родные дороги.

Это уже «речи» — это слово в задоре, которое не отвечает разговору.

Хозяйка на нее посмотрела, как на дитя, заговорившее не своим тоном, и заметила ей:

— Ты, кажется, начинаешь говорить не своим голосом?

— Очень просто.

(Это опять речи).

— Что же ты это так дерзко отвечаешь?

— Какие же, в чем эти дерзости? Я просто говорю, свои родные всякому милы (она их в эту минуту ненавидит). Ведь вы своих родных обожаете и принимаете, и я должна такое место иметь, где мне моих родных обожать можно.

— Обожай, друг мой, одного бога и его слова слушайся, а не повторяй чужих глупостей.

— Мы много не учены и в Евангелии не читаем...

— Очень жаль.

— Жаль не жаль, а деться некуда, но своих родителей выручить надо.

Она их в эту минуту уже совсем ненавидит и сердита на них, потому что это из-за них она ссорится с людьми, принимающими в ней самое доброе участие. Но уж раз речи начаты — она их докончит; и первое слово о перемене «места» она произнесет сама. Ее еще жалеют, ей еще не думали отказывать, но что тетка ей надиктовала, то ей запало в голову — она свой урок выполнит.

Мысль о разлуке пала уже между ею и хозяевами, и через малое время готово ее исполнение. Надо только подлить маслица. Тетка везет его из деревни.

Пока девочка училась говорить речи, тетка привезла ей орехов и новое письмо: «пришли нам кофию и чаю, и сахару побольше, да сукна самого получше три аршина сестрину жениху подарить, потому сестра твоя замуж выходит».

Девочка сукон не покупала и о цене сукна не имела понятия.

— А почем аршин сукна стоит?

Тетка тоже хорошенько этого не знает, но отвечает:

— Которое ежели хорошее, то, мол, надо дать рубля по три, похуже — то подешевле. Это они (отец и мать) наказывали, мол, чтобы ты беспременно прислала хороше-го, — потому что жених хорошего роду, чтобы еще не обиделся на худом сукне, от сестры не отказался.

Девочка задумалась, посчитала в уме — сколько три да три, и руками всплеснула!.. Аршин по три рубля, да другой три, да еще третий три... Это значит — надо девять рублей!

— Девять рублей! — восклицает она.

— Да; уж ты, девушка, постарайся.

— Да где же мне их взять... этакую силу денег!

— Ну вот! Это ведь не всякий год сестра-то замуж идет... Вы ведь одной утробы, под одним сердцем лежали и одну грудь сосали. Ты ведь не маленькая — понимать нынче все можешь, ты материнское сердце пожалей.

— Да где мне взять, где мне взять!

— Не знаю. Вздумать надо. Ты уж не маленькая.

— Все вздумала, мне девять рублей взять негде.

— Иди и спроси у хозяев.

— Я у них и так уже забралась.

— Эка важность! — забрамчись-то и еще можно. Случай такой. Не всякий раз сестра замуж выходит, хорошего жениха ловить надо...

— Все же мне стыдно просить.

— Нечего стыдиться. Красть стыдно, а просить нечего стыдиться. Пускай откажет — я тебя на другое место сведу.

И опять приводится аналогия, что если бы к дочери хозяйки присватался жених, так и она небось не упустит: займет, да доймет.

Девочка долго колеблется, но наконец сдается перед силой теткиных убеждений и идет просить девять рублей. Она не хочет быть дерзкою; но сама не замечает, как берет ее теткин голос, и произносит перед хозяйкой всю только что выслушанную пошлую рацею, в заключение которой у нее вырываются и те глупые слова: «приведись хоть и вам для вашей дочери, так и вы займете».

Выстрел попал в цель — ей ответили:

— Не говори ничего больше, Груша, ты сказала довольно. Я вижу — ты не дорожишь нашим местом.

Девочке стыдно — у нее сверкнули слезы раскаяния, но она не хотела выдать наружу хорошего движения своей души, чтобы другие не увидали и не пересказали ожидающей ее на кухне тетке. Она лучше притворится дерзкою и смелою, которая ничем не дорожит.

— Легко ли дело хозяева! Мало ли их на свете!

В этом духе она и отвечает:

Ей говорят.

— Ты свободна располагать собою как хочешь, но только жалко, что ты избрала для этого такое дурное средство, как грубость. Это не делает чести твоему сердцу: ты у нас на ноги стала, и мы тебя любили, и если отговаривали тебя обирать себя, то не думай, что мы делали это по скупости. И чтобы тебе это доказать, вот тебе десять рублей, которые тебе н у ж н ы , — возьми их от нас себе в н а г р а д у .

Груша плачет, целует руку хозяйки с горячими слезами, но язык ее повторяет теткин диктант.

Она уловила слова: «это не делает чести твоему сердцу», и не упускает времени отвечать:

— Честь — господское дело, нам не пристала.

Ее молча тихо крестят. Она резко оборачивается и выбегает.

Такая торопливость необходима, потому что иначе она бросилась бы в ноги к хозяйке и стала бы просить прощения, и тогда репутация ее пала бы на кухне и пронеслась бы позором по всей родной деревне.

Как бы плакала мать и причитала:

— Мать-то, родителей-то своих не пожалела, а хозяйку стало жаль?

Недостойная!..

Но этого не было. Девочка выдержала характер и вышла к тетке с красною ассигнацией и с мертвенно-бледным лицом.

— Что? — спрашивает тетка, — дали?

— Денег дали... и от места отказали... — шепчет чуть слышно девочка.

Всего своего разговора она не передает. Ей совестно, что ей первый раз «отказали» люди, которые ее любили и которых она любила.

— Ишь сволочи какие! — говорит тетка. — Да и лучше сделали, что отказали. Не мало местов есть окромя. Я тебя на лучшее место сведу, а теперь на сестрину свадьбу домой приедем. Чего еще — наслужишься им подлым, — а у нас теперь весело... качели поставили. Пойдем сейчас с этими деньгами сукно покупать: может быть, от десяти рублей-то еще и себе на розовый ситчик выторгуем. Они ведь, хозяева, тебе все синенькое да коричневое шили.

Девочка сквозь слезы припоминает, что хозяева дарили ей платья и других цветов.

— И серенькое дарили.

Она помнит, как ей дарили это платьице и как весело все они вместе его шили и примеряли — как сама хозяйка пришпиливала на ней выкройки и говорила:

— Не вертись, вертушка, а то уколю булавкой.

Все это было так тепло, радостно и семейно. Теперь так не будет больше.

Будет иное — будет веселее, иное будет.

Тетка дает мыслям направление, соответствующее обстоятельствам.

— Легко ли, невидаль, серенькое. Что ты, богаделенная старушка, что ли, или сестра милосердия — ходить в сереньком? Мы сейчас пойдем розового отхватим, да с спаньем сделаем — у меня в рынке в лавке знакомый прикащик есть, — он нас уважит.

— Спроситься надо.

— Чего? Отказали, и кончено. Вот тебе еще какое кушанье. Тьфу! Наплевать, да и только. Идем.

Ушли. Тетка плывет впереди как гусыня. Девочка идет за нею в волнении, — совесть ей говорит, что она поступает гадко, неблагодарно, но тетка плывет как гусыня и гогочет: го-го-го. Она довольна — на широку воду выплыла. Вот рынок, шумно, весело, молодцы закликают, зовут «барышнею»... Лавка кажется таким изяществом, и прикащик с расчесом на аглицкий манер — совсем на барина сходствен... Только оказывается, что выторговать совсем нечего: сукно стоит не по три рубля, а по три с полтиной... Полтинника еще недоставало. При тетке своих денег тоже нет — у теток никогда своих денег не бывает. Сукна бы нельзя купить, но прикащик выручил: он на полтинник поверил и розового ситцу отрезал — только не отпустил при других, а обещал принести в трактир.

Надо идти ждать его в трактире. Это первый раз страшно, но тетка ее успокоила.

— Чего бояться? — трактирщик не наших мест, — чаю напились, и только.

Чай, мед, лимонад... еще что-то... Тетка стала красная... и все пошло в круг... извозчик, куда-то едут... что-то страшное... Утро, незнакомая комната... «Ах! Где это?» А пьяная тетка крепко-накрепко спит на диване.

— Пойдем, пойдем отсюда! — будит ее девочка.

Та тоже крестится... Ни за что она не думала, что так выйдет... Все лимонад испортил.

— Об одном тебя прошу, — говорит, — никому не сказывай, как я ослабла-то... Мы ведь к лимонаду непривыкши.

Напрасная просьба! Скромность в подобных случаях обязательно приходит сама собою.

Девочке хочется только уехать скорее...

Она заходит к хозяевам «только взять узелок». Она «как потерянная», но для объяснения этого состояния слишком много причин, за которыми не рассмотреть настоящей. Другие вещи, составляющие богатство девочки, ей дозволяют оставить: «все тебе сбережем».

— Знаю, знаю, — плачет она, — вы мне лучше всех родных.

Она со слезами целует руки и уезжает «на свадьбу». А свадьбы, по народному выражению, бывают «с трубами», бывают и «без труб». Одна идет въявь, другая тай.

Проходят картины деревенской свадьбы.

Вино до одури, срамные намеки, от которых у непривычного человека лицо горит... В городах это все завертывают в бумажки, а здесь так прямо враструс сыпят... «Лови, девки, лови, бабы, лови, малые ребятки»... Во все уши — всем сестрам по серьгам. Чад от вина, от убоины, от масляной каши и жирных драчен; несуразный, дикий хохот, бесстыжие песни, бесстыжие сцены; у девок и у женщин лица красные, как будто сейчас только из бани вышли и опять сейчас туда, опять готовы... Хлещи-плещи, бань и талань, кто хватче! Никто, кроме свах да дружков. Один скажет хорошо, а другая поправит еще лучше. «Народ со смеху киснет». С печи «снимают» старого деда. Это уже человек не от мира сего. Дружка говорит: «Спеши, дедушка, а то не поспеешь. На тебя уже на том свете месячина идет».

— Небось, брат, поспею! — шамшит дед и, поднимая стаканчик, возглашает:

— Горько!

Хохот.

— Вот дед уважил!

Поцелуи.

Им нет конца... «Пригубь на горько... пригубь на сладко». Это занимательно.

...В молодой голове все как туман застилает... Волостной писарь с гитарою исподтишка критикует крестьянскую дикость: он говорит почти таким же образованным языком, как типографский наборщик, этот опасный в сердечном чувстве человек с губеровским настроением.

«Я, — говорит, — здесь только для вас и существую, Аграфена Егоровна, а на других бы всех я и смотреть не стал. Одна серость бесстыдства». Он целомудрен и стыдлив. Пьяны все, и отец пьяней многих, — он «хозяин», и в это время он неистовствует, — мать спрятавшись, потому что муж «бьется»... «Ты, — говорит он, — понимай», — а сам ничего не понимает. Надо искать мать. Верно, она в половне *, в солому закопалась... Девочка идет, и писарь за нею. С ним она ничего не боится — «он такой честный господин».

В соломе так топко, так темно... Нет, он не честный господин!.. Она теперь знает, «как все мужчины подлы».

Произошло «повторение бенефиса»...

---

* Половня — сарай для соломы. — *Сост.*

— Зачем же это, зачем вы с такой низостью! — говорит она вся в слезах, встречая вечерком писаря.

Он оправдался, он так ее любит и между тем осужден жить в крестьянской серости.

Пусть другие, грубые люди пьют, а Груша и он вдвоем катаются... Луна, ночь... Соловей свищет.

Девочку начинает тошнить... Она со своим горем к писарю... Ужасное открытие: он женат!.. «Так зачем же... зачем?» Тот отвечает: «ты такая была»... Она в отчаянии. Мужчины подлы — это так, но надо сознаться отцу, матери или хоть тетке. Тетка, однако, оказывается всех гораздо находчивее: она учит — «проси у него на дорогу и бери паспорт, да ступай в Петербург — там в воспитательный дом, а сама к богатым в мамки». Готово! — денег нет, но паспорт есть. Ступай на все четыре стороны.

Прощаются, родители благословляют, плачут и дают наставление: «Смотри, веди себя честно, а как из мамок будешь выходить — смотри платье мамошное татарам не продавай, домой пришли — сестрам надо».

Везет дочь в Питер сам отец — он там снова будет извозничать. Дорогой у отца с дочерью обо всем бывшем ни слова — только когда почтенному человеку надо подкрепиться национальным зельем, он своего гроша не тратит, а говорит дочери: «Грушенька! поищи чего-нибудь по мелочи для родителя».

Та дает какие-то последушки. Отец наблюдает за ней и спрашивает:

— Это от кого у тебя — от писаря?

Девочка отвечает: «нет». Она сама не знает, откуда у нее еще уцелели какие-то остатки мелочи. И припоминать не хочется. А отец празднословит:

— Так от кого же?

— От черта, — резко отрывает дочь.

Отец обижается.

— Ну дочь! Вот так дочь! — говорит он. — Вот так дитя милое! Ишь как отвечаешь! Разве это так можно родителю? Добру тебя, видно, хозяева в городе наставили.

Это несправедливое замечание бьет как нож в сердце и пробуждает бурю.

— Неправда твоя, — говорит она отцу. — Мои хозяева были люди добрые и добру меня научали. А только я глупа была, что их не слушалась, а вас слушала.

Обида возрастает и умножается.

— Вот как! — восклицает отец. — А мы тебя разве дурному учили? Мы тебе всегда писали: веди, дочка, себя честно!

Разговор, — как всегда бывает при тайностях, — словно нарочно попадает не на ту колею, куда следовало, и, что называется, пронзает измученную душу, исторгая из нее страдальческий вопль, который в простонародном вкусе принимает характер перебранки.

— А уж черт бы вас взял с вашими письмами!.. — отвечает грубительски дочь. — Знаем мы вас: «веди себя честно, да пришли нам чаю и сахару, и кофию, да денег побольше». Честные вы! честные! честные!

В ней кипит злоба, отчаяние, голос ее истерически дрожит, и на ресницах ходят истерические слезы... Этого с нею еще никогда не было... Это новость теперешнего ее исключительного положения. Отцу даже жутко становится, и он безмолвствует — она тоже. Ее томит мучительное предчувствие чего-то еще худшего — неизвестного, но неотразимого и близкого.

Отец, если хотите, в самом деле огорчен строптивостью и грубостью дочери.

Ведь они в самом деле всегда наставляли: «веди себя честно»...

А предчувствия Грушу не обманули: в деревне никому в голову не пришло, что такое ее встретит в городе. Она в таком неопределенном возрасте: не девушка и не девочка, — какой-то межеумок, а между тем у нее как-то особенно потянуло щеки, и в фигуре ее для наблюдательного взгляда есть что-то двусмысленное.

Женщины на этот счет очень проницательны и готовы дать добрый совет: «вы подождите немного и тогда можете в мамки». Это ужасно! Все читают ее позор. Она не хочет идти на старое место, где ее любили и берегли. Ей совестно добрых людей, которым она заплатила за их добрые чувства к ней непочтительностью и неблагодарностью. Но, однако, доколе придет ее час, ей необходимо надо пристроиться — и она ищет средства сделать это как-нибудь иначе.

«Город большой, — припоминаются ей слова тетки: — не то, так другое делать можно».

Но что делать и где это делать? Ведь не просить милостыни Христовым именем — это тоже дело, это — занятие, которыми занимаются очень многие люди. Как каждый из них дошел и зашептал: «дайте Христа

ради!..» ...Бррр, как это страшно! Тетка тогда говорила, будто «просить никогда не стыдно». Неправда, — так просить очень стыдно.

Девочка горит от стыда от одних размышлений, что с нею может случиться. А места нет и нет. Извозчики говорят: «иди к нам в стряпки: хорошие щи будешь варить — маткою звать будем»... Ей не хочется в «матки» к извозчикам — у них так сыро и гнило в их низкой подвальной квартире, с подпорками и черными стенами, где стоит густой тяжелый запах от сырых потников и полушубков... Это совсем не то, что было у покинутых хозяев, от которых свела ее тетка...

Девочка забирается в темный угол, прищуривает свои ознакомившиеся со слезами глазки и старается унестись из своего настоящего в милое прошлое. Это можно на легких крылах воспоминаний и мечты. Она теперь в уютной, светлой комнате, у круглого стола, на котором стоит чистая лампа. Вокруг добрые, честные лица — все за делом... Вот пожилая дама в очках... Она их поднимает на лоб и говорит не скоро, с рассуждением. Это она примеряла Груше носильные платья, которые все они шили вместе... Она ее крестила в молчании, с глазами, полными слез, когда отпускала ее, наученную говорить дерзости... Как там было хорошо... Это был рай в сравнении с тем, на что теперь приходится открыть глаза. Бежать туда... Нет, нет... там стыдно показаться, но пройти мимо... Взглянуть на знакомые окна... это можно; и это принесет ей какую-нибудь отраду. Зачем ей лишать себя этого... В извозчичьей избе теперь пусто... Их никого нет дома, только сверчок заунывно чиркает, да кто-то тихо-тихо дышит за печкой... Это кот угрелся. Но пока Груша догадалась, что это кот, ее глаза заметили в углу какой-то туманный облик... Фигура... человек весь в сером, как будто в золе или в паутине... Это не мужчина, не женщина — это совесть... Она любит навещать друзей в сумерки и любит не спешить, а посидеть в гостях, пока не надоест... С нею жутко, от нее манится прочь, на воздух, на ветер, в толпу, меж людей. Серый человек, посещающий смятенную душу в тихий час сумерек, робок, он боится всякого многолюдства и шума. И оттого, если вам жутко, когда он зашевелится где-нибудь вблизи от вас в тот час, когда все кошки кажутся серыми, вы сейчас же можете прогнать от себя этого незваного гостя: позовите только

к себе скорее кого-нибудь из тех счастливцев, к которым совесть еще не приходила, — и серый человек сникнет... Груша это чувствовала: ей стало жутко, она покрыла голову платочком и выбежала из двери, оставив логово приютивших ее земляков извозчиков без запора и присмотра.

Несносно, душно, тяжело... На воздухе легче. Свежая оттепель, ветерок со взморья так хорошо обвевает жаркую шею и щеки, фонари горят ярко и слегка вздрагивают, на небе луна во всем блеске, и этот блеск с высоты небес отражается в темной лужице, образовавшейся у тротуара... Ветерок рябит воду, и свет в ней дрожит. Сзади яркие окна какого-то магазина, проходят разговаривая люди, пробегают швейки с коробками, идет мужичок с лотком, закрытым отрепками старого ватного одеяла, и напевает: «и с вязигой, и с грибами, потчиваю пирогами» ...Весело... Серый человек, вздыхавший в углу, исчез...

Груша смотрит, как луна дрожит в луже, и припоминает, что ей приходила в голову глупая мысль вернуться домой, в свою деревню... Что же ей там делать? Там хуже, здесь веселее, здесь все лучше, даже эта луна здесь иначе рябит в темной луже. Только вот ее кто-то вывел из впечатления... Это — женщина с ребенком на руках, — она просит «Христа ради»... Вот это, значит, как надо, — в сумерки, когда не видно лица... Груша ей ничего дать не может... Она бы охотно подала, но у нее ничего нет, она сама готова точно так же протянуть свою руку... Домой, в деревню, она не поедет. Нет, ни за что на свете! Там станут ее упрекать, будут над нею смеяться, а здесь... здесь, по крайней мере, ее не знают... здесь можно все, потому что никто не увидит...

И опять ее выводит из ее забытья голос... Это иной человек: этот ее жалеет, называет ее «бедным ребенком» и кладет ей что-то в руки... Она берет и держит, что ей дали, в каком-то онемении... Голос говорит ласково: «Возьмите эти деньги. Я вижу, что вы расстроены. Вернитесь домой и через день, в этот час, выйдите сюда снова: я об вас подумаю». Добрый человек! Счастливый случай! Она шла посмотреть в окна дома, где она жила смирною, счастливою девочкой, но не дошла... И она уже и не дойдет туда никогда... Зачем? Добрый человек ее не забудет. Он ее встретит, и она не ошиблась: он,

действительно, ее встретил, но только он не совсем так бескорыстно добр, как она думала... Он скоро и совсем перестал ее встречать, и доброта его кончилась... Но она зато одета, она уже не живет у извозчиков. Серое привидение, впрочем, ее везде находит в сумерках, и она от него бежит и попадает на новые встречи... Перед ней разостлалась скатертью дорога...

Она *пропала...* Да, она теперь не девочка Груша, а она — «барышня». Извозчик «со своей стороны», который так недавно и так наивно приглашал ее в «матки» для своей артели щи варить, теперь не сделал бы ей такого предложения. Теперь он говорит: «барышня», «сударыня». А что он о ней думает? О, она поднялась в его глазах ровно настолько же, насколько упала. Если бы разговор довести до задушевной откровенности, то предложи она сама себя теперь ему в стряпки — он с мужичками простодушно ответит:

— Куда ты нам кстати!.. Кто твои щи хлебать станет?

Она погибла. У нее в свое время является дитя. Его относят в воспитательный дом. Она над ним плачет, берет на него «номерок»... и метит ему ляписом ноготки на ручке, чтобы его не переменили. Она непременно хочет воспользоваться правом «взять его на свое попечение», и она его, может быть, возьмет. Это будет, может статься, ужасным несчастием для младенца, но она сама о том не подумает. Теперь ей уже некогда думать, в ее голове вздор. В мамки ее никто не возьмет, да она и сама не станет особенно искать этого. Она знает, какое у нее прошлое.

В том учреждении, где дитя ее увидело свет и впервые вскрикнуло от ощущения воздуха, всегда есть такие, кто знает средства, как помочь себе в этой жизни. Они уже были искушены таким же горестным положением и знают, как помочь искушаемой. Они ей укажут адрес, где ее приютят и не станут справляться ни о чем в ее прошлом. Все, что там нужно, она принесет туда с собою. Это — ее молодость и некоторая милота ее наружности.

Нужда, привычка и слабость ума и воли решают выбор... Она теперь пойдет со ступеньки на ступеньку ниже и ниже и со временем дойдет до житья в «Вяземской лавре» и до торговли гнилыми яблоками. Позже еще протянет изнеможденную руку, и скрывая свое обезображенное лицо, попросит милостыни «Христа ради»...

И только разве тут, только на этих последних ступенях ее оставит домашнее попрошайничество. Да, до сей поры ее все будут просить прислать им «чаю и сахару, кофию, и платья, и денег»... Это попрошайничество не пощадит несчастную во всех пройденных ею положениях и притупится разве только с сознанием, что с дочери уже «взять нечего, потому что она нищая»... Но пока она находится в барышнях и одевается в яркие платья, ей не дают покоя. Напротив, к ней во все это время приступают еще настойчивее; ее укоряют, ей пишут: «мы тебя так жить не благословляли, мы наставляли жить честно, а ежели у тебя такое произволение, то по крайности вспомни хоть про своих домашних и пришли домой чаю, кофию и денег и сестрам какое платье залишнее». И так далее — все в том же роде, и во все это время ее «навещают», и все видят, и понимают, чем она живет, и все тянут и тянут с нее, пока можно хоть что-нибудь у нее взять и увезти. Посещение «ночлежных», где сходятся петербургские нищие, не раз убеждало меня в том невероятном факте, что добрая сельская семья находит возможность вытягивать кое-что даже у нищенствующих... Разве уж те сами одеревенели от голода и, как издыхающие кошки, ищут не тепла, где согреться, а ямы, в которой протянуться и окостенеть. Тогда — конец.

Конец! Да, таков более или менее конец этих обыкновенных историй, а их *начало* в той семейной и родственной жадности, в той деревенской глупости и безрасчетливости, с которой сами родители не дают детям окрепнуть на ногах и созреть в силах до способности принести семье в свое время действительную помощь, которая бы стала полезнее узелочков сахару и кофе, истощающих средства девочки, когда она еще еле-еле начинает зарабатывать на кусок хлеба. Деревенские родители, при своей жадности и непонимании жизни, сами, своим необдуманным и неразборчивым поведением подставляют детей влияниям людей дурных — сами часто дают первое направление, чтобы не ценить и не уважать в хозяевах людей доброй нравственности и хороших правил. Страшно сказать, но нельзя потаить, что истинными девичьими пагубниками у нас в наибольшей части являются жадные на подарки родственники и даже часто сами родители подрастающей девочки. И они с этим, конечно, ни за что не согласятся — они вам непре-

менно скажут, что они наставляли «вести себя честно», и они действительно не видят и не понимают зла, какое они делали своим детям, портя их детское чувство и развивая в них изобретательность — как достать чаю, кофию и сахару. Они не знают, что большие дела бывают от малых причин, и... вот вам серьезный и основательный повод вмешаться в это дело, мой благосклонный читатель! «Не бывайте только свидетели, но бывайте и делатели, ко славе Божией и облегчению искреннего своего». Оглянитесь вокруг себя, припомните хотя бы одну из малых сих, о которых я раскрыл вам что мог и как умел, щадя вашу скромность и мир души вашей; проверьте мой рассказ через тех ремесленниц, у которых есть молодые ученицы, — и вы наверно услышите подтверждение моих слов.

Русская простонародная семья только в очень редких, исключительных случаях представляет те простые, достойные уважения добродетели, которым украшает ее тенденциозно настроенная фантазия беззаветных поклонников деревни. Русская простонародная семья нравственно больна в деревне так же, как и в городе. Разница между ними только в понимании. Городской простолюдин более знает так называемые «городские обстоятельства» и обращается с ними умнее и осторожнее, чем поселянин, который о тех же «городских обстоятельствах» имеет понятие недостаточное и неверное. Он, по простонародному же выражению, — «летит, как ворона», т. е. берет все слишком прямо, не соображая ничего, в чем благоразумие и опыт горожанина видит опасность и старается обойти ее. В обществе много зла и соблазнов, которые, может быть, не совсем правильно слагают на вину одной «городской культуры», но от чего бы оно ни шло, несомненно зло есть, и всего вероятнее — оно есть от того, что в несовершенной природе человека есть наклонность ко злу. Этот вопрос имеет весьма большую и славную литературу, в которой занимает очень почетное место трактат Эрнеста Невиля. Кто хочет сделать себя состоятельным, чтобы судить о зле и его вероятных причинах, — тот найдет удовлетворение своей любознательности в готовых сочинениях, вышедших из-под пера людей, обнявших предмет так широко и многосторонне, как я не могу этого сделать. Моя задача обыденнее и проще, а притом она и гораздо уже, и предложить нам на потребу злобы сегодняшнего дня,

когда в нашем обществе, вследствие каких бы то ни было причин, обострилось внимание к изобилию молодых девушек, идущих путем, делающим бесчестие их полу. Тут нет нужды отвлекаться в разбор философских теорий о социальном зле, а достаточно стоять на самой простой точке — прямой и практической пользе, которую всякий человек принести может, если он того захочет.

Возвращать с того пути, который мы считаем гибельным и которым, без сомнения, идут очень многие девушки, — конечно, гораздо труднее, чем остановить у его гибельного начала. «Возвращать» — это дело людей особенных сил и особенных добродетелей: которые даны не всякому. Это дело титанов или праведников, которым их необычайная любовь и самоотвержение дают чудотворную силу воскрешать к жизни то, что «четверодневно и смердит». Тот, на чье имя «уповают народы» (Мф., XII, 21), одним словом, одним своим появлением восстановлял чистоту «в сердце сумрачном блудницы». Если вы не читали в подлиннике этого апокрифа, то вы, конечно, читали прекрасное стихотворение гр. Ал. Толстого («Грешница») или стояли в благородном самоуглублении перед картиной Семирадского [2], который изобразил это священное чудо в пластических образах. Люди обыкновенных сил и средних дарований, как все мы, не должны и не смеем претендовать на достижение чего бы то ни было вроде того, что передает нам апокриф, вдохновивший нашего поэта и живописца. В наши дни существуют и где-то действуют комитеты, состоящие, быть может, из очень благонамеренных людей, готовых направить и навести на путь истины все с него совращенное; но вся их слава, которая по словам мудрого «бывает громче дел, ею возвещаемых», — не вострубила еще о совершении ими дел, достойных прославления. «По плодам их познаете их» (Мф., VII, 16), а плоды их суть не плоды, а «смоковничьи листья», которые не покрывают даже сверкающую наготу всех их забот и попечений. Беспристрастное и основательное изучение этих дел способно убедить разумного человека только в одном полном бессилии сих деятелей одолеть роковое и старое зло, известное нам со времен библейских. «Мир положен во зле» (1 Ион., V, 19) и «соблазнам надлежит прийти» (Мф., XVIII, 7. Лк., VII, 23), но надо, чтобы нам самим «не соблаз-

нить никого» (Мф., XVII, 27). Соблазн и ложь идут рядом, и от лжи родится соблазн.

Хромой бочар в Нюренберге не делает луну, точно так же как не он делает и общественное мнение, устанавляющее тот или другой взгляд на известные причины известных последствий в общественной жизни. Это делаем мы — вы, я и всякий другой нам подобный. Если вы и я не хотим вникать в дело своим словом или деланием или неделанием поддерживаем заблуждение — мы повинны во всяком зле и соблазне. Присмотритесь к делу, откинув всякие предвзятости в пользу «простодушных поселян» или не в пользу «культуристов», прислушайтесь к общему почти голосу педагогов и хозяев — и вы от них не услышите похвалы семье рус ской. Общий голос этих людей такой, что «дети из семей приносят в школы и в заведения ужасные понятия», с которыми приходится отчаянно и часто безуспешно бороться. Читайте газетные объявления: «ищут для прислуги девочку из деревни». Пойдите к этим «ищущим», и вы услышите при их договорах требование: «чтобы не ходили тетки». Неужто это не убеждает вас, что все это множество людей, чуждых всякой направленской тенденции, опытом знает, откуда приходит зло и соблазны?.. Конечно, хозяева (как и воспитатели) оберегают себя от неприятностей дела с привходящею порчею принимаемого ими подростка, но и самый великий интерес каждого из «малых сих» находится в связи с этим требованием. Родные на это обыкновенно дают свое согласие и потом не исполняют своего обещания — и происходит приблизительно то, что я вам рассказал в невымышленной истории Груши...

Если вы не уверены в том, что я привожу тут как плод моих наблюдений, сделанных в течение двадцати пяти лет жизни в Петербурге, то проверьте их... Это так нетрудно, потому что это совершается на всякий час и на всяком месте, — в числе ваших знакомых, в числе известных вам ремесленных хозяев непременно вы встретите людей, которые вам основательно расскажут — какое зло приносят детям посещающие их сельские родственники. Поверьте же этому голосу многих и не прилагайте зла ко злу, поддерживая тенденциозных болтунов и мечтателей, рассказывающих о чистоте сельских нравов и о заботе родных. Пусть есть прекрасные

исключения в этом роде — этого никто не может оспаривать, но дело не в исключениях.

И почему в самом деле свет исходит из тьмы — «от вещи во тьме приходящей»? К чести нашего большого города, обильно прославленного своим эгоизмом, кто из нас не знает семейных и одиноких людей, которым тот или иной случай привел беспомощного ребенка, и они его призрели, полюбили и ведут как умеют ко благу, — «из мрака к свету». Узнайте же теперь, сколько из них имеют завидное счастие вести это дело без помехи и досаждений со стороны родственников дитяти... О, как благополучен тот, кто призрел и возлюбил круглого сироту, у которого нет ни роду, ни племени, и как много горя и досаждений ждет того, у чьего питомца или питомки есть родные!.. Пусть вся их заслуга перед этими детьми заключается в одном извержении их в юдоль плача и страданий, но эти родные по названию отравят вашу жизнь своими правами, своими самыми пагубными и даже часто жестокими вмешательствами... Наконец, мало того, — увидав, что вы полюбили ребенка и жалеете его, они прямо и беззастенчиво перейдут к эксплуатации вашего чувства... Это в нравах, в обычае, даже, может быть, в правилах их «безыскусственного чувства». Вы любите несчастное дитя, вы хотите о нем заботиться — платите за это! Доход с ребенка — это самая законная вещь по понятиям его родителей. Если вы неподатливы или не найдете средств защитить дитя от притязаний матери, которая его не любит, но имеет на него права, — она обратится к властям и отнимет его у вас, и... потом его бросит... в приют или под забор... И это лучшее — а то она его сдаст тетке, живущей где-то на кухне или в вертепе, где принимают «ночлежных». Там ребенку погибель... если вы его не отыщете и не «покоритесь», т. е. не дадите за него выкуп...

Если сердечная доброта и сожаление довели вас до этого слабодушия — вы вечный данник существа самого низкого, самого злого и недостойного, но... стоящего на своем праве...

И в случаях далеко этого лучших добрый человек в подобных делах все-таки неспокоен. Если вам недостаточно общих указаний, я мог бы вам назвать много примеров, много лиц достойных и известных, которые с опыта знают, сколько горькой правды заключается

в том, что я вам рассказываю; но, боясь оскорбить их скромность и, может быть, повредить тем несчастным, которые проводят свое детство в любви их, я прошу вас поверить мне на слово.

Таких, которые знают, что излагаемое мною есть, к несчастию, совершенная п р а в д а, — немало, и вы их, если захотите, очень легко встретите. Они вам расскажут о простонародной любви к детям совсем не то, что говорят тенденциозные народники и враги культуры, и вы хорошо сделаете, если поверите людям, выстрадавшим свое убеждение, что в простом, необразованном человеке не меньше, а напротив — гораздо больше зла, чем в осмеиваемом ныне «интеллигенте» или даже слегка помазанном образованием горожанине.

Уверьтесь в этом — и это будет с вашей стороны первый шаг от несправедливости и сделает вас готовым стать на правую сторону, когда в жизни встретится к тому потребный случай.

Это — первое. Понимайте дело как оно есть, а не так, как его вам представляет в своем вкусе пристрастная тенденциозность, и верное понимание приведет вас к верным и справедливым поступкам.

Было бы очень несправедливо и обидно, если бы кто-нибудь нашел во всем тоне этой беседы намерение колебать или подрывать авторитет родительской власти над детьми. Мы желаем только того, чтобы власть эта не была орудием против воспитания детей в лучшем духе и направлении, и желаем, чтобы дело было ведено к тому мерами, зависящими от самого общества.

Если закон наказывает за покушение на жизнь и увечье детей, то общество может и должно охранять их от вреда нравственного, который наносит им неразумие и алчность родственников, ведущих их на путь погибели. Это может не оставаться одною фразою, но может перейти в действие и оказать подрастающим девушкам более существенную пользу, чем заботы возвратить погубленные души.

В этом направлении, не без надежды на успех, может оказать доброе влияние каждый, кто станет умерять торопливость родителей извлекать выгоды из девочки ранее, чем силы ее окрепли и она получила возможность делиться своими заработками с семьей, не обнищивая самое себя.

Не упускайте случаев об этом говорить простолюди-

нам, имеющим в городах дочерей, и указывайте на неминуемо вредные последствия их подсылов и попрошайничества.

Это может делать каждый.

Еще более могут принести пользы в этом роде лица, находящиеся в особенно выгодном положении для сообщения добрых советов и полезных внушений.

Несколько лет тому назад я жил летом в финском селении, где в одно воскресенье местный пастор говорил речь, особенно растрогавшую его прихожан. Многие из слушателей, как я видел, плакали.

Пастор был на вид простой, большой, неуклюжий чухонец: с бесцветными глазами и желтым квадратным лицом, — и речь его (которой я не понимал) шла без особенного оживления и, по-видимому, не могла быть талантлива, но... тем не менее она тронула чухон — людей далеко не так восприимчивых и чувствительных, как наши русские люди. Пастор говорил им о детях: а именно — он предостерегал своих слушателей, чтобы они ничего не просили и ничего не брали у своих дочерей, отданных в учение или в услужение в город, — и он указывал своим слушателям те самые вредные последствия этого попрошайничества, о которых мы говорим нынче. Чухны плакали — я мог думать, что они виноваты в том грехе, на который им указывал пастор, и плачут от раскаяния. Но я в последнем ошибся.

— Нет, — сказал мне пастор, с которым я вступил в разговор при его выходе из кирки: — нет, они этого еще не делали, и им пока не в чем раскаиваться. Но мои прихожане живут в тесном соседстве и в беспрестанном общении с русскими, у которых это делается, — я видел вред такого ужасного поведения со стороны русских родителей и счел долгом предупредить своих слушателей, чтобы они не научились следовать примеру своих русских соседей. Мои прихожане плакали от сожаления к чужим детям.

В каждом русском селе, где есть храм, есть и живое лицо, поставленное в такие же отношения к своим прихожанам, как упоминаемый мною чухонский пастор, и это лицо несомненно может также успешно влиять на разум и чувство своих прихожан, если захочет раскрыть перед ними весь вред, причиняемый их безрассудством и алчностью их собственным дочерям, отданным в город. Русский сельский священник, сделав такие

внушения, вероятно мог бы достигнуть даже еще большей восприимчивости, так как он говорил бы людям, имеющим достаточные принципы заплакать не о чужих, а о своих детях.

Третьим путем воспособления могла бы быть та отрасль русской печати, произведения которой предназначаются исключительно для простонародного или даже прямо для сельского чтения. У нас даже есть специальный орган, носящий заглавие «Сельский Вестник»[3]. При его основании была в виду цель, чтобы журнал этот служил «нуждам народа». Я имел честь быть приглашенным к соучастию в этом издании на самых лестных для меня условиях — «самому назначить себе вознаграждение», и уклонился от этого потому, что не видел там никакого места для литературного соучастия. Я поместил в газетах статью, в которой показал бросающееся в глаза несоответствие этого издания простым, но наиважнейшим целям, к которым должно идти издание, назначаемое для простого народа. В нем важны не сочинительство и имена писателей, а простота и здравость суждений о вещах, имеющих постоянное или временное значение в жизненном обиходе селянина. Статья моя была отмечена вниманием там, где это было нужно, но пользы делу это не принесло. И «Сельский Вестник» и другие народные журналы неизменно идут своею, как я убежден, ошибочною и непригодною для их читателей дорогой. Они стараются быть литературными и усерднее всех прочих портят наш прекрасный, ясный язык, низводя его до гадостей низменного жаргона, который там считают за народный язык, тогда как, по резкому, но меткому выражению И. С. Аксакова, это есть «язык ерницкий». К сожалению, в этих изданиях до сих пор держатся прежних традиций, которые лишают наши народные листки жизненной целесообразности. Простонародный читатель не находит в них ничего, что ему интересно и полезно в самом прямом соотношении к делам его быта *. Если

* Замечательно, что наши так называемые «народные» периодические издания столь несвободны от тенденциозности, как издания направленные, но тут это доходит до бессмыслия. Так, например, в народных изданиях принято превозносить деревенскую жизнь и порицать или выставлять в невыгодном свете жизнь городскую — как будто есть какая-то умная цель поссорить селян с горожанами и как будто государству и обществу полезны одни селения, а города не нужны и вред-

бы издания эти не гнались за беллетристикой, а говорили толково о том, как идут в городах те дела и занятия, до которых есть интерес сельским людям, ходящим в городские заработки или имеющим там детей в учении или в услужении, то это сделало бы народные листки полезными народу и он оценил бы их полезное значение. Держась такого не тенденциозного, а простого, правильного и практического образа действий, народные листки могли бы не льстить «сельской простоте», а растолковали бы ей — почему самим народом сложена поговорка, что «простота хуже воровства». Проста просьбица «пришли нам чаю и кофию», и она подкрепляется даже «благословлением» — «веди себя честно»; но на практике одно другое поборяет, и «благословление» — «веди себя честно» оказывается слабее желания добыть денег «как можно». Народные издания точ-

---

ны. Причем вовсе не упускается из виду, что есть множество сел, которые только и существуют работами и промыслами, производимыми для городов, и жители таких селений все знают, что им без сношений с городами невозможно обойтись. Полезнее, кажется, было бы оказывать разумное посредство в уяснении этих положений. Например, три года тому назад, когда сократился приход судов к нашему порту, газеты писали, что набережные переполнены людьми, пришлыми искать выгрузной работы, которой в этот год не оказалось. Люди эти бедствовали, и с отправлением их на родину было немало хлопот. Ведь это могло бы быть предупреждено и отвращено, если бы народные издания были внимательны к «городским обстоятельствам», про которые надо знать людям, живущим в деревне городскими промыслами. Им надо было сообщить, что судов в приходе мало и работы нет. Запрещение торговать фруктами с лотков у гостиного двора вызвало такое же недоумение и тоже могло быть сообщено заблаговременно. В нынешнем 1885 году не оказалось в приходе половинного количества судов к рижскому порту, а во все лето в Ригу плелись из отдаленных мест голодной Белоруссии чернорабочие «выгружать» — и бедствовали страшно. По их адресу полезно бы своевременно напечатать, что в Риге не стало той работы, к которой эти люди привыкли сюда сходиться. Прошлою весною еще было известно из газет, что трактирные садики при городских ресторанах лишаются права производить летом торговлю, но народные газеты не сочли нужным рассказать это, вероятно, думая, что такое известие имеет значение только для городских гуляк и к сельским людям не имеет никакого касательства. Между тем, во все лето в аллеях петербургских парков доводилось встречать подавленные личности каких-то странных людей в худой обуви и с испитыми лицами, но непременно с фраками под мышками. Это все были сельские люди, промышляющие «по лакейной части». Они привыкли приходить для усиления комплекта «услужающих» в садиках, — а садики были «прикрыты», и «услужающие» остались без дела и без хлеба в столице. Вот малые образцы разобщения интересов городских и деревенских, а есть и большие. — *Авт.*

но не видят этих хронических явлений и тем приносят народу вред вместо пользы. Но, конечно, это может быть направлено гораздо практичнее и жизненнее, и тогда оно может остановить неблагоразумное отношение сельских родителей к их дочерям, пребывающим в городских у с л у г а х, — и тогда для этих неопытных и слабых рассудком существ будет одною важною причиною меньше довременно растлевать свои понятия изобретением средств, как добывать подарки. А это и есть «начало болезни».

Но всех более могло бы оказать пользы предупреждению девичьих бедствий то особенное общество, которое хочет покровительствовать детям (и да ниспошлет милосердное небо, чтобы это не было пустою и праздною затеей!). Задача этого общества ограничивается спасением детей в их младенческом возрасте, но в детстве и дело. Есть целая область, где погибель девочек намечается в их детстве и потом неотразимо доходит до своей роковой меты. Я говорю о так называемых «дочерях девиц». В Европе знают, как участь этих несчастных существ ужасна своим предопределением к погибели с самого детства. Покойный Вильмессан [4] написал о них когда-то прекрасную статью в «Figaro». Что следует разуметь под словом «д о ч е р и д е в и ц» — это, я думаю, разъяснения не требует. Путь их, однако, не одинаков: одни из них рождены и брошены на попечение добрых людей. Эти сравнительно счастливее прочих. Другие сданы в воспитательный дом и позабыты и случайным отцом и матерью. И эти еще не из самых несчастных. Их или не позабудет на первых же годах всепримиряющая смерть, или они вырастут в селе, где их устроил «на грудь» воспитательный дом, и со временем выйдут замуж за крестьянина и потянут тягло — «будут нянчить, работать и есть». Жизнь их будет очень тяжела и знакома с лишениями, но они не узнают, быть может, самого ужасного лишения — лишения возможности назвать свой труд, от которого кормишься. Самые же несчастные — это те, которые по недостатку опытности и наблюдений кажутся на первый раз счастливыми. Это те, о которых их матери не позабыли, а все «мечтают» их «взять на свое попечение» и очень часто берут, если к тому блеснет моментальная возможность. Воспитательный дом до двух с половиною лет предоставляет матери право взять сданного ею ребенка обратно на

свое попечение. Все это кажется справедливо, милостиво и законно. В самом деле — кто же может любить дитя лучше, нежели его родная мать, и зачем «казна» стала бы мешать такому прекрасному движению материнской природы. Но — боже мой! — какая жалость, что «природа» не говорит серьезно чувствам этих «матерей», а как легкомысленная вертушка бросает им чрезвычайно бедственные для детей, трогательные, но непрочные впечатления.

...«Природа им
Лжет детским лепетом своим».

Она им вдруг внушит прилив какого-то мечтательного желания обнять свое дитя, без всякой мысли принести ему в жертву неудобную в материнстве часть своих порочных привычек. У нее есть на этот час какая-то возможность «заявить» воспитательному дому, что она «живет своими средствами» и желает взять свое дитя. Этим все кончено. Воспитательный дом вытребует от чухон ребенка; и те привозят его к матери, и дай бог, чтобы это случилось вовремя и кстати. Но, к несчастию, чаще всего дитя привозят, когда мать уже «расстроивши свое положение» — она нездорова, она без места, или «расстамчись с ним», или еще «с непривычки к другому»... Словом — ребенка привезли не вовремя. Да он и не хорош: она «так дожидалась», что дитя, ею рожденное, непременно «как ферувим», а оно так себе... Неудовольствие!.. «Да и не обменили ли его? Говорят, это бывает... Ляпис с ноготков сошел, а номерок на шейку можно переменить»... Родится подозрение, охлаждение, раскаяние... досада: «зачем я его взяла!» А оно плачет... Трепку ему, маленькому горюну... а оно еще больше плачет... Повторение... Потом давай его с постели «под ноги», потом — в дальний угол, потом... куда попало... хоть «в полынью на лед», как сделала зимой 1884—5 г. крестьянка Байкова, сначала морившая свою двухлетнюю дочь холодом и голодом, а потом утопившая ее в ледяной полынье против Экспедиции заготовления государственных бумаг... Эта женщина разыграла всю свою увертюру с ребенком как по нотам: сначала она родила девочку от случайного отца, потом сдала в воспитательный дом, потом ей почудилось, будто она ее любит, — она попросила, и ей девочку выдали, но дитя вышло слабенькое — все плакало, а он

этого не любит и жениться не хотел... Байкова, когда выпрашивала себе дочь из воспитательного, не вздумала тогда, что ее еще пленит любовью унтер и что он будет не охотник до детского плача... Теперь надо это помирить между собой: она пошла и, скрутивши ребенка в тряпки, швырнула его в ледяную полынью... Злодейка?.. Ничуть не бывало: чернорабочая всенародность, обитающая бесконечные низы Экспедиции, честно и по совести объявила при следствии, что распорядившаяся таким образом Байкова «была как все».

Да, она совсем не была особенная — она «была как все», а этих «всех» там, в низменностях «Экспедиции» — целый маленький город... Без борьбы сдать в воспитательный, без серьезного обсуждения взять оттуда, по приливу минутного чувства, потом хладнокровно спустить в полынью... это — «как все»... И экспедиционная всенародность не лжет: да, да, мой читатель, все или почти все они в этих делах, за которые их хвалят сентиментальные дурачки и кофейные переварницы, — все они способны поступить так же умно, так же великодушно, так же решительно.

И знаете ли, что и это еще не худшее. Залиться в ледяной полынье все-таки легче того, что не только стоит на пути, но само составляет самый путь «дочерей девиц». Вильмессан говорит, что в Париже мать такой девочки «готовит дочь на свое место и сама становится при ней bonne pour tout faire» *. — Как это в Париже — точно так же это идет и у нас: там мать становится при сменившей ее дочери «пуртуфершей», а у нас она делается дочерней служанкой, живет у нее на «куфне», чистит ее обувь и платье, подает калоши ее гостям, ходит за напитками и папиросами и... не смеет назвать ее своею дочерью... Иногда, и даже очень не редко, когда нарядная дочь возвращается домой в «неудовольствии» мать не «потрафляет» скоро служить ей, — эта дочь позорно ее бранит и бьет и выгоняет на лестницу... И та не смеет даже жаловаться людям, потому что добрые люди скажут: «ништо тебе, бесстыжая старуха», — не смеет она идти и к судье, потому что тот спросит их обеих: чем они занимаются, а дочь все нагло скажет и добавит, что мать ее «сама довела».

На этом ужасном положении мы можем кончить,

* Девушкой на побегушках (*фр.*). — *Сост.*

потому что круг совращения здесь в главной линии кончен, а до исключения, как и до деталей — нам нет дела. Мы видели, что в главных чертах производит в первом поколении неразумие родителей деревенских, к чему это приводит во втором поколении рожденных в городе «дочерей девиц».

Далее этого идти уже некуда, и можно с утвердительностью сказать, что действительно «последняя вещь горше первой», ибо дочь крестьянки еще «для прилики» слышала наставление: «веди себя честно», а «дочери девиц», как выразилась одна из них на суде, получают от своих матерей «прямое руководство к своей жизни». Здесь, к удовольствию селохвалителей и градоненавистников, городские фрукты действительно оказываются гнилостнее деревенских, но дело не в скверных концах, а в дурных началах...

Несчастнейший контингент существ, о которых теперь вздумали говорить в «сферах», по преимуществу состоит из «дочерей девиц», и они составляют особи самые закоренелые и неисправимые в «руководстве своей жизнью». Специальные комитеты, основанные для руководства их к иной жизни, — бессильны перед их навыком, так же как тюрьмы и исправительные дома. «Привычка — чудовище». Одна благодушная дама, заведовавшая приютом, где исправляли таких несчастных, рассказывала мне, что они еще кое-как «маячат день», но «с приближением сумерек ими точно овладевает дьявол; он их томит, они начинают мучиться взаперти, как звери в клетках, и готовы разбить себе головы, чтобы уйти куда-то». И притом очень многие из них часто наделены умом, добротой, честностью и даже нежностью и уважением к добропорядочной жизни... Уважение и несостоятельность самой достичь его под искушением сумеречного дьявола... Это мог бы изобразить только один Эдгар По. Но нет никакого сомнения, что в распоряжении общества могут оказаться достаточные средства предохранить если не всех, то многих от этого ужаснейшего состояния, когда уже никакая морализирующая сила человеческая не действует, а словом чудотворца наше общество не располагает.

Законоположение, по которому требуется, чтобы у матери ребенка, требуемого из воспитательного, были «свои средства» для жизни, без сомнения, вытекало из похвальной заботы, чтобы ребенок не погиб на руках

неимущей матери. На практике это сводится к фикции, которая ничего не гарантирует. Но «человек жив бывает не о хлебе едином» — нравственное состояние стоит не меньшей заботы, и такая забота до известной степени возможна. Пока дитя в ведении воспитательного дома, за его воспитателями есть контроль, — дитя посещают врач и ревизоры. С выдачею его матери все это кончается, несмотря на то, что крестьяне, у которых росло дитя, нравственно часто надежнее, чем мать... Общество покровительства детям тут может и, кажется, должно бы прийти на помощь и оказать в очень большом масштабе подвиг своего служения беспомощному детству. Нет нужды лишать мать ее права получать своего ребенка, но есть святое право человеколюбия желать, чтобы у такого ребенка, кроме матери, однажды его уже покинувшей, был опекун и поручитель за то, что оно не будет утоплено, задушено, заморено, продано нищим и «пятнальщикам» (о которых писал Вс. Крестовский), и наконец, чтобы оно не было «прямо ведено по руководству к неправильной жизни». Общество, желающее покровительствовать детям, не обнаружит ни прозорливости, ни способности бороться со злом в обхвате, если оно не захочет приклонить свой слух туда, откуда несется самый раздирающий вопль маленьких «дочерей девиц», поедаемых своими матерями.

Имеющие уши, чтобы услышать, — должны бы это услышать.

ТЕМНЕЮЩИЙ БЕРЕГ

Всякая курица на насест хочет.

Эстонская пословица

На сих днях мне привелось прочитать в петербургских газетах, что «бердянское городское общество ходатайствует о неприменении к нему циркуляра министра народного просвещения, ввиду того, что бердянское общество, сооружая гимназию, имело в виду именно дать возможность получить в гимназии образование детям небогатых родителей из городского и сельского населения, то есть именно тому разряду детей, который министерским циркуляром отстраняется от гимназий». Газета «Неделя», в которой это известие напечатано,

присовокупляет, что, «вероятно, такие затруднения новое распоряжение вызвало и в других городах».

Соображения «Недели» совершенно справедливы, доказательством чего служит заявление русских в Гельсингфорсе, чувствующих себя в приниженном положении перед согражданами финского происхождения.

На окраинах государства это действительно обозначается резче и чувствуется сильнее. Я прожил лето на острове Эзеле, в г. Аренсбурге, где есть классическая гимназия. Это есть единственное среднее учебное заведение для всего населения островов Эзеля, Даго, Мона, Вормса, Нука, Оденсгольма и других меньших островов здешней группы.

В Аренсбургской гимназии обыкновенно обучается средним числом около ста пятидесяти учеников, и из них едва двадцать пять — тридцать принадлежат к дворянским или чиновничьим семьям, а все прочие огулом «относятся к тому разряду детей, который министерским циркуляром отстраняется от гимназий». Бердянск схож в своем положении с Аренсбургом в том отношении, что оба эти города не могут похвалиться населением их родовой знати, а население их торговое и простонародное.

На острове в 1881 году насчитывали до ста тысяч жителей, а дворянских семей считается 38, из коих далеко не все живут в своей Озилии. А потому в гимназии в Аренсбурге, как и в Бердянске, преобладает элемент простонародный. Но Бердянск сравнительно с Аренсбургом — большой туз и капиталист по зажиточности своих граждан, тогда как Аренсбург — бедняк. Это городок крошечный и до того лишенный торгового значения, что здесь нет ни одного значительного капиталиста. В Аренсбурге нет ни одного купца первой гильдии, а все его граждане, за исключением очень небольшого числа чиновников, есть только мелочные торговцы, ремесленники да чернорабочие — по преимуществу рыбаки и судоходы. В Аренсбурге все мало-мальски видные граждане на перечете, и те, по общему понятию о торговле, должны быть отнесены к разряду «мелочников». Вильденберг мнет кожи и подвозит грузы к пароходам; Цаунит, Швальбах и Исаева торгуют в лавках при своих квартирах и ведут торг смешанный, мелочной и галантерейный, и нитками и иголкой, и обувью, и письменными принадлежностями; Рар, Рейхард, Ланге

и двое других Исаевых и Константинов также мелочники — одни торгуют бакалеею, чаем и сахаром и табаком, глиняною и стеклянною посудою и духами; еще двое других Исаевых и Томсон торгуют на базаре горшками, косами, кимрскою обувью, ситцем, гвоздями и веревками. Такова торговая аристократия или знать Аренсбурга. Все остальные торговцы, которых, по незначительности их, вовсе не поименовываю, представляют уже совершенное ничтожество в торговом смысле; но все они кормятся от своих торговых занятий и все нужны для разнообразных потребителей, а притом они все, или почти все, — сами получили образование в своей гимназии, и все имеют вкус к образованию. Они все желают воспитывать своих детей в своей же Аренсбургской гимназии и жили до сих пор в полной уверенности, что это так и будет. Им всегда казалось, что существующая в Аренсбурге гимназия для того именно здесь и существует, чтобы поддерживать общую образованность во всем без исключения населении островов Эзеля, Даго, Вормса и Мона, а не для одних двадцати пяти — тридцати мальчиков дворянского и чиновничьего рода. В этом же духе относятся к этому и эзельские ремесленники — и портной Круль, и портной Винншток, и часовщик Шотц, и сапожники, и мясник Трофен, и булочник Петринг, и колбасник Линк, и корабельные плотники, и лоцмана предместья Торри, и даже одинокие женщины-вдовы, живущие вязаньем шерстяных вещей для приезжающих сюда на лето русских дам. Все эти мызники и горожане хотя люди бедные, но все они имеют уважение к образованности и твердо верят в ее практическую пользу, а потому они непременно желают, чтобы их дети могли получить образование в гимназии. Дошедшее теперь до их ведомства министерское распоряжение об отстранении их детей от права учиться в гимназии только потому не подвергает их в отчаяние, что они с неодолимою, упрямою наивностью считают это за «невозможное». Они мотают головами, как их эстонские клеппера, и говорят: «Это невозможно есть! — Это сопротив Петра Великого». Но если они ошибаются и то, что им кажется «невозможностью сопротив Петра Великого», окажется на самом деле возможным, то тогда в Аренсбурге произойдет неминуемый гимназический крах, ибо для двадцати пяти — тридцати учеников дворянского и чиновничьего звания содержать целую гимназию будет

не резонно, и ее, без сомнений, придется закрыть, а с этим столь же неминуемо все понимающее смысл образования население столь больших островов, как Эзель, Даго и Мои, будет лишено средства к образованию и станет поневоле погружаться в невежество. А это не только опечалит всех здешних жителей, отстраняя их от довольно общего и довольно сильного стремления к образованию своих детей, но отзовется самым невыгодным образом на экономических и политических условиях края. С таким невежеством, в котором привыкли жить горожане маленьких городков в серединной России, нельзя жить на островах, где толкаются и шведы, и датчане, и заграничные немцы. Немецкие торговцы балтийского поморья все имеют гимназическое или равное гимназическому образование и принимают к себе на службу тоже только таких молодых людей, которые получили образование. Невежде из «молодцов» — как бы он молодцеват ни был — здесь придется и скоротать свой век в черной работе или на побегушках. В числе приказчиков крошечного Аренсбурга людей с гимназическим образованием более, чем в Москве или Петербурге. То же самое в Ревеле, в Пернове, в Либаве, в Риге и в Дерпте, а меж тем все эти люди из очень бедных семейств — их отцы чинили сапоги приезжим сюда русским «кургастам» *, а их матери и сестры даже теперь вяжут нам «ревматические носки» из немытой шерсти и стирают наше грязное белье... И хотя они промышляют средства к жизни стиркою и вязаньем, но, однако, содержат в гимназии своих младших сыновей и братьев, чтобы те выросли и получили возможность зарабатывать более, чем достает чернорабочий... Возвратить им теперь их питомцев недоученными или отстранить от гимназии тех, которых они туда подготовили, — это, по их мнению, будет равносильно тому, что отнять у них самую главную надежду на то, что подготовленный ими сын или брат достигнет большего заработка и лучшего положения и тогда успокоит старость родителей и поддержит остальное семейство...

Отнять этакую надежду у семейств не будет ли значить — отнять слишком многое и слишком драгоценное, с потерею чего почти невозможно примирить-

---

* Курортникам (*нем.*). — *Сост.*

ся в настоящем и невозможно ничем утешиться в будущем.

Но дело это имеет еще одну сторону, где экономические условия частных лиц находятся в тесном и неразлучном соприкосновении с условиями общего государственного значения.

Эзельцы, дагероты и монцы, равно как и другие побережные эсты и латыши, во множестве занимаются мореходством. Они прирожденные моряки, и роль их очень велика в русском мореходстве, — что и хорошо рассказано в статьях латыша г. Вольдемара[1], напечатанных в «Русском Вестнике» покойного Каткова. Простые сельские люди из эзельцев и дагеротов служат во множестве на пароходах и купеческих парусных суднах, а более образованные служат капитанами, шкиперами, подшкиперами и штеерманами *. Между сими последними есть значительное число людей с образованием средних училищ, и хороший капитан или шкипер с образованием всегда имеет преимущество перед соответственным лицом, не получившим образования. Шкипер, кроме своего чисто технического мореходного дела, должен иметь общие сведения, которые дает образование. Он должен знать относящиеся к его делу законы, математику, географию и иметь коммерческие познания — где что производится и куда то производство имеет сбыт. Шкипер судна идет с деньгами, чтобы в случае недостатка наемного груза сделать покупку и знать, куда ее отвезти, где выгодно сбыть. Он должен быть немножко начитан и, как говорят, «стоять au courant **» с тем, что делается на свете. Иначе он будет без фрахтов и, по морскому выражению, «станет блуждать как дурак». Чтобы не быть «блуждающим дураком», он непременно должен иметь общее среднее образование. В портах, куда он заходит, он сидит на берегу, в кофейне или в клубе, с шкипером иностранным — с заграничным немцем, с шведом или финляндцем, и старается того понять и даже перехитрить и во всяком случае не удариться перед ним лицом в грязь. Для всего этого опять, кроме мореходного знания, надо иметь такую образованность, чтобы не быть во всем ниже всякого встречного заграничного собрата. И потому понят-

* Штурманами (*нем.*). — *Сост.*

** В курсе (*фр.*). — *Сост.*

но, что моряк или латыш или эстонец очень заботится о том, чтобы быть не хуже иностранца. Для этого у шкипера каждой эстонской шхуны есть с собою и европейское платье работы местного Круля или Бинштока, и для этого же он выучился хорошо говорить по-немецки и немножко по-русски, а иногда и по-французски. Все это ему необходимо, и все это он, как сын бедных родителей, мог получить только в той гимназии, где он учился на деньги, добытые матерью и сестрами за стирку белья «кургастам»... Что же будет теперь, если его сын или младший брат не попадут в эту гимназию, если они будут «отстранены» и останутся невеждами... После этого их шкиперами не возьмут, а они должны будут идти в простые матросы — «травить канат» да поднимать якорь. Такое положение не приведет ли их в отчаяние, и не возьмутся ли они за старину — зажигать потихоньку темной ночью фальшивые огни под опушкою лесов на опасных берегах близ маяков Фильзанда и Дагерорта, чтобы наводить суда на рифы, а потом «спасать» эти разбившиеся суда посредством полнейшего разграбления их груза...

Береговое пиратство, которым славились в старину Эзель и Даго, несмотря на нынешние преследования его законом, все-таки еще не совсем исчезло и составляет по преимуществу промысел береговых незадачников, и чем необразованнее и малосведущее шкипер, тем он легче примет разведенный на берегу фальшфейер * за маяк, точного положения которого он не умеет высчитать, стоя на палубе своей шхуны. Он может крепить паруса, отдавать шкоты, но хронометр, цифры и морские карты будут с ним не в ладах, и пират Фильзанда или Дагерорта начнет ловить на огонь морских угрей и, как пить дать, «посадит его на гряду», а потом придет его спасать и... грабить (что иногда почти одно и то же).

С отстранением эстонской молодежи на Эзеле, Даго и Моне от гимназии, существующей в Аренсбурге, уровень эстонской образованности упадет до нуля, и это не будет ли в противоречии с теми видами правительства, для которых не требуется, чтобы эстонская или латышская народность в здешнем крае принижалась и темнела в своей умственности. А это неизбежно должно слу-

* Ложный огонь (*нем.*). — *Сост.*

читься, если здесь отстранить от гимназии простолюдинов, ибо тогда на Эзеле, Даго и Моне, равно как и на всем южном побережье Финского залива, останутся с воспитанием только чиновники из немцев, а эсты и латыши будут чернорабочие, без выхода...

Вся та среда, из которой при содействии Аренсбургской гимназии до сих пор выходили люди среднего образования, нужные здесь, на суше и на море, утонет во тьме нищеты и невежества, и бедный край обеднеет еще более. Тогда останется господствовать на суше немецкий барон, а на море финны с севера.

— Придет, — говорят, — финн и спихнет с воды латыша и эста. Финну есть вольно учиться. Наш южный берег потемнеет, а финляндский все освещается светом: эсты и латыши будут матросами, а финны заступят везде шкиперами.

Так говорят здешние дети, сохраняя полную уверенность и «надежду на Петра Великого», что «это невозможность». Невозможно, чтобы за недостатком местных образованных людей пришел финн с севера, а Maa-mies (муж земли) и Maa-poika (сын земли) очутился у него в поношении... Это грозит полным обнищанием и всесторонним понижением их острова в темноту. Но, к счастью, кажется, еще не все кончено: и эсты, может быть, недаром уповают на «Петра Великого», как русские на Николу милостивого... В русских газетах пишут, будто устранительное распоряжение еще не решено — и будет еще обсуждаться в законодательном порядке. Надо желать, чтобы к той поре было известно все, что стоит быть принятым в соображение при обсуждении вероятных последствий отстранения от гимназий простолюдинов. То, что я здесь писал, кажется, может пригодиться при обсуждении положения длинного побережья, противуположного Финляндии, молодым ребятам которой соли на хвост не насыпано...

Пока же что будет разъяснено — новый учебный год на Эзеле начался по-старому, то есть в гимназию приняты все те дети, которых родители их привели и которые к следованию за учебным курсом оказались годными.

ВДОХНОВЕННЫЕ БРОДЯГИ (1894)

ВДОХНОВЕННЫЕ БРОДЯГИ

Удалецкие «скаски»

Величие народа в том,
Что носит в сердце он своем.
Ап. Майков

И ложные слухи в народе показывают стремление этого народа к известной цели.

Еписк. Порфирий Успенский
(См.: Книга бытия моего. — Т. 1. — С. 357).

I

«Скасками» назывались в России сообщения, которые «бывалые» русские люди, по возвращении из своих удалых прогулок, подавали своим милостивцам или правителям, а иногда и самим государям. В «скасках» удальцы обыкновенно повествовали о своих странствиях и приключениях, об удали в боях и о страданиях в плену у чужеземцев, которые всегда старались наших удальцов отклонить от любви к родине и привлечь богатыми дарами в свое подданство, но только наши люди обыкновенно оставались непоколебимо верны своему царю и отечеству и все соблазны чужих людей отвергали и постыжали, а потом этим вдохновенно хвалились. Более или менее интересное сочетание былей с небылицами в этом роде составляет главное содержание всех «скасок», а характерные черты их бродяжных героев — это отвага, терпение и верность. За эти добродетели сказочники просили себе награды, и «скаска» затем и подавалась. «Скаскам», которые сочиняли о себе вдохновенные бродяги, у нас легко верили, их читали заместо путешествий, и они доставляли

удовольствие высоким лицам, которые не читали ничего лучшего, а составители «скасок» получали через это славу от соотчичей и награды за удальство от правителей и государей.

Разумеется, до полных результатов в этом роде достигали не все «скаски», а только такие, которые были сложены особенно хорошо, то есть любопытно и «лестно» в патриотическом смысле. Таким милостивцы давали «высший ход», и сочинения эти доходили до царских палат и теремов, откуда вдохновенным сочинителям исходило «царское жалованье». И кроме того, после к ним никто уже не смел вязаться с требованием ответа за «шатательство» и за какие бы то ни было старые неисправности, так как «кого царь жаловал, того и Бог простил».

При императоре Петре I, с изменением, происшедшим в понимании русских людей, «скаски» вдохновенных бродяг потеряли свое значение в обществе: невежественные люди ими еще интересовались, но петровские грамотеи, ознакомившиеся с лучшими произведениями, перестали интересоваться «бродяжными баснями». А главное, деловитый царь не любил потворствовать глупостям, и «сказочников» прямо стали называть неучтиво «бродягами» и бить батогами.

Такая суровость не давала вдохновению бродяг простора, и «скаски» их было перевелись или оставались только в сфере преданий, живших в «местах заключения». Это была устная «острожная словесность», но нынче вспомнили и о «скасках» и дали недавно русскому обществу любопытный и будто бы последний образчик такого произведения, которое очень понравилось самой сильной современной русской газете, которая указала на это, как на прекрасную и достойную внимания вещь. Но на самом деле «скаски» в добросовестной литературе не могут получить похвалы, а должны получить прежде всего *разъяснение* их достоинств.

Настоящий очерк должен быть опытом в этом роде.

II

В истекающем 1894 году, в «Чтениях Моск. Общ. Ист. и Древн. России» напечатаны две челобитные со «скасками», поданные в 1643 г. царю Михаилу Федоровичу «турскими полоняниками», калужским стрельцом Ива-

ном Семеновичем Мошкиным и московским посадским человеком Якимом Васильевичем Быковым.

Редакция большой и самой влиятельной теперь петербургской газеты заинтересовалась этим документом и воспроизвела «скаску» с полным доверием ко всему, что там сказано. Она прямо назвала «скаску» Мошкина и Быкова «достоверным источником, который обстоятельно рисует быт чужих стран и предприимчивость, бескорыстие и патриотизм русских людей».

Думается, что если бы газета знала, какими людьми и с какими целями составлялись такие «челобитные со скасками», то она, наверно, предпочла бы просто перепечатать «скаску»: как любопытный образчик этого рода письменности, и не стала бы заверять «достоверность этого источника», явная лживость которого до того очевидна, что, несмотря на давность событий и отдаленность места описания происшествий, а также на полное отсутствие проверочных сведений, — лживость «скаски» все-таки легко доказать из нее же самой: что мы сейчас же и попробуем сделать.

Главным сюжетом сказки, приведенной в «Чтении Общества Истории и Древностей», служит отважный побег некоего Мошкина вместе с 280 русскими «полоняниками», томившихся более семи лет на турецкой каторге. Побег был устроен из Царьграда по заранее обдуманному плану с судна «каторги», которое принадлежало Апты-паше Марьеву.

На судне, по словам Мошкина, было «250» турок и «280» русских невольников — значит, почти на каждого русского невольника приходилось по одному турку. Пропорция ужасная для устройства побега, но тем занимательнее: как это сделается.

Мошкин под Азовом украл у турок сорок фунтов пороху и спрятал их у себя на «каторге», где их содержали так слабо и доверчиво, что они никому не попались со своей кражей. Мошкин решился взорвать «каторгу» в море и, когда произойдет взрыв, уйти с судна со всеми своими товарищами, 280 русскими полоняниками. С этой целью один раз ночью Мошкин прокрался в капитанскую каюту, захватил с собой весь украденный пуд пороха, и заложил весь этот заряд целиком около того места, где спал Апты-паша, подстроил под порох горящую головню, порох вспыхнул, и произошел взрыв, и «двадцать турок побросало в море»,

но и сам Мошкин «обгорел по пояс». Паша, однако, остался невредим, так как он спал на «упокойном» месте» и, проснувшись, поднял тревогу. Мошкин «учал ему говорить спорно», а потом бросился на пашу и проколол ему «брюхо». Началась схватка, после которой 210 турок были побиты, а 40 живых закованы в железо, а из русских 20 ранены и 1 убит *. Сам Мошкин был ранен в голову, правую руку и саблею — в голову и брюхо. После победы русские под предводительством Мошкина «пошли на судне». Идучи Средиземным морем, они побывали в «7 землях» и в Россию вернулись через Рим, Венецию, Вену и Варшаву. Они приставали и высаживались во многих городах и везде обращали на себя внимание и зависть иностранцев: везде «королевские ближние люди перезывали их в свои земли на службу и многие гроши давали». Такие богатые делали им предложения, каких они знали, что в родной земле их ожидать себе невозможно, но они все не соблазнялись и плыли, и, заболтавшись по морю, попали в испанский город Мессину, где испанский генерал увидал Мошкина и стал предлагать ему «по 20 р. в месяц», а всем прочим «давал гроши, и платья, и жалованья». Но Мошкин и все другие русские люди не польстились на выгодные предложения чужих правительств и «не подумали остаться в Европе».

Воздержались они от этого соблазна «помня Бога, православную веру, свою русскую природу и государеву милость».

III

Испанский генерал и прочие вельможи, увидав, что русские люди так верны, что не приняли сделанных им выгодных предложений, рассердились на них и переменили с ними обхождение, и вместо прежних ласк и соблазнов начали их донимать утеснением и скорбями. Начали они это с того, что, по приказанию своего воеводы, «отняли каторгу (судно), со всеми животы» (т. е. имуществом), а также отняли у них сорок человек турок, которых освободившиеся русские сами содержали те-

* Турок было всего 250 человек. Из них сброшено в море 20, побито 210 и осталось 40 человек, что составляет всего 270 человек. Значит, после катастрофы на двадцать человек стало больше. Газета даже и этого не заметила. — *Авт.*

перь у себя в плену и надеялись притащить их взаперти к себе «ко дворам» или продать где-нибудь в неволю, а при опасности, конечно, не затруднились бы и бросить за борт. Но испанцы досмотрели, что везли на судне, и все это дело расстроили: они не только отобрали турок и выпустили их на свободу, но еще из самих русских взяли семь человек под арест, вероятно для того, чтобы узнать, что они за люди и по какому праву держали у себя на «каторге» запертыми турецких людей. В «скасках» ничего не говорится о причине, для чего их придержали, но видно, что произошло что-то серьезное, после чего русские пошли от испанцев «наги, босы и голодны». И такое бедствие они терпели до самого Рима. В Риме один из товарищей Мошкина, воронежский крестьянин Григорий Кареев, заболел и лежал при смерти 2 месяца. А болезнь ему приключилась от ран, полученных на «каторге» (т. е. при стычке с турками); в Риме и «копье (т. е. наконечник стрелы) вынули у него из раны у папы римского». «У папы они приимали сакрамент»*. (Против этого места в скасках думный дьяк Иван Гавренев сделал помету: «отослать их под начало к патриарху для исправления».) Из Рима удальцы пошли в Венецию, Вену и Варшаву (sic) и везде «разговаривали с цезарями», и «все им были рады», и все их звали к себе на службу, но Мошкин и его товарищи чужим цезарям служить не захотели.

И так, во всех тяжелых и соблазнительных положениях своего плена, Мошкин показал себя человеком мужественным, неподкупным и беззаветно преданным православной вере и русскому царю. Таким он, нимало не обинуясь, выставляет себя сам в челобитной со «скаскою», и так же представляют его личность современные комментаторы челобитной; но я опять говорю, что человек, сохраняющий в себе здравый смысл, не может принять все рассказанное в этой «скаске».

Обратим внимание на явные очевидности, которые кидаются в глаза и говорят, что в «скаске» Мошкина есть много неправды, после чего трудно верить и остальному.

IV

1) Возможно ли, чтобы судно, при взрыве на нем целого пуда пороха, встряхнулось так, что некоторых

* Sacramento (*ит.*) — таинство, причащение. — *Сост.*

неподходящих людей скинуло в воду, а затем все свои люди уцелели и самое судно сейчас же было годно для дальнейшего плавания?

Нам думается, что это невозможно и что невозможность эта очевидна.

2) Вероятно ли, что Мошкин, опаленный огнем до пояса, сейчас же мог еще «спорно» разговаривать и, вставши, биться на саблях и проколоть брюхо совершенно здоровому паше?

По-нашему, это невероятно.

3) Отчего из 250 человек турок, которые плыли на судне, после взрыва насчитывается 270 турок? (20 сброшено в море, 210 убито русскими и 40 осталось у них, итого 270?)

Если это ошибка, то не странно ли, что она не замечена ни дьяком Гавреневым, ни «Моск. Обществом Истор. и Древн.», ни редакцией газеты, которая нашла весь этот рассказ «достоверным и обстоятельным»?

4) Как могло быть, что Мошкин, раненный в голову и живот, сейчас же мог принять команду судном и повел его далее?

5) Как могло случиться, что крестьянин Григорий Кареев, получивший тяжелые раны при взрыве судна, продолжал длинное путешествие морями и сушей и удальцы из-за него нигде не останавливались, а когда они уже много спустя плыли из Испании, после того, как у них там отобрали полоненных турок, то этот Григорий Кареев стал болеть от ран, полученных вначале их одиссеи, а когда они пришли в Рим, то Кареев у них так разболелся, что они дальше не могли плыть и простояли тут ради Кареева целые два месяца, и тогда только «вынули из него копье»? Неужто им не проще было поместить больного в госпиталь, а самим идти далее, а не харчиться в чужом месте, да еще вдобавок в католической столице, где их могла настичь и действительно настигла напасть духовная. Пока один больной исцелялся телом, все ожидавшие его выздоровления захирели духом и «приняли католический сакрамент»?

Что довело этих православных людей до такого поступка? Или они не знали постановления, что лучше умереть без всякого «сакрамента», чем принять его из руки инославной, или не влекла ли их к этому надежда на папу, что он заступится за них, если они будут

католики, и повелит испанцам возвратить им отобранных у них мусульманских невольников?

Вообще, какой интерес могли иметь иностранцы в том, чтобы их заманивать к себе; простых, ни к чему не наученных и ни в чем не искусных русских людей, когда по сведениям, бывшим уже тогда в России, «в чужих землях было весьма многолюдно, а хлеба не обильно». Что могли отнимать у невольников испанцы? Неужто кому-нибудь нужны были их невольничьи лохмотья?

Нет! Все это не могло быть так, как писано в скаске, а то не проще ли думать, что сами русские пришли в Рим о чем-то стараться и, усердно стараючись, «приняли и римский сакрамент», но ошиблись в соображениях, и это им не помогло в том, чего они добивались. Тогда они увидали свою ошибку и разорение и поняли, что они в чужих краях никому не надобны. Это сознание без сомнения и привело их на родину, где Мошкин вдохновился и, приложив к былям без счета небылиц, сочинил свою «скаску» и подал ее царю с просьбою: «пожалуй меня, холопа своего, с моими товарищами, за наши службишки и за полонское нужное терпение своим жалованием, чем тебе от нас Бог известит...»

Так это делалось в 1643 году, при царе Михаиле Федоровиче, и тогда, судя по пометке дьяка Гавренева, вся эта несуразная «скаска» была принята за серьезное дело. По крайней мере ей поверили в том, что Мошкин говорил о сакраменте, и за это его наказали. Затем, через двести пятьдесят лет, редакция современной русской газеты любуется этим документом и, нимало не стесняясь помещенными в ней нелепостями, называет всю эту чепуху «достоверным источником, обстоятельно рисующим быт чужих стран и предприимчивость, бескорыстие и патриотизм русских людей». Тысячи читателей газеты не замечают, какую им предлагают глупость, и многие из них верят, что «скаски» составляли справедливые и отважные патриоты, которым надо верить и подражать.

Но, может быть, указанное стремление газеты внушить обществу неверное понятие об одном из видов нашей «письменности» происходит от того, что редакция, воспроизведшая «скаску» Мошкина, не знает, что есть «скаска», точно такого же «сложения», сочиненная сто [пятьдесят] лет позже, именно в 1794 году, и достопри-

мечательная тем, что она получила народную оценку, а сочинитель ее признан бродягою.

Пусть посмотрят, как это разбирает народ.

V

В последней четверти восемнадцатого столетия проживал в Нижнем Новгороде мещанин Василий Баранщиков. Он был человек маленький, но предприимчивый и трудиться не любил, а желал разбогатеть как-нибудь сразу. На несчастие, это Баранщикову не удавалось: он запутался в долги разным честным людям и накопил на себе недоимку в общественных платежах. Дело было худо, но Баранщиков не сробел и с веселым духом переписался из мещан в купцы, чтобы ему более верили; набрал у людей в долг кожевенного товара, выправил в январе 1780 года из нижнегородского городового магистрата паспорт и уехал на ярмарку, которая собирается на второй неделе великого поста в Ростове. С этой ярмарки почтенный Баранщиков домой уже не вернулся и оставил там на власть божию и на людское попечение свою купеческую жену и детей без всякого пропитания. И купец и товар — все пропало бесследно, и в течение целых семи лет не было об этом удальце никаких слухов, как вдруг на восьмой год «нужа пригнала его к луже» и он появился в России, представляясь различным вельможам, и всех прекрасно обманывал, пока попался своим общественным людям, которые сейчас же разобрали дела Баранщикова в тонкостях и «Лазарю», которого он распевал, не поверили, а потянули его к расправе. Тогда Баранщиков обратился к старинному средству «снискать себе счастие в особину» и составил о своем бродяжестве «скаску» с тем, чтобы поднесли ее особам и царице в виде печатной книжки под заглавием «Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трех частях света, в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год» (С.-Петербург. — 1787).

Из этой редкой книжки, представляющей экземпляр «скаски» екатерининского века, мы возьмем только самое существенное, что повествовал о себе Баранщиков. Он продал будто весь «свой товар» в Ростове и выручил за него денег 175 рублей. Из этих денег он хотел заплатить что следовало за товар тем, кто оказал ему дове-

рие, но деньги у него сейчас же украли ростовские мошенники. Баранщиков остался без всяких средств, так что ему не на что было и лошадей покормить. Тогда он, «не желая сидеть без дела, продал в Ростове за 40 рублей двух своих лошадей и отправился попытать счастья в Петербург».

По прибытии в Петербург он нанялся матросом на корабль генерала Михаила Савича Бороздина и коллежского советника Василия Петровича Головцына с платою по 10 рублей в месяц и в половине сентября вышел в море. Корабль был нагружен мачтовым лесом, а курс он держал «из Кронштадта в Бордо и Гавр де Грас». Однако на этом корабле Баранщиков дошел только до Копенгагена, где он опять сделался жертвой злоумышленников. И отсюда справки о нем уже стали невозможными, а приходилось верить ему во всем на слово. «Скаска» же Баранщикова становится с этого шага все более интересною и менее вероятною.

VI

Случилось так, что когда корабль Бороздина и Головцына пришел в Копенгаген, то Баранщиков «был спущен на берег для покупки нужных припасов и зашел в питейный дом, как свойственно русскому человеку, выпить пива». Тут он встретил датчан, которые показались ему очень приветливыми и чрезвычайно ему понравились. «Не понимая их языка, но видя их благорасположение, он знаками показал им, что ему надо спешить на корабль». А датчане тогда «сейчас же догадались, что он русский, и указали ему на водку и пиво».

Баранщиков, «как свойственно русскому человеку», не устоял против водки и пива и обязанности свои отложил, воспользовался приглашением и начал с датчанами пить. Через полчаса их приятная компания увеличилась, и к ним присоединился какой-то «нарядный плут». Этот внес оживление в беседу тем, что стал объясняться по-русски в таком роде: «здравствуй, брат! здорово ли ты живешь? откуда и куда плывете?» Себя же этот «нарядный плут» назвал русским из Риги, приехавшем на галиоте рижского купца Венедикта Ивановича Хватова, и плут угощал компанию водкой и пивом. Пили усердно все четверо, а «нарядный плут» во

все время выхвалял датчанам, какие они хорошие люди и какое у них славное житье, а потом стал склонять Баранщикова, чтобы он пошел на датский корабль ночевать. Баранщиков никак не мог придумать: для чего это датчанам хочется, и он сначала ни за что на это не соглашался, но потом, «совершенно обласканный внимательными чужестранцами и особенно полагаясь на слова своего земляка, согласился».

И вот Баранщиков не сопротивляется соблазну и прямо из питейного дома идет с датчанами на датский корабль. Так он избежал объяснений с лицом, которое послало его за покупками, на зато сразу же был удивлен очень неприятною переменой в обращении своих датских друзей: «они тотчас свели гостя в трюм и приковали за ногу к стенке корабля». Тут Баранщиков смекнул, что он обманут, и стал просить датчан «угрозами и ласкою» отпустить его на русский корабль. Но датчане уже не обращали никакого внимания на его просьбы, а только прислали к нему того «нарядного плута», который в кабачке выдавал себя за русского, а теперь успокаивал и «улещал» Баранщикова обещанием, что его скоро раскуют и свезут в Америку, где «житье доброе и много алмазов и яхонтов». Он, «как свойственно русскому человеку», глупости поверил и перестал хныкать, а датчане за то, что он утих, принесли французской водки и пуншу, накормили Баранщикова кашею и напоили водкой и пуншем, и он пришел в такое расположение, что опять «добровольно захотел остаться на корабле». Кроме Баранщикова, тут точно в таком же положении оказались еще и другие лица не русской национальности, а именно один швед и пятеро немцев, и все они были заманены на судно и здесь удержаны и закованы.

Утешительное обещание «нарядного плута Матиаса», что их раскуют, исполнилось верно. Как только датский корабль миновал брантвахты Гелсин-Норд и Гелсин-Бор, Баранщикова и с ним одного шведа и пятерых немцев датчане сейчас же расковали и велели всем им «одеть матросское платье», и «приставили их к матросскому делу», которое они и исполняли в продолжение пяти месяцев, до прибытия в июне 1781 г. в Америку, на богатый остров св. Фомы. На острове же св. Фомы началось другое: Баранщикова здесь высадили, но сейчас же «поверстали в солдаты» и привели

к присяге. Так как он был верен православию и чухонского Евангелия поцеловать не мог, то вместо Евангелия он поцеловал корабельный флаг Христиана VII с изображением Креста Господня. Потом ему положили солдатское жалованье, «по 12 штиверов в сутки, т. е. 24 коп., да по фунту печеного хлеба из банана» и дали ему тут новое имя «Мишель Николаев» — так как «слово Василий начальники не могли понять».

VII

Солдат из Баранщикова вышел никуда не годный, и штиверы и бананный хлеб отслуживал он плохо. Он «был непонятен в учении ружьем и не мог привыкнуть к немецкому языку». Датчане, много с ним побившись, нашли более выгодным исключить его из строя и поменять на двух негров. Так и сделали. По промену, Баранщиков достался испанскому генералу с острова Порторико, куда его и отправили. В Порторико Баранщикова привели в присутственное место и «заклеймили на левой руке». Клейм на нем выставили несколько, и все очень характерные. На левой руке Баранщикова были воспроизведены нижеследующие изображения: 1) Святая Дева Мария, держащая в правой руке розу, а в левой тюльпан; 2) корабль с опущенным якорем на канате в воду; 3) сияющее солнце; 4) северная звезда; 5) полумесяц; 6) четыре маленькие северные звезды; 7) на кисти той же левой руки был изображен осьмиугольник, а еще ниже 8) «1783 год», и еще ниже 9) буквы «М. Н.», т. е. Мишель Николаев (стр. 16 и 17).

Испанский генерал выменявший себе Баранщикова за двух негров, определил его к себе на кухню и поручил ему: рубить дрова, чистить кастрюли и котлы, носить воду и исправлять всякие другие кухонные работы.

Обязанности кухонного мужика показались Баранщикову гораздо больше по душе, чем беспокойная солдатская служба, и потом Баранщиков был у генерала «доволен пищею» и обхождением, и он начал стараться, чтобы не попасть куда-нибудь хуже, и скоро выучился «понимать по-испански» и мог уже говорить с генеральшей, которая была очень добра и жалостлива и вот ей стало жалко Баранщикова, что он оторван от семейства и живет в неволе, и она через полтора года упросила мужа отпустить Баранщикова на свободу.

Испанский генерал выдал ему печатный испанский паспорт с наименованием его: «Московитин Мишель Николаев», наградил его десятью песодорами (около 13 рублей) и отпустил на волю.

Баранщиков сейчас же стал заботиться, как ему возвратиться на родину, и для этого нанялся матросом на итальянский корабль, который должен был вскоре отойти в Геную, но в море судно подверглось роковой случайности, которая еще более отягчила участь Баранщикова.

VIII

Итальянский корабль, шедший в Геную, в январе 1784 года был захвачен в плен «тунисскими разбойниками или мисирскими турками, живущими в Африке». Баранщиков сделался рабом разбойников, которые без всяких разговоров «обрезали его в магометанскую веру». Было или нет на это собственное согласие Баранщикова, он умалчивает, но известно, что магометане никакого человека без согласия его не обрезывают. Омусульманив Баранщикова, дали ему имя Ислям, а потом стали его клеймить наново, и клеймили его «солнцем» на правой руке и отдали корабельному капитану Магомету. Магомет его полюбил и отвез в Вифлеем и там «сделал своим кофишенком», т. е. заставил его варить кофе. Баранщиков жил у Магомета год и восемь месяцев, и житье ему было не худое, но он очень наскучил своею должностью кофишенка, потому что ему каждый день приходилось варить кофе раз до пятнадцати. Это ему очень надоело. Кроме приготовления кофе, Баранщиков имел только одно развлечение: он развеселял и смешил четырех Магометовых жен, которым тоже было довольно скучно. Баранщиков развлекал их «скасками» о перенесенных им несчастиях и о своей русской жене и о детях, оставленных в Нижнем Новгороде. Турецкие дамы очень всем интересовались и стали с Баранщиковым «откровенны и жалостливы», а он, «приметя их слабость», придумывал, как бы еще усерднее их утешать, и затеял показывать им смешное и по их пониманию «чудное», т. е. сверхъестественное дело, которого никто, кроме русского человека, сделать не мог бы.

Это касалось невероятности аппетита и еще более невероятной силы и крепости желудка.

Однажды, «во небытность Магомета» дома, Баранщиков, оставшийся один при четырех турецких дамах, «насыпал целый глиняный» горшок сарацинским пшеном и, сварив из этого кашу, положил в нее тюленьего жиру, отчего «каша разопрела и горшок треснул». Смотревшие на все это турецкие дамы ужаснулись, что это такое состряпано и куда оно годно теперь, после порчи каши отвратительным тюленьим жиром. Тогда Баранщиков, видя их смешной ужас и непонятливость, сказал им: «вот посмотрите, сударыни, как я по российски стану кушать кашу. И он преблагополучно съел весь горшок и встал будто голоден».

Турецкие дамы глазам своим верить не хотели, что «Москов все это съел», и как только муж их возвратился, они все к нему подлетели и на перерыв друг перед дружкою спешили рассказать о каше с тюленьим жиром, от которой горшок лопнул, а брюхо Баранщикова осталось в целости.

Магомет не поверил женам, будто человек может съесть такое количество каши с тюленьим жиром, и, призвав Баранщикова, стал его допрашивать по-турецки: «Ислям Баша! нероды чок Екмель?», то есть: «как ты кашу ел? Если горшок треснул — отчего твое брюхо не треснуло?» А Баранщиков весело отвечает паше: «что это не важно, а что он еще два горшка съест». Магомет совсем изумился и сказал: «Ну, россияне! Вот так народ! Не даром они сожгли в Чесме турецкий флот, разбили корабли и умертвили храбрых турецких витязей! Но скажи пожалуйста — отчего вы такие сильные?» На такое любопытство Магомета, Баранщиков отвечал «хорошую ложь» (sic). Он сказал так:

«Наши солдаты презирают смерть: у нас есть трава, растущая в болотах, и когда наш янычар (т. е. солдат) идет на войну, лишь бы только ее укусил, то не подумайте, чтобы один человек не напустил на двести ваших турок, т. е. ики Юс Адам (sic). Так и я такой же, меня не подумай удержать; я тебе служу год и два месяца, а ты, Магомет, должен, по велению великого нашего пророка Магомета, через семь лет отпустить меня на свободу и дать мне награждение, и тогда я куда хочу, туда и пойду» (стр. 21—23).

«Совесть Магомета изобличила», и он сделал Баранщикова «на некоторое время счастливым». Содержал его вроде домашнего артиста и начал часто приглашать

к себе гостей, заставляя Баранщикова приготовлять и есть при них разопрелую кашу с тюленьим жиром, а потом рассказывать при всех «хорошую ложь», т. е. хвастать про ту траву, растущую на болотах, вкусивши которой, русские становятся неодолимо мощны. Гости с постоянным удивлением смотрели на обжорство Баранщикова, а потом, когда слушали его хвастовство, то качали головами и давали ему «по немножечку денег». Баранщиков же думал, что теперь он уже стал настоящая «душа общества», и не ждал конца этому приятному положению.

IX

Дурацкие представления, которые давал Баранщиков, разумеется, скоро наскучили, и публика не съезжалась больше смотреть на его обжорство. Баранщиков лишился аристократического фавора и опять «почувствовал печаль о своем отечестве и о христианской вере, о жене и о троих детях». Тогда он решился воспользоваться тем, что его никто не стерег, и он убежал от своего господина, но как он ранее не разузнал дорогу в Россию, то не знал, куда идти, и его опять поймали и привели к Магомету, а Магомет велел «бить его по пятам палками шамшитового дерева до болезни».

После такого наказания Баранщиков долго провалялся, а когда поправился, то сейчас же принялся искать средств так убежать, чтобы его уже не поймали и не били. Баранщиков пошел на корабельную пристань и стал там толкаться между корабельщиками, отыскивая «добродетельного» человека христианской веры, который бы его выручил из плена. Судьба ему поблагоприятствовала, и он нашел грека Христофора и попросился на его корабль. Христофор согласился его взять, но предварительно «учинил ему увещание». Он сказал: «как ты живешь у богатого господина, то смотри, ты ничего из его дома не украдь» (стр. 25).

Баранщиков дал слово, что ничего красть не будет.

В условленный день Баранщиков явился на корабль Христофора, и они отправились в Константинополь. По пути они заходили в Яффу, Венецию, Минулу и Смирну.

Из Яффы Баранщиков с Христофором и двадцатью

христианами ходили в Иерусалим на поклонение святым.

Грек Христофор, придя в Иерусалим, свел Баранщикова к греческим священникам и рассказал им о его злополучной участи и о невольном (будто бы) магометанстве. Иерусалимские греческие священники отнеслись к магометанству Баранщикова очень снисходительно, так как в их народе, при совместном житье с турками, переходы в магометанство и назад бывают нередко. Греческие духовные сейчас же разрешили Баранщикова и в знак освобождения его от магометанской веры «приказали сторожу заклеймить его на правой руке образом распятия Господня. Клеймо это большое, устроено все из игл, усаженных в крепкой доске железной, натертой порохом» (sic). Баранщикову было очень больно, когда его этим заштемпелевали, но зато теперь он стал опять православный христианин, каков был ранее до пленения его разбойниками.

В Венеции Баранщиков предъявлял свой старый испанский паспорт и получил от местного управления другой печатный паспорт с изображением на оном почивающего в Венеции святого апостола и евангелиста Марка.

В Микуле Баранщиков ходил к российскому консулу из славянцев Контжуану, который отнесся к нему очень участливо и велел ему явиться в Царьграде к русскому министру Якову Ивановичу Булгакову *.

Когда корабль пришел в Константинополь, Христофор поблагодарил Баранщикова за службу и, снабдив его греческой одеждой, расстался с ним, но денег ему не дал ни копейки, и Баранщиков всю свою надежду теперь возложил на русского министра Булгакова.

X

На другой же день Баранщиков пошел в Перу, где жил российский министр. Самого Булгакова Баранщиков не видал, потому что, по случаю моровой язвы, свирепствовавшей в Царьграде, Булгаков выехал из города на мызу. Тогда Баранщиков обратился к домоправителю Булгакова и «изъяснил ему все свои обстоятельства». Но «г. домоправитель не подвигнулся примером

* Як. Ив. Булгаков был назначен русским министром в Константинополь в 1781 г. и занимал эту должность семь лет. — *Авт.*

добродушного грека Христофора» — и мало дал веры рассказам Баранщикова и на паспорты его не обратил внимания, а «приказал, чтобы он никогда в дом императорского министра не ходил, претя отдачею, буди приидет под турецкую стражу, сказав притом с негодованием: как бы то ни было, что ты магометанский закон самовольно или принужденно принял, нужды нет вступаться его превосходительству, много вас таких бродяг, все вы сказываете, что нуждою отурчали» (стр. 36 и 37).

И вот Баранщикову при русских стало хуже, чем у чужаков, и пришлось ему добывать себе пропитание поденной работой на корабельной пристани. Плата была изрядная: по два левка в день, т. е. по 1 р. 20 к., но жить было дорого, и денег едва хватало. В свободное от работы время Баранщиков не раз ходил в бедном греческом платье в российский гостиный двор и искал покровительства у приезжавших туда русских купцов. Но все русские купцы были тоже народ тертый и, как булгаковский домоправитель, совсем не верили «скаскам» Баранщикова и помощи ему не оказали. В этом горестном положении, оставленный неимоверными русскими, Баранщиков обратился опять к легковерным туркам и среди них случайно встретил близ гостиницы российского двора двух, с которыми сошелся и опять надолго отвлекся от осуществления своего страстного стремления возвратиться на родину и соединиться с любимою семьею и с истинною святою, православною верою.

XI

Новые знакомые, которых Баранщиков встретил у гостиного двора, «весьма изрядно» говорили по-русски и называли себя сапожниками из Арзамаса. Один из них, по имени Гусман, пригласил Баранщикова к себе на дом, «обещал счастие». Баранщиков пошел и сразу же убедился, что опять попал к магометанину. Гусман имел трех жен и увещевал Баранщикова позабыть про свое отечество и принять магометанство. А когда Баранщиков «из простодушия» и в предотвращение какой-либо беды открылся, что он давно уже магометанин и хорошо знает весь закон Магомета, то Гусман пригрозил ему и сказал: «для чего же ты, будучи в магометановом законе, носишь одежду греческую? Ты знаешь ли, что за сие смерть определена?» Баранщиков испугался, «пал ему в ноги и просил пощады». Гусман оказался человек не злой, вместо

того, чтобы вызвать против Баранщикова свирепое турецкое зверство за то, что он перекидывается то в христианскую веру, то в магометанскую, выдумал очень благочестивую шутку. Гусман наказал Баранщикову скрыть, что он уже потурчен, с тем, чтобы еще один раз произвести над ним воссоединение к магометанству, — за что там набожные магометане подавали невоссоединенным пособия и награды. Баранщиков видел, что Гусман хочет сделать из него прибыльную статью, и ему не сопротивлялся. А Гусман тотчас же побежал к имаму, «т. е. попу», и купил у него за 20 левков такую записку: «Россиянин Василий пришед в Стамбул, т. е. Царьград, добровольно принял Магометов закон, научен молитвам и наречен именем Ислями». При этом имам Ибрагим выучил Баранщикова одной магометовой молитве (42 и 43 стр.).

Гусман же строго наказал Баранщикову, чтобы он делал вид, будто ничего не знает по-турецки, кроме одной той молитвы, которой его научил имам. Так Баранщиков и начал выдавать себя за новоприявшего магометанский закон, а Гусман начал этим аферировать.

Этот магометанский пройдоха прежде всего повел Баранщикова к великому визирю, который за принятие магометовой веры повелел выдать Баранщикову сто левков и определил его в янычары с жалованием по 15 пар ($22^1/_2$ коп.) в сутки. От визиря оба плута пошли по другим турецким господам и богатым купцам, которых Гусман знал как людей благочестивых и не равнодушных к вере. Всех их они надули. Гусман им рассказывал, как Баранщиков проклял свою прежнюю веру и посвятился магометанству, и теперь его надо поддержать, чтобы он мог жить, не боясь своих прежних христианских единоверцев, а турки-купцы и знатные особы все поверили этим рассказам и давали им деньги. «Таким притворством святости и посредством хождения в мечети насбирали они через одну неделю 400 левков (240 руб.)». Сумма для двух негодяев очень хорошая, но с разделом ее вышла неприятность. Баранщиков рассчитывал все эти деньги взять на молитвы себе, так как они были подарены мусульманами для поддержания его благочестия, но Гусман захотел получить себе долю из сбора за то, что водил Баранщикова к благодетелям, а как Баранщиков не видел надобности с ним делиться, то у них из-за этого произошла неприятность, и Гусман прибег к угрозе, что он расскажет о притворчестве Баранщикова и «добьется для него смертной

казни». Тут Баранщиков увидал, что дело опасно, и, чтобы развязаться с дурным товарищем, дал Гусману половину (200 левков) из того, что они собрали, и Гусман этим удовольствовался.

Поправив свои денежные обстоятельства, Баранщиков опять надолго успокоился насчет православия и своего семейства и не спешил возвращением на родину, а служил янычаром и жил в казармах «под командованием чиновника, по их названию юг-баши». Ему опять было очень не худо: он получал полное жалованье, содержание и табак, и, прижившись, задумал жениться по-турецки, потому что «ни обшить, ни обмыть его было некому». И вот, чтобы получить себе швачку и прачку, Баранщиков обратился за помощью опять к тому же Гусману, с которым они было поссорились за деньги, собранные их совместным плутовством. И они сейчас же опять сошлись на новое хорошее дело.

XII

Гусман не только укрепил Баранщикова в намерении жениться, но сейчас же нашел ему и невесту: он посоветовал ему взять себе в жены восемнадцатилетнюю Ахмедуду, сестру одной из трех жен самого Гусмана. Баранщикову было все равно: «кто бы ни была, лишь бы баба», и он сразу же согласился жениться на молоденькой Ахмедуде — и переселился из казарм в дом Гусманова и своего тестя, по имени Магомет. Свадьба его с Ахмедудою была совершена «по их обрядам в мечети», и положено условие: в случае жена будет не люба, «заплатить 50 левков (30 р.) пени и отпустить ее». С полученною таким образом молодой женою Баранщиков жил более восьми месяцев, и жить ему было хорошо. Турки очень доверчивы, а тесть Баранщикова, Магомет, так его поставил, что Баранщиков был в его доме полным господином и распоряжался всем хозяйством. Тесть был им доволен и «хвалил всем почтение, отдаваемое всякий день зятем Ислямом».

Но Ахмедуде он стал неприятен, и она начала сомневаться в том, что он истинно держится мусульманской веры, «замечая в нем неумовение» (48 и 49 стр.), что для нее, как для мусульманки, было невыносимо. Через это Ахмедуда стала к нему не только неласкова, а потом даже сделалась «свирепая».

Но если Баранщиков утратил расположение у молодой. Ахмедуды, то «Имам (поп)» стал его убеждать, чтобы он взял себе еще одну жену, кроме чистюли Ахмедуды. Однако «всемогущий Бог устроил жизнь его инако».

XIII

Однажды, стоя на часах, Баранщиков увидал голову преступника, выставленную напоказ и в поучение всему народу. Это Баранщикова возмутило. В другой раз он встретил на улице одного хлебника, у которого не доставало на руке трех пальцев; Баранщиков спросил, отчего это у него на руке не достает пальцев, а тот отвечает, что пальцы у него отрезаны за обмеривание и обвешивание покупателей. Баранщиков опять ужаснулся, как турецкие власти строго за всем смотрят, и узнал, что полиция даже нередко подсылает таких разузнавщиков, которые все подсматривают и подслушивают: как мусульманин ведет себя в людях и дома и нет ли в ком чего беззаконного и утаенного, и если что-либо таковое окажется, то тогда ему нет пощады. И за несоблюдение себя с женщиной тоже могут наказать очень строго. Баранщикову это показалось ужасно недостойно и придирчиво, и он вспомнил, какое отвращение внушил к себе молодой жене своей Ахмедуде и опять затосковал по родине и сейчас же ощутил непреодолимое желание вернуться в Россию (53—54).

Баранщиков так струсил, что не стал отлагать своего намерения, а немедленно пошел в Галату и разыскал там русского казенного курьера, приехавшего из Петербурга с бумагами к послу. Баранщиков расспросил у курьера, как и через какие города надо ехать до российской границы. Другого источника он для этой справки не придумал. Время же тогда приближалось к магометанскому Рамазану, и Баранщиков, как турецкий солдат, должен был идти на смотр к великому визирю и получить жалованье.

Тесть его, доверчивый и добрый старик Магомет, заботясь о нем, как о родном сыне, принялся его наряжать и прибрал зятя очень щеголевато: он дал ему богатый шелковый кушак, перетканный золотом, кинжал, оправленный жемчугом, красными и зелеными яхонтами, и два пистолета с золотою насечкой (58 стр.).

Баранщиков позволил, чтобы добрый старик все это на него надел, а сам захватил с собою два паспорта и запрятал их под платье. Тесть и жена заметили это и по-

любопытствовали, что это за листы, а Баранщиков солгал им, что «это русские деньги, которые он хочет разменять». Потом он явился к визирю и получил от него похвалу и 60 левков (36 р.) жалованья; а к тестю и к жене назад уже не вернулся.

XIV

Вместо того, чтобы возвратиться домой, Баранщиков пошел со смотра в Галату к знакомому греку Спиридону, у которого переоделся в бедный греческий костюм, и оставил Спиридону турецкую чалму, красные сапоги, кушак, кинжал и два пистолета. Очевидно, что этому греку он все тестевы вещи продал, а деньгам нашел употребление, «как свойственно русскому человеку», и затем, 29 июня 1785 года он отправился в свое отечество, «презирая все мучения, даже и самую смерть, если случится, что пойман будет».

Через пять недель, а именно четвертого августа, Баранщиков был уже на Дунае и встретил тут запорожских казаков. Они его приветили, и он проживал у них некоторое время: в разных домах, «у кого дни два, три и четыре».

Запорожцы оставляли его у себя совсем, но Баранщиков не захотел якшаться с такими буйными и непокорными перед властью людьми, а наоборот, он еще им внушал, чтобы они покорились и вернулись в Россию. Но огрубевшие казаки его не послушались и отвечали: «что мы там (в России) позабыли? Поди туда ты, если хочешь, а мы не хотим, да и ты, когда пойдешь, добра не найдешь» (62 стр.).

Разумеется, запорожцы не сбили Баранщикова и не уклонили его от предначертанного им себе пути: он ушел от них и, питаясь подаянием, прошел через Молдавию и через Польшу и пришел наконец в Васильковский форпост. Здесь с него русские сейчас же сняли допрос, а паспорты отобрали и отослали его в киевское наместническое правление.

Из киевского наместничества Баранщиков получил указ, чтобы явиться в Нижнем Новгороде властям, причем правитель киевского наместничества генерал-поручик и кавалер Ширков отнесся к Баранщикову очень милостиво, пожаловал ему пять рублей на дорогу, а два паспорта отправил по почте в нижегородское наместническое правление. Баранщиков же пошел через города Нежин, Глухов,

Севск, Орел, Белев, Калугу, Москву, Владимир и Муром и везде рассказывал свою «скаску» и находил охотников ее слушать, после чего его кое-как вознаграждали за его злострадания.

Наконец, 23 февраля 1786 года Баранщиков, после семи лет отсутствия, вступил в Нижний Новгород, где положение его представляло большие осложнения, так как Баранщикову дело шло не только о том, чтобы здесь водвориться, но чтобы ему сбросили с костей все его долги... Да, он хотел, чтобы с него не взыскивали ни старых долгов, ни податных недоимок, ни денег за кожевенный товар, который он взял в долг и не привез за него из Ростова никакой выручки.

Надо было сделать так, чтобы все это ему было «прощено», и он на это надеялся, и в этом-то случае ему и должна была сослужить службу та «скаска», которую он о себе расскажет. Но мы увидим, как это различно действовало на тех, кто может прощать, и на тех, которым надо платить за прощенника.

XV

Нищенствовавшая семь лет в Нижнем жена Баранщикова не узнала своего мужа, так как он был «бритый и в странном платье». Он должен был рассказать своей Пенелопе бывшие с ним приключения, на первый случай умолчав может быть только об Ахмедуде. Тогда жена поверила, что это ее пропавший муж, и «обрадовалась». Дом и все хозяйство Баранщиков нашел в полном разорении и узнал, что семья его давно уже нищенствует, чего как будто он не ожидал, покинув их без всего и на произвол судьбы. Но всего хуже было то, что Баранщиков многим здесь должен и что нижегородцам не заговоришь зубы, как он заговаривал их доверчивым туркам, а иногда и грекам. Баранщиков сообразил, что самое надежное, на что он теперь может рассчитывать, — это найти благоволение у начальства и самое лучшее иметь на своей стороне высшего администратора в крае.

Генерал-губернатором в Нижнем в ту пору был генерал-поручик Иван Михайлович Ребиндер, который слыл за человека очень доброго, но очень недалекого. Баранщиков сейчас же ему явился и обошел его не хуже, чем турецкого пашу.

Ребиндер, выслушав скаску Баранщикова о его стран-

ствованиях и несчастных приключениях, не разобрал, сколько тут лжи и сколько непохвальных поступков есть вправде, и пожаловал проходимцу 15 рублей да сказал ему: «я тебе во всем помощником буду, но не знаю, как гражданское общество в рассуждении за шесть лет податей службы и тягости с тобой поступит; ты прочитай нового городового положения статью 7, я городовому магистрату приказать платить за тебя не могу» (66 и 67 стр.).

Это Баранщикову не понравилось: он был того мнения, что генерал-губернатор может всем и все приказывать, и именно того только и хотел, чтобы подати за него заплатили миром, а частные долги простили ему. С «законом же положений гражданского общества» он не хотел и справляться. Раз, что генерал-губернатор толкует свои права так ограниченно, Баранщикову нечего копаться в законах, а лучше прямо искать сочувствия и снисхождения у граждан Нижнего Новгорода, которые его знали и помнили, и платили за него его недоимки.

Но граждане совсем «не вняли голосу человеколюбия» и, несмотря на то что Баранщиков показал им себя всего испещренного разными штемпелями и клеймами, а потом, стоя перед членами магистрата, вдруг залопотал на непонятном языке, они объявили его б р о д я г о ю и предъявили к нему от общества платежные требования. Нижегородцы насчитали на него за шесть лет бродяжества 120 рублей гильдейных, а как Баранщиков денег этих заплатить не захотел, то они его посадили в тюрьму.

Добродушный Ребиндер оказал было в защиту Баранщйкова какое-то давление, и бродягу за общественную недоимку из-под ареста выпустили, но сейчас же на него были предъявлены от частных лиц счеты и векселя более чем на 230 рублей, и Баранщикова, по требованию этих кредиторов, опять посадили под стражу.

Тут он увидел разницу между неверными турками и своими единоверными нижегородцами и сразу понял, что ему от этих не отвертеться: сразу же в удовлетворение его долгов кредиторам был продан *с* торгов его дом, который был так ничтожен, что пошел всего за 45 рублей. После этого Баранщиков был на время выпущен из тюрьмы, но теперь семья его лишилась даже приюта, которого у нее не отнимали, пока отец странствовал, ел кашу, служил в янычарах и, опротивев одной жене, подумывал взять себе еще одну, новую.

Но и этого мало: Баранщиков надеялся, что теперь,

когда дом его уже продали, сам он, как ничего более не имеющий и вполне несостоятельный должник, останется на свободе. Тогда он опять куда-нибудь сойдет и что-нибудь для себя промыслит, но и это вышло не так: к ужасу Баранщикова нижегородцы измыслили для него страшное дело. Так как Баранщиков был еще не стар и притом здоров, то магистрат рассудил, что ему не для чего болтаться без дела, и постановил — «взять Баранщикова и за неуплату остальных 305 рублей (185 долговых и 120 гильдейных) отослать его в казенную работу на соляные варницы в г. Балахну по 24 рубля на год» (68 стр.).

Вот когда Баранщиков вспомянул предсказание, которое ему делали зарубежные запорожцы, которых он хотел исправить, звал возвратиться в Россию, а они ему отвечали: «иди ты сам, а когда и пойдешь, то добра не найдешь...» Вот оно все это теперь и сбывалося!.. Что еще могло быть хуже, как попасть из кофишенков да в соляные варницы с отработкою по двадцать четыре рубля в год! За триста пять рублей ему там пришлось бы провести лет семь...

От этого он непременно хотел увернуться, а как генерал-губернатор наблюдает законы и не требует своею властию их нарушения, то Баранщиков в крайнем отчаянии обратился к вере и к ее представителям.

XVI

Баранщиков бросился искать помощи у нижегородского духовенства, которое, по его мнению, могло его защитить и даже обязано было задержать его высылку в Балахну, потому что его следовало еще исправить, как потурченного. Он хотел говеть и исповедаться во всем на духу и получить прощение в своих грехах; но русское духовенство совсем не было так великодушно, как греческое, которое враз исправило его в Иерусалиме и проштемпелевало. Нижегородские священники или были неопытны в этой практике, или же держали сторону общества, потому что он был обрезан и жил с женою в магометанском законе. Но все-таки по этому поводу возник вопрос, а пока об этом рассуждали, отправка Баранщикова в Балахну, на соляные варницы, замедлилась, а ему это и было нужно.

Священники отослали его к нижегородскому архиерею, который выслушал его милостиво, но вопроса о причаще-

нии его не решил и в свою очередь препроводил Баранщикова к митрополиту новгородскому и с.-петербургскому Гавриилу.

Вот это Баранщикову и было нужно: он того и хотел, чтоб попасть в столицу, где он надеялся найти жалостливых покровителей, через которых может довести свое дело до самой Екатерины. Повели нашего странника в Петербург и представили его там Гавриилу.

Митрополит Гавриил (Петров) был муж «острый и резонабельный». Так по крайней мере аттестовала его Екатерина II, посвятившая ему книжку о Велизарии с такими словами, что он «добродетелью с Велизарием сходен». Митрополит, сходный с Велизарием, действовал в духе времени и без затруднения разрешил сомнение нижегородского духовенства: он велел Баранщикова в Петербурге отисповедывать и причастить. Таким образом, Баранщиков, воссоединенный уже с православием благодатию священников греческих, теперь был закреплен в этом русскою благодатию и получил в этом доказательство, удостоверявшее, что в столице самые высшие особы светского и духовного чина приняли его сторону и отнеслись к нему совсем не так, как нижегородская серость.

В удостоверение означенных счастливых событий Баранщиков выправил себе из С.-Петербургской духовной консистории «билет» и под защитою этого документа вернулся обратно в Нижний. Теперь он был уже не «отурченок», а чистый православный христианин и притом человек, известный многим вельможам Екатерины. После этого можно было надеяться, что нижегородцы уже не посмеют теперь выбирать с него свои долги и не погонят его в Балахну на варницы, но нижегородцы ничем этим не прельстились: они продолжали видеть в Баранщикове «бродягу», за которого другие рабочие люди должны платить подати, да еще терпеть его мошеннические обманы, и потому они остались непреклонными и опять приступили со своими требованиями, чтобы послать его в Балахну на варницы. Баранщиков этого никак не ожидал и очень удивился, как простые купцы и мещане смеют умышлять над ним этакую грубость! Теперь он уже не робел, как было до представления его митрополиту, а писал в негодующем тоне: «Как! Это то самое общество, которое по призыву Минина — Сухорукова готово было заложить жен и детей и охотно вверило Минину свои имения, чтобы он с Пожарским «очистил Москву» от поляков? (72 с.).

И вот это оно-то самое общество, «не следуя ни примеру благотворительного купца Кузьмы Сухорукова, ни указу Ея Императорского Величества о банкрутах и проторговавшихся купцах», беспокоит его, Баранщикова, который «остается по претерпении злоключений и несчастий в Америке, Азии и Европе, и в своем отечестве» (72 стр.).

Ну, так он им себя покажет!

Баранщиков составил о себе «скаску» и отпечатал ее в Петербурге книжкой, из которой мы и взяли большинство поданных им о себе сведений. Книжка вышла в 1787 году, и издание ее сделалось для тогдашнего времени очень опрятное и должно было стоить значительных денег. Следовательно, у Баранщикова были какие-то состоятельные друзья, которые помогали ему издать его глупую и лживую скаску, вместо того чтобы заплатить его долги тем людям, которых он разорил своим беспутством.

Знатные лица и самый пошлый проныра и плут, проштемпелеванный всякими знаками во свидетельство его измен вере, объединяются в одном действе, лишь бы создать положение «на перекор положению закона гражданского»...

Это говорит много.

XVII

Литературная выходка Баранщикова до сей поры не обратила на себя внимания исторических обозревателей нашей письменности, а она этого стоит, ибо это едва ли не первый опыт «импонировать» обществу посредством печати. Во всяком случае скаска Баранщикова представляет собою очень характерное явление, которое показывает, как русское общество выросло за сто лет со времени скаски, поданной Мошкиным царю Михаилу, а в симпатиях к бродягам и в недружелюбии к «положениям закона гражданского» не изменилось. По существу и по целям составления, обе показанные скаски совершенно одинаковы: та же манера бедниться, канючить и выставлять на вид свою удаль, хвалить верность, благочестие и свои страдания. Даже необдуманность и неискусство в сочинении и согласовании очевидной лжи с такою действительностью, которой бы надо стыдиться и помолчать о ней хотя бы из скромности, — все одно и то же, как в «скаске», поданной Мошкиным в 1643 году, так и в «скаске» Баранщикова, напечатанной в 1787 году. Баранщиков

точно так же лжет о том, как он неумышленно съехал в Ростов с чужим товаром и попал ненароком на датский корабль в Кронштадте, а потом не знает, для чего сам себя клеймил то христианскими символами, то мусульманскими, и наконец, сделался кофишенком у турка и занимал общество своим обжорством, а потом плутовал, обирал турок и обокрал тестя и ушел, и паки восприял свою веру, и тем спасся, и долгов не заплатил и не попал на варницы...

Нравственное достоинство обоих этих памятников бродяжной письменности одинаково, но изучения «быта чужих стран» у Баранщикова уже больше, чем у Мошкина, и манера описаний у Баранщикова художественнее и правдоподобнее. У Мошкина нет ни одной такой бесстыжей, но яркой подробности, как поедание каши с тюленьим жиром или негодование молодой Ахмедуды на мужнино неряшество. Тут свои и чужие люди являются в положениях очень живых и удобных для сравнения, чего нет в скаске Мошкина, но кроме того, скаска Баранщикова гораздо определительнее скаски Мошкина показывает, к каким занятиям иностранцы употребляли у себя русских людей, которые к ним приставали. Мошкин только хвалился, что его манили, но он еще не знал, к чему бы его с товарищами приставили, а Баранщиков уже испытал все это на деле и убедился, что русскими помыкали и они даже у турок употреблялись только на самые простые услуги. Даже и в азиатском Вифлееме Баранщиков не мог показать ничего умнее, как только ел страшное количество каши с ворванью... Очевидно, что и Мошкину с товарищами выпало бы что-нибудь не лучше этого, но он как человек необразованный почитал себя за что-то очень редкостное и драгоценное, или же он прямо хвастал в надежде, что слушатели его скаски еще невежественнее, чем он сам, и не сумеют его хвастни отличить от истины. На этом его холопью душу можно понять и простить, но как быть с газетою, которая распространяла и нахваливала эту надутую и вредную ложь в конце XIX века?.. Газета не могла же не знать, что люди, писавшие скаски, всегда хвастали и что трудолюбивые люди в народе обыкновенно понимали их как бродяг и их бродяжным скаскам не верили, чему и служит живым доказательством отношение нижегородских граждан к «скаске», поданной в 1793 году мещанином Баранщиковым. Газета, без сомнения, могла найти надобность в воспроизведении «скаски» Мошкина,

как любопытного документа, но для чего же она стала уверять читателей в том, что эта скаска представляет «достоверный источник» и что такие неосновательные лгуны и хвастуны должны будто бы представлять собой «предприимчивость, бескорыстие и патриотизм русских людей»?..

Пусть сохранит господь всякую страну от таких патриотов и... от такой печати, которая их хвалит!

XVIII

Вместо того, чтобы уверять общество в столь явном и очевидном вздоре и такими уверениями портить понятие людей о бескорыстии и патриотизме, влиятельная газета поступила бы гораздо лучше, если бы, при большом изобилии ее средств, она произвела сравнения «скаски» 1643 г. со «скаскою» 1793 года, которая сделалась известною раньше мошкинской скаски. В этом сравнении газета без сомнения могла бы указать своим многочисленным читателям интересное сходство и еще более интересную разницу в подходах к тому, как получить «жалованье чем Господь известит». И все бы видели, как наивен был Мошкин, который составлял свою «скаску» в 1643 году только с тем, чтобы действовать непосредственно на жалостливость царя Михаила, и как дальше метил и шире захватывал уже Баранщиков, живший столетием позже; дрянной человек задумал взять себе в подмогу печать и, издав книгу, обмануть ею все русское общество и особенно властных людей, которые находили удовольствие помочь ему идти «наперекор положения закона гражданского».

Таким раскрытием правды понятия читателей были бы направлены к тому, чтобы уважать лучшее, а не худшее, — именно трудолюбие земледельцев, а не попрошайничество бродяг, которые указывали пример другим, как уклоняться от исполнения общественных обязанностей, взваливая их на скромных и трудолюбивых людей, не освобождаемых от исполнения всех «положений закона гражданского». А такие люди стоят самого теплого участия, которое просвещенная и честная печать должна и привлекать к ним.

А что потворства проискам проходимцев со стороны печати не только увеличивают наглость и дерзость людей этого сорта, но даже прямо накликают их в страну на

ее стыд и несчастие — мы это покажем из наступающего третьего очерка, герой которого протрубил о себе скаску через лейб-газету и тем приуготовил себе успех, какого не мог бы ожидать никакой иной штукарь, не заручившийся союзничеством с газетчиком.

XIX

Появление Ашинова [1] и вся его блестящая и быстрая карьера в России с трескучим финалом в Обоке есть дело вчерашнего дня, но тем не менее все это, однако, настоящая «скаска».

Несмотря на то, что Баранщиков появился сто лет после Мошкина, а Ашинов сто лет после Баранщикова, они все трое, по духу и доблестям, люди одного и того же сорта, но в похождениях каждого из них дух времени отражается по-своему и заставляет их избирать иные приемы к тому, как добыть «пессадоры» и «штиверы» в чужих краях, а потом у себя дома просить «милостивое жалованье за службишку». Мошкин, Баранщиков и Ашинов все не любят «положения закона гражданского» и идут к своим целям обходами, причем, однако, следят за практикуемыми в данное время приемами: и сами способны выбирать, что подходит по времени. Мошкин в 1643 г. едва голос поднимал и канючил: «пожалуй меня холопа с товарищи», и дьяк Гавренев распоряжался над ним «рукою властною». Пока дело дошло до того, чем этого «холопа помилуют», Гавренев уже «пометил» наказать его за то, что принял от папы сакрамент. Баранщиков, появившийся в конце восемнадцатого столетия, в литературный век Екатерины II, уже начинает прямо с генерал-губернаторов и доходит до митрополита, а свое «гражданское общество» и местное приходское духовенство он отстраняет и постыждает, и обо всем этом подает уже не писаную «скаску», которой «вся дорога от печи и до порога», а он выпускает печатную книгу и в ней шантажирует своих общественных нижегородских людей, которые, надокучив за него платить, сказали ему: «много вас таких бродяг!» Этот уже не боится, что его дьяк «пометит» к ответу за «сакрамент». Несмотря на то, что Баранщиков сделал гораздо большую вину, чем принятие католического сакрамента, ибо он не только раз, но несколько раз принимал из-за выгод магометанскую веру, собирал себе за это по дворам «ризки» и

потом женился на турчанке Ахмедуде и хотел взять еще другую жену, но все это не помешало Баранщикову поставить себя во мнении властных особ в Петербурге так, что «нижегородские попы и граждане ничего ему не смели сделать. Но этого еще мало: Баранщиков не только отверг обязанность платить свои долги и подати, он направил в укор нижегородцев такой шантажный рожон: «Как!.. Это то самое общество, которое, по призыву Минина Сухорукова, готово было заложить жен и детей и охотно вверило Минину все имения, чтобы он очистил с Пожарским Москву от поляков» (стр. 72). Издав с чьей-то помощью дрянную книжонку в Петербурге, бродяга Баранщиков уже издевается над обществом, озабоченным «исполнением положений закона гражданского», и, выводя себя на одну линию с Мининым, набрасывает на общественных людей обвинение в патриотической измене...

Попы и мещане должны были смириться и стерпеть наглости этого выжиги.

Просиявший же в конце XIX века Ашинов уже и знать не хотел о такой среде, как попы или мещане, а он прямо протянул откуда-то свою куцапую, бородавчатую руку Каткову и пошел фертом.

XX

В один достопамятный день редактор Катков [2], находившийся в оппозиции ко всем «положениям закона гражданского», за которые стоял ранее, возвестил в «Московских Ведомостях», что в каком-то царстве, не в нашем государстве, совокупилась рать, состоящая из «вольных казаков», и разные державцы, а особенно Англия, манят их к себе на службу, но атаман новообретенных вольных казаков, тоже «вольный казак Николай Иванович Ашинов», к счастью для нас очень любит Россию и он удерживает своих товарищей, чтобы они не шли служить никому, кроме нас, за что, конечно, им нужно дать жалованье. Катков сразу же почувствовал к этому атаману симпатию и доверие, рекомендовал России этим не манкировать, а воспользоваться названным кавалером, так как он может оказать службу в тех местах, где русским самим появляться неудобно.

Первое катковское заявление об этом было встречено с удивлением и недоверием: в Петербурге думали, что «злой московский старик» что-то юродствует. Люди гово-

рили: «На кой нам прах еще нужна какая-то шайка бродячей сволочи!» Но Катков продолжал свою «лейб-агитацию» и печатал в своей «лейб-газете» то подлинные письма сносившегося с ним Ашинова, то сообщения о том, что могут сделать в пользу России вооруженные товарищи этого атамана, укрывавшиеся в это время где-то не в нашем государстве в камышах и заводях. «Вольные казаки» не знали: идти ли им за нас, или «за англичанку», которая будто бы уже дала им заказ: что им надо для нее сделать, и прислала человека заплатить им деньги за их службишку. Тогда самые простые люди, имеющие понятие об устройстве европейских государств и о быте народа, сочли все это за совершенно пустую и глупую выдумку и знали, что ничего такого быть не может, но Катков все свое твердил, что вольные казаки могут уйти у нас из рук; что они уже и деньги от англичанкиного посла взяли, но что все-таки их еще можно остановить и направить к тому, чтобы они пошли и подбили кого-то не под англичанку, а под нас.

Это становилось смешно, и никто не мог понять: какую надобность может иметь «англичанка» в том, чтобы разыскивать и нанимать к себе на службу подобную шушеру, — не понимали и кого еще нам надо под себя подбить? Но тогда Катков рассерчал и объявил, что относиться к Ашинову с недостатком доверия есть измена!

Стало даже неудобно и разузнавать: кто он такой на самом деле и откуда взялся?

Но вдруг там же в Москве нашелся бесстрашный человек и стал спорить с Катковым.

XXI

Отважный московский гражданин был другой газетный редактор, Алексей Алексеевич Гатцук [3], издававший «Крестный календарь» и своего имени иллюстрированную газету. У Гатцука были в разных городах корреспонденты, и один из них знал об Ашинове и сообщил в «Газету Гатцука», что Николай Иванович Ашинов вовсе не «вольный казак», какого нет и названия, а что он пензенский мещанин, учился в тамошней гимназии и исключен оттуда из младших классов за нехорошие поступки. Потом он бродил и съякшался с какими-то темными бродягами и скитался с ними где попало, находясь всегда в стороне от спокойных людей, исполняющих положения граждан-

ского закона. Гатцук с радостью напечатал это известие, чтобы «открыть обществу глаза» и не допустить его до глупости носиться с человеком, который вовсе не то, за кого он себя выдает и кем он быть не может, так как никаких «вольных казаков» в России нет. Но несмотря на точность сведений Гатцука, которые ничего не стоило проверить в каждую минуту, и не стесняясь тем, что «вольных казаков» в самом деле нигде нет, очевидная ложь, выдуманная каким-то выжигою, при поддержке Каткова, стала за истину и заставила людей довольно почтенных играть перед целым светом унизительные и жалкие роли.

Говорили: «Да!.. черт возьми!.. Оно кажется... что-то того... Что-то не чисто пахнет, но ведь если подумать... Если вспомнить, кто был Ермак... так и надо потерпеть...

— Ну да, — возражали им: — но ведь Ермак «поклонился Сибирью», а этот чем же будет кланяться?

— А вот у него уж что-то есть!..»

И вдруг называли Египет и Индию.

И что же? «Все повинулось суете», «мудрые объюродеша» и «за ослушание истины верили лжи» (2 Фс, 2, 11—12).

И не прошла еще вся эта болтовня, как явился персонально сам Ашинов и сразу пошел из двора во двор, с рук на руки, находя везде «преданность и уважение и уважение и преданность». А про Гатцука Катков напечатал, что «в Москве были большие жары, и с Ал. Ал. Гатцуком что-то сделалось». Этого было довольно, да, пожалуй, можно было обойтись и без этого... А Ашинов в это время уже ходил по Петербургу и «разбирался» тут с привезенными им заморскими птицами, черномазым мальчиком и неизвестною девицею, в звании «принцессы» и дочери дружественного царя Менелика, которая по пути уже изрядно подучилась по-русски... Ее привечали дамы, а Ашинов сам был везде нарасхват: его все желали видеть, и некоторые редакторы сами за ним следовали, а их газеты провозвещали о вечерах и собраниях, которые Ашинов удостаивал своим посещением. Коренастый, вихрастый, рыжий, с бегающими глазами, он ходил в казачьем уборе и появлялся в собраниях в сопровождении таких известных лиц, как, например, Аристов, редактор Комаров, священник Наумович, г. Рередя и один, а иногда даже два поэта, из которых один, старик Розенгейм [4], обкуривал его мариландскою папироскою, а другой нарочито искательный

мелодик втягивал в себя даже собственные черевы *. Где сопровождаемый свитою, где один, Ашинов показывался у людей с большим весом, и день ото дня он все смелее претендовал на предоставление ему еще большей представительности. И как это ему нужно было очень скоро, то он торопил своих покровителей, попугивая их, что промедление опасно, так как оно может вывести из терпения его товарищей, которым уже принадоело сидеть в камышах, и они могут кликнуть «айда», и тогда все наши выгоды предоставят «англичанке». Такой несчастный оборот мог случиться ежеминутно (и зачем он не случился!), а Ашинов становился нетерпелив и очень дерзок. Как человек совсем невоспитанный и наглый, он не стеснялся бранить кого попало, а иногда смело врывался в дома некоторых сановников, хватал их за руки и даже кричал угрозы. Генерал Грессер не мог слышать имени этого претендента, но терпел его, считая его за своего рода «табу», которого нельзя призвать к порядку. А тот пользовался этим с безумием настоящего дикаря и довел свою азартность до того, что начал метаться на своих, как на чужих, и даже на мертвых. В сем последнем роде, например, известен был такой случай, что когда в одном доме были вместе Ашинов и Розенгейм и судьбе было угодно, чтобы генерал Розенгейм тут же внезапно умер, то он упал со стула прямо к ногам Ашинова, а этот вспрыгнул со своего места и, щелкнув покойника рукой, вскричал:

«Эх ты! Нашел где умирать, дурашка!»...

И Петербург все это слушал и смотрел и... даже уж не удивлялся...

XXII

То, что здесь изложено — это не только «факт», как любят заключать свои сообщения газетные репортеры, но это «даже настоящее событие», как говорит один из значительных петербургских ораторов. Ашинов достиг самого полного преобладания над всеми «исполнителями

---

* В рассказах Ашинова было немало тем для поэзии в оссиановском роде: так, я помню, как он однажды рассказывал об англичанине, который им будто привез «деньги от англичанки» и требовал, чтобы они ехали с ним, а они «деньги приняли», а поехали в свою сторону, а англичанина повезли за собою и на остановках его «драли», пока он «не стерпел более», и они его «там и закопали». — *Авт.*

положений закона гражданского» потому, что его вывел в свет редактор, не уважавший «гражданских постановлений». Такой соучастник так важен, что Ашинов начал свою карьеру с того, о чем Мошкин (XVII в.) не смел бы и думать, а Баранщиков (в XVIII в.) дошел только в конце своих подвигов и то в слабой степени. Ашинов прямо сразу пошел на разорение «положений закона гражданского», потому что он был хорошо осведомлен о том, кто в периодической печати столь ненавидит законность, что не погнушается идти против ее заодно с кем попало... И когда эти два деятеля соединили свои имена и свою ярость — вышло то, что унизительный инцидент Ашинова никакими клещами не может быть отодран от исторической фигуры Каткова...

Если соответственные элементы будут в наличности и в XX веке, то возможно, что явление повторится и тот век тоже выставит своего продолжателя Мошкину, Баранщикову и Ашинову, но вдохновенный таковским духом молодец в двадцатом веке должен иметь больший успех, а именно — он должен начать с того, чем кончил Ашинов, когда стал в гордой позе над телом последнего славянофильского поэта, лежащего у его ног в генеральской униформе.

Печать же должна показать, насколько «скасочники» стоят ниже людей, «исполняющих положения гражданского порядка», так как только святой труд этих людей дает средства на все действительные нужды страны, а также и на удовлетворение многих ненужностей.

Комментарии

Наследие Николая Семеновича Лескова (1831—1895) таково, что надо оговаривать, что не входит в его публицистику. Его творчество все пронизано «злобами дня»: политическими, литературными, религиозными и иными страстями момента. Его склонность к смешанным и промежуточным жанрам: к «заметкам по поводу», «рассказам кстати», «письмам», «заметкам», «былям», «отрывкам», «случаям», «апокрифам» — иногда маскирует публицистику в «невинные» одежды простого анекдота и непритязательной «истории», а иногда, напротив, окрашивает публицистическими красками текст, по внутреннему заданию чисто художественный. Публицистику Лескова надо поэтому отделить от его очерка, который в свою очередь трудноотделим от его беллетристического наследия. Тут важно именно внутреннее задание: решение той или иной общественно-политической или духовной проблемы, не совпадающее (хотя часто соприкасающееся) с описанием общественно-политической или духовной ситуации или воссозданием художественной модели мира.

При всей размытости внешних границ внутреннее задание у Лескова четко.

В данный том отобраны статьи, трактующие те или иные проблемы.

Далее, публицистику Лескова надо отделить от его обширного литературно-критического, театроведческого и искусствоведческого наследия: это богатейшая, важная, но все-таки другая сторона его деятельности; она требует особой составительской, комментаторской и издательской работы, и такая работа уже во многом проделана: в 1984 г. в издательстве Ленинградского университета вышел подготовленный И. В. Столяровой и А. А. Шелаевой однотомник «Н. С. Лесков о литературе и искусстве». Не будем его дублировать.

Однако даже жестко отобранная и отделенная от смежных областей лесковского наследия «чистая публицистика» и слишком объемна для однотомника, и слишком пестра по составу. Мы постарались, во-первых,

представить публицистическую работу Н. С. Лескова на разных этапах его жизни (первые опыты 1860—1861 гг., статьи 1862 г., спровоцировавшие разрыв автора с левым лагерем, «письма» 1863 г., «Русские общественные заметки» рубежа 60—70-х гг. и т. д., вплоть до работы «Вдохновенные бродяги», появившейся за четыре месяца до смерти писателя); и, во-вторых, по возможности представить разные грани его мастерства как публициста (от неподписной «передовой статьи» в газете до личностно-окрашенной полемики и от детального, почти академического исследования до спорадического, но меткого «письма в редакцию»).

Наконец, о принципах комментирования. Жизнь И. Лескова, как известно, прошла в непрерывной, тяжелой литературной борьбе. Лесков был признан как беллетрист, но никогда не был признан как публицист и мыслитель: ни один лагерь не принял его. Он это знал. Его статьи насыщены явной и скрытой полемикой, реминисценциями, намеками, скрытыми уколами.

Задача данного тома ввести лесковскую публицистику в живой контекст нашего времени, заставить ее работать сегодня, дать ее в руки нынешнему читателю: не историку литературы, а именно читателю, озабоченному проблемами современности.

Наш комментарий подчинен этой задаче: не увязая в источниковедении (в подавляющем большинстве случаев реалии понятны из контекста), осветить обстоятельства, в каких написаны статьи Н. Лескова, объяснить ситуацию их появления, чтобы читателю стали понятнее их накал и пафос.

ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК (1860—1861)

Раздел озаглавлен по псевдониму Н. Лескова: в ранние годы он иногда подписывался «Фрейшиц» — вольный стрелок (*нем.*). Эта самохарактеристика довольно точно отражает и ситуацию, как ее понимал Лесков, и тип действий, который он избрал с первых своих шагов на литературном поприще.

Он начинает поздно, но стремительно. Ему под тридцать; он — знаток жизни, явившийся в печать «от недр земли»; за его плечами, после гимназии, — два с половиной года в Орловской палате уголовного суда (1847—1849), семь с лишним лет в Киевской казенной палате (1850—1857) плюс три года в коммерческой фирме Шкотта — время, когда он исколесил Россию «от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру».

Впервые взявшись за перо в качестве публициста (весна 1860 г., статья «Очерки винокуренной промышленности», вызванная «питейными бунтами» в Пензенской губернии), Лесков выступает в солиднейших «Отечественных записках» и сразу «в один зимний сезон»

становится (по выражению его сына и биографа Андрея Лескова) «публицистом обеих столиц».

Точнее, трех столиц. Личные связи Лескова в трех столицах определяют три органа печати, в. которых он начинает печататься: киевский знакомый Лескова, доктор А. П. Вальтер, издатель еженедельника «Современная медицина»; московская знакомая, беллетристка Евгения Тур, издательница еженедельника «Русская речь»; наконец, петербургский знакомый, профессор И. В. Вернадский, экономист, издатель еженедельника «Указатель экономический, политический и промышленный». Все три газеты тяготеют к деловым и либеральным кругам.

О рабочем классе

Опубликовано в киевском еженедельнике «Современная медицина» № 32, 18 августа 1860 г., под рубрикой «Фельетон».

Статья Лескова — отклик на печатающееся в журнале «Библиотека для чтения» № 5 за 1860 г. начало исследования Ф. Тернера «О рабочем классе и мерах к обеспечению его благосостояния», а точнее — на статистические сведения, которые Тернер черпает из работы К. Веселовского «О недвижимых имуществах в Петербурге» (1848), изданной Императорским русским географическим обществом.

Отталкиваясь от данных Веселовского и Тернера, Лесков выходит далеко за пределы «гигиенической» темы, обусловленной профилем медицинской газеты, равно как и за пределы жанровой задачи, предполагаемой библиографическим отзывом. Редакция вынуждена как-то отнестись к позиции автора, который, по существу, выступает со страстной речью в защиту рабочих, живущих в чудовищных условиях. Поначалу редакция смягчает лесковские выводы сносками, а в заключение делает к статье Лескова примечание, где до некоторой степени берет под защиту «врачебное сословие», традиционно относя всю вину на сословие административное.

Статья «О рабочем классе» цитировалась в книгах: Русские писатели о литературе. — Л., 1955. — Т. 3. — С. 193 и Н. С. Лесков о литературе и искусстве. — Л. — 1984. — С. 31—32.

[1] *Тернер* Федор Густавович (1828—1906) — государственный деятель, экономист, автор книги «Государство и землевладение» (1896—1901).

[2] *Веселовский* Константин Степанович (1819—1901) — академик, статистик, автор книги «О климате России» (1857), один из составителей Закона о печати (1862).

Несколько слов о полицейских врачах в России

Опубликовано в «Современной медицине» № 39, 6 октября 1860 г. под псевдонимом «Фрейшиц». Не переиздавалось.

Очевидно, что редакция еженедельника подвергла статью сокращению за счет примеров «богатства» полицейских врачей и их «равнодушия» к «практике». В других случаях редакция оговорила свое несогласие с автором; Там, где Лесков заявил об отсутствии практики у городовых врачей вследствие недоверия общества к их квалификации, редакция в сноске предложила смягченную и извиняющуюся формулировку: «Практика удается реже городовым врачам, потому что они очень заняты службою».

Помимо разоблачительного пафоса статьи Лескова и впечатляющих примеров, почерпнутых автором из жизни в период службы в Орле и Киеве, в статье интересен как раз стиль: чисто лесковское «коварство речи», которое должно раздражать прямолинейно мыслящих людей как официально-консервативного, так и либерально-оппозиционного направления.

Вскоре после появления статьи Лескова «Современная медицина» поместила на нее возражение за подписью «Ф. В.». Лесков со свойственной ему едкостью эти возражения оспорил в № 48, 8 декабря 1860 г., на чем его сотрудничество с киевским медицинским еженедельником окончилось.

Несколько слов о местах распивочной продажи хлебного вина, водок, пива и меда

Опубликовано в петербургской газете «Указатель экономический...» № 203 в ноябре 1860 г. Не переиздавалось.

Одно из первых выступлений Лескова против пьянства, которое он осознает как трагедию народа. Типичный для Лескова прием, когда разговором о частностях (о том, как организованы «места продажи» алкогольных напитков) прикрыт разговор более широкий: о духовном опустошении, выгоняющем «низшие классы» в кабак, и о ханжестве, которое позволяет «высшим классам» эксплуатировать в своих интересах дикость «низших».

Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе

Опубликовано в газете «Указатель экономический...» № 220 в январе 1861 г. Не переиздавалось.

Ссылка Лескова на гигиенический конгресс, состоявшийся в 1858 г. в Дании, знаменательна: в середине XIX в. осуществляется поворот гигиенической науки от чисто медицинских аспектов к проблемам социальной гигиены, к общественному здравоохранению и к гигиенической статистике; последняя была особенно характерна для России, равно, как и интерес к нравственным аспектам дела. Под этим углом зрения его и рассматривает Лесков.

Мысль о бесполезности «охранительных правил» в борьбе против алкоголизма стилистически звучит смело и оппозиционно, по по существу спорна; в дальнейшем Лесков скорректирует свою позицию (см. статью «Могильные крысы»). Для его воззрений начала 60-х гг. характерен оптимистически либеральный подход и надежда на то, что «свет разумения», пролитый в «массу», отведет ее от алкоголя. Впрочем, уповая на то, что народу будут указаны другие «наслаждения», далекие от кабака, Лесков понимает, что причины беды глубже: у народа просто нет в о з м о ж н о с т и пустить свои заработки в дело, а значит, нет и смысла сохранять их. В 1861 г. это трезвейшее соображение не колеблет веры Лескова в то, что «эстетические наслаждения» вкупе с «воскресными школами, народными театрами, клубами, лекториями и примерами воздержности», даваемыми народу образованными классами, вполне решат вопрос об искоренении пьянства. Вера, характерная для начала 60-х гг.

[1] *...отрезвление жмудского земледельческого класса...* — Лесков имеет в виду деятельность литовского епископа Мотеюса Валанчюса (1801—1875), писателя и общественного деятеля, создавшего в середине XIX в. в Жемайтии (северо-западная Литва) широкую сеть обществ народной трезвости.

Несколько слов об ищущих коммерческих мест в России

Опубликовано в газете «Указатель экономический...» № 206 в декабре 1860 г. Не переиздавалось.

Начинающаяся эпоха великих реформ заставляет Лескова выработать отношение к некоторым весьма острым ее аспектам. В частности, это вопрос о роли чиновничества и вообще государственной службы в свете так называемой «обличительной литературы», главными представителями которой на рубеже 50—60-х гг. являются автор [1] «Губернских очерков» Н. Щедрин и автор «Рассказов Андрея Печерского» П. Мельников. В отношении Лескова к обличителям улавливается еле заметное отчуждение, которое со временем будет усиливаться; пока что в общих пределах либеральной оппозиции Лесков тяготеет скорее к либеральной «буржуазности», нежели к либеральной «административности»; он уповает не на совершенствование или преобразование государственного управления, а на развитие коммерческой деятельности; неспособность «коммерческих людей» в России к настоящей деятельности, их отторжение от почвы: от купечества, склонного к диким, «азиатским» формам торговли, и от государства, протекционизм которого неотрывен от чиновного п р о и з в о л а, — специфическая тема Лескова-публициста. Начинается эта тема с данной статьи.

[1] *Циммермановские шляпы,* — Ф. Циммерман — владелец шляпной фабрики (основана в 1814 г.) и сети магазинов в Петербурге.

Торговая кабала

Опубликовано в газете «Указатель экономический...» № 221 в феврале 1861 г. Не переиздавалось.

На написание статьи подвигла Лескова публикация в газете «Московский курьер» № 27 и 28 от 3 и 4 февраля 1861 г. «фельетона» (а фактически очерка нравов) о чудовищных условиях, в каких живут «мальчики» московского Гостиного двора, и о том, какое воздействие эти жизненные условия имеют на их души.

Построенная на фактическом материале, статья Лескова представляет собой социальный портрет низового торгового люда.

Любопытен эпиграф к статье. Лесков цитирует стихотворение «Выученик» поэта Андрея Комарова, сотрудничавшего в «Искре».

Некоторые речения, заимствованные Лесковым из приказчичьего жаргона, нуждаются в пояснении.

[1] *Матреска* — любовница.

[2] *Пур селапетан* — очевидно, искаженное французское: pour que cela soit pelant; péter — трещать, лопаться; все выражение означает: бить до треску, так, чтоб лопнул; у слова péter есть еще одно значение: портить воздух.

[3] *Взвошить.* — У Даля это слово обозначает «вздеть, поддеть», а здесь — вздуть, жестоко избить.

О наемной зависимости

Опубликовано в московской газете «Русская речь» № 37, 7 мая 1861 г. Не переиздавалось.

В статье несколько «речений» и намеков, интересных с точки зрения лесковских воззрений и приемов письма.

[1] *Мирабо* Оноре (1749—1791) — деятель Великой французской революции, обличитель абсолютизма. «Мирабо с киргиз-кайсацкими нравами» — метафора, кажущаяся произвольной: крепостник-самодур мог бы быть любой «окраски», однако Лесков использует имя знаменитого революционного оратора: радикальная окраска, прикрывающая традиционное российское рабство и барство, раздражает Лескова едва ли не больше, чем то, что ею прикрыто.

[2] *Проигрыш на зеленом поле* — проигрыш в карты.

[3] *Нулинская пощечина* — реминисценция из «Графа Нулина» А. Пушкина.

[4] *Франклин* Джон (1786—1848) — английский мореплаватель, бесследно исчезнувший во время своей последней экспедиции в полярных льдах.

Русские люди, состоящие «не у дел»

Опубликовано в «Русской речи» № 52, 29 июня 1861 г. Не переиздавалось.

[1] *Селиванов* Илья Васильевич (1810—1882) — беллетрист обличительного направления.

[2] *«Изнанка Крымской войны»* — название статьи военного историка Н. Н. Обручева, напечатанной в «Военном сборнике». Статья, разоблачавшая злоупотребления интендантской службы, вызвала сильный резонанс в обществе. Обручеву возражал в «Русском инвалиде» главный интендант русской армии в Крыму Ф. К. Затлер. Полемика была изложена в обзоре А. Чужбинского (А. С. Афанасьева) в журнале «Атеней» за март — апрель 1859 г., где ее и прочел Лесков.

[3] *...человеколюбивый Британец...* — Роберт Оуэн (1771—1858) — английский социалист-утопист и педагог, основавший в г. Нью-Ленарке воспитательные учреждения, в которых он пытался реализовать свои идеи.

[4] *Рочдельское общество* — потребительский кооператив (первый в истории), основанный в 1844 г. английскими ткачами в г. Рочделе. Общество, называвшееся «Справедливые рочдельские пионеры», оказало сильное влияние на кооперативное движение во всем мире.

О переселенных крестьянах

Опубликовано в еженедельном журнале «Век» № 19 — 14, 1 апреля 1861 г. за подписью «Николай Понукалов». Не переиздавалось.

Журнал «Век», редактируемый поэтом и историком литературы П. И. Вейнбергом, начался в 1861 г. и прекратился в 1862 г. вследствие разногласий в редакции. Журнал предназначался для народного чтения и вначале придерживался либерального курса, а затем, с переходом редакторства в руки Г. Елисеева, курса, близкого к «Современнику», радикального.

О русском расселении и о Политико-экономическом комитете

Опубликовано в журнале М. и Ф. Достоевских «Время» № 12 в декабре 1861 г. Не переиздавалось.

Статья Лескова — ответ на статью «Вопрос о колонизации», написанную М. И. Венюковым, известным путешественником и этнографом, видным деятелем Географического общества и специалистом по крестьянскому вопросу (статья Венюкова, подписанная «М. В.», опубликована в № 9 «Времени» за 1861 г.). Оценивая публичное обсуждение вопроса о колонизации окраин Российской империи в Политико-экономическом комитете Географического общества, М. Венюков замечает, что выступления ораторов отличались бессистемностью,

отвлеченностью и не содержали определенных выводов (что Лесков, несомненно, принял на свой счет).

Публикуя статью Лескова, редакция «Времени» сопровождает ее следующим примечанием: «С удовольствием помещаем статью эту. Вопрос о колонизации в России так важен, что чем больше будут писать нам люди бывалые и знающие предмет, тем лучше».

[1] *Риттер* Генрих (1791—1869) — немецкий философ, автор «Истории философии».

[2] *Максимов* Сергей Васильевич (1831—1901) — писатель, этнограф, путешественник, автор книг «На Востоке...», «Тюрьмы и ссыльные», «Бродячая Русь...», «Лесная глушь», «Куль хлеба».

[3] *...почтенный русский ученый...* который оставляет службу, уезжает в свое «бессарабское поместье», чтобы создать там нечто вроде русского варианта оуэновского кооператива, — Николай Иванович Пирогов (1810—1881), великий хирург, общественный деятель, публицист, к которому Лесков питал огромное уважение.

«СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА» (1862)

Кратковременное и полное драматизма сотрудничество Н. С. Лескова в петербургской газете «Северная пчела» начинается 1 января 1862 г., вскоре после переезда его в столицу из Москвы, и заканчивается, — во всяком случае, заканчивается по существу, — 6 сентября того же года, когда Лесков отбывает из Петербурга, потрясенный разразившейся над ним катастрофой.

Катастрофа, которая определила всю последующую трудную судьбу его как художника и публициста, связана преимущественно со статьей «о пожарах» («Настоящие бедствия столицы»), но подготовлена всей работой Лескова в газете, и прежде всего — твердо сложившимся убеждением в том, что его представление о путях России расходится с представлениями круга «Современника». Лесков при этом не перестает быть прогрессивно мыслящим публицистом, стоящим безусловно на позициях гражданской, а отнюдь не официозной активности (в чем обвиняли его противники слева). И газета «Северная пчела», основанная в 1825 г. Булгариным и вплоть до смерти его в 1859 г. влачившая чудовищную репутацию своего основателя, успела к 1862 г. заметно очиститься в глазах читателей: к 1862 г. «Северная пчела» — один из самых популярных в публике органов печати, причем отчетливо либерального направления. Характерно, что вместе с Лесковым в «Северной пчеле» служит и П. Мельников-Печерский, в ту пору — обличитель, стоящий в сознании публики рядом с М. Е. Салтыковым-Щедриным (характерно, впрочем, что и Мельников в 1862 г. входит в конфликт с «Современником»). В первую очередь «Северная пчела» противостоит консерватизму и реакции и уж во вторую очередь —

крайнему радикализму. Все это делает драму разрыва Лескова с «Современником» особенно тяжелой психологически и изрядно запутанной по мотивировкам (достаточно сказать, что слово либералы Лесков упорно применяет по отношению к радикалам).

Оставляя в стороне полемику по чисто литературным вопросам, а также очерки, с которых начинается путь Лескова-писателя (именно в «Северной пчеле» в течение 1862 г. напечатаны «Разбойник», «В тарантасе», «Страстная суббота в тюрьме»), мы представляем здесь образцы его прямой публицистики: три неподписные («передовые») статьи, опубликованные на открытие номера, в «верхних столбцах» газеты («нижние» вел П. И. Мельников). Статьи печатались без заглавий, но в редакционных аннотациях, выносившихся в начало страницы, был сжато сформулирован их смысл. Поскольку это делалось наверняка с ведома автора (а скорее всего, им самим), мы озаглавили статьи фразами из соответствующих аннотаций.

[С Новым годом!]

Опубликовано в № 1, 1 января 1862 г. С тех пор не переиздавалось.

Статья — дебют Лескова в газете «Северная пчела». При всей новогодней поздравительности тона в статье выдвинута система моральных ценностей, полная скрытого вызова. Идеал тихого и трезвого работника, довольствующегося малым и полагающегося на труды рук своих, противостоит идеалу всеобщего счастья, которое надо брать «всем миром», ломая сопротивление врагов.

[1] *Каждый... метет ступень... и лестница была чиста...* — парафраз известного рассуждения Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

[Деспотизм либералов]

Опубликовано в № 134, 20 мая 1862 г. Не переиздавалось.

У этой статьи есть предыстория, существенная как с точки зрения дальнейшей судьбы Лескова, так и с точки зрения развития обстановки, в которой он принимал решения.

Весной 1862 г. власти закрывают петербургский университет. Причина закрытия — студенческие волнения: студенты протестуют против университетского устава, принятого в 1835 г. и ужесточенного в 1849-м, против высокой платы за обучение, против административного управления университетом, против полицейского духа в нем (профессора обязаны предварительно представлять на утверждение программы курсов; деканы должны доносить ректору о малейших уклонениях от правил; философия и европейское право убраны из программ).

После закрытия университета некоторые профессора пытаются продолжить преподавание вне его стен и начинают читать публичные

лекции, однако встречают сопротивление, причем не со стороны властей, а со стороны слушателей. Причиной того является арест и высылка из столицы профессора П. В. Павлова, прочитавшего лекцию, содержание которой, с точки зрения властей, было возмутительно. Молодежь требует от остальных профессоров прекратить чтения в знак солидарности с Павловым. Один из профессоров отказывается; это историк Костомаров, весьма любимый студентами. В ответ очередная его лекция сорвана. В обществе ползут слухи, что лекцию сорвали не студенты, а «либералы», провокаторы, «коноводы» смуты. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» появляется подписанная инициалом «Ь». статья «Учиться или не учиться?». Там сказано: «В настоящее время, когда Россия так сильно нуждается в деловых людях — уже не говорим в ученых, а хоть только в образованных, — закрытие одного из немногих университетов... составляет такую значительную потерю, что о ней нельзя не пожалеть... Несколько сот молодых людей... ходят теперь по улицам, бесплодно и бесполезно затрачивая самый дорогой из всех капиталов — время... Кто от этого выиграл? Конечно, не студенты; да и не общество, столь нуждающееся теперь в людях. Не знаем, выиграют ли те миниатюрные бонапартики, или кромвельчики, которые в настоящее время так горячо шумят... Мыльные пузыри или миражи рассеются сами собою... лжелибералы встретят себе сильный отпор в людях, истинно преданных какой-нибудь мысли... на один полунамек, темный, неясный, обманчивый и двусмысленный, люди ответят десятью ясными и здравыми словами...»

5 мая 1862 г. статья «Учиться или не учиться?» перепечатана в газете «Северная пчела». В № 4 «Современника» Н. Чернышевский отвечает резкой отповедью. «Научились ли?» — называется статья (последняя перед его арестом).

Чернышевский уверен, что статья, против которой он выступает, инспирирована Министерством народного просвещения; его ждет разочарование: выясняется, что автором статьи является безвестный учитель и малозаметный литератор Аркадий Эвальд.

Однако полемика уже выходит за границы частного случая. Перепечатав статью А. Эвальда, «Северная пчела» как бы берет на себя ответственность за нее. Полемика углубляется. Написанная Лесковым передовая статья «Деспотизм либералов» является ответом на статью Чернышевского «Научились ли?».

Предмет полемики — уже не столько вопрос о студенчестве, сколько вопрос о либерализме в целом, ибо Чернышевский демонстративно дезавуирует тот «либерализм», которого придерживается Лесков, и теперь надо либо открещиваться, либо защищаться. Лесков решает защищаться.

В принципе он относится к Чернышевскому с должным личным уважением, однако в горячке полемики допускает бестактные выпады

против литераторов круга «Современника», или, как их называют, «теоретиков». За фигурой поэта, «плачущего хамелеоном над бедностью и пролетариатом» и противопоставленного «деликатному и доброму князю», — легко угадать редактора «Современника» Н. А. Некрасова в противовес кн. В. Ф. Одоевскому. Вообще статья Лескова кажется чересчур размашистой и не вполне корректной; конечно, в контексте 1862 г. Лесков как «постепеновец», спорящий с «нетерпеливцами» из лагеря «Современника», неправ: передовая Россия сочувствует последним; однако в контексте дальнейших событий чутье Лескова поразительно: задолго до «нечаевщины» он улавливает наступление этого явления и одним из первых пытается дать левому экстремизму отпор.

Стараясь удержаться «в середине» реформирующейся России, Лесков отделяет себя также и от крайне правого, реакционного крыла, по обыкновению того времени символизированного именем В. И. Аскоченского.

Со статьи «Деспотизм либералов» начинается прямая и неприкрытая борьба Лескова с публицистами «Современника», скоро приведшая к полному разрыву. Параллельно полемике Н. Чернышевского с Лесковым по вопросу о студентах вспыхивает еще одна полемика — о раскольниках: против «Писем о расколе» П. И. Мельникова-Печерского, опубликованных в «Северной пчеле», выступает в том же № 4 «Современника» Г. Елисеев. В его статье знаменателен скрытый призыв к Лескову отойти от «постепеновцев»: последнее предложение о союзе. Этот пассаж Елисеева непременно цитируется в лесковских биографиях. Оценивая его, учтем то обстоятельство, что когда Елисеев пишет свою статью (тоже неподписную), мельниковские и лесковские передовицы, еще не разведенные текстологами по авторам, предстают в глазах Елисеева слитным массивом, и он, исходя из общего впечатления, отделяет Мельникова как противника законного от Лескова как противника по недоразумению. Елисеев пишет: «Если бы мы были уверены, что желчные и грязные статьи против «Современника» принадлежат Павлу Ивановичу Мельникову... то мы не сказали бы ни слова... Последние письма его о расколе показывают, что от него более ждать нечего... Нам жаль верхних столбцов «Пчелы». Там тратится напрасно сила... может быть, еще не нашедшая своего настоящего пути. Мы думаем, по крайней мере, что при большей сосредоточенности и устойчивости своей деятельности, при большем внимании к своим трудам она найдет свой настоящий путь и сделается когда-нибудь силою замечательною, быть может совсем в другом роде, а не в том, в каком она теперь подвизается. И тогда она будет краснеть за свои верхние столбцы и за свои беспардонные приговоры de omnibus et quibusdam (обо всем и кое о чем (*лат.*) — *Сост.*). Веяние кружка, интересы минуты настраивают часто вопреки нашей воле каким-то

странным образом наши взгляды. Особенно вредно в этом случае действует петербургский климат. Говорят, стоит только переменить климат, уехать за границу, особенно в Лондон, — можно в месяц, даже менее, получить совсем другое настроение и воззрение. Были, дескать, и опыты такие».

Год спустя Лесков едва не исполнил пожелание Елисеева, он почти доехал до Герцена, но... отказался от встречи с ним. Весной же 1862 г. он вежливо ответил Елисееву, что «не полагает, чтобы знакомство с Лондоном могло повернуть его коренные убеждения».

[1] *Фейербах* Людвиг (1804—1872) — немецкий философ, материалист, атеист.

[2] *Бюхнер* Людвиг (1824—1899) — немецкий врач, естествоиспытатель, философ; вульгарный материалист, сторонник так называемого социального дарвинизма.

[3] *Виктор-Эммануил* II (1820—1878) — первый король объединенной Италии (с 1861 г.), поддерживал Гарибальди.

[4] *Шефтесбюри* (правильнее: Шефтсбери) Энтони (1801—1885) — английский богослов и социальный деятель, стремившийся улучшить быт рабочих.

[5] *Мордвинов* Николай Семенович (1754—1845) — русский государственный и общественный деятель, адмирал, морской министр, президент Вольного экономического общества. В 1826 г., являясь членом Верховного уголовного суда, единственный отказался подписать смертный приговор декабристам.

[6] *Аскоченский* Виктор Ипатьевич (1813—1879) — журналист, издатель; по убеждениям — обскурант и клерикал, восстававший против европейского просвещения.

[7] *...и Пирогову, и комитету было не по себе...* — намек на снятие знаменитого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова (1810—1881) с должности попечителя киевского учебного округа в 1861 г. и на закрытие комитета.

[Настоящие бедствия столицы]

Опубликовано в № 143, 30 мая 1862 г.

Эта статья, вызвавшая катастрофическую для Лескова реакцию общества, знаменует поворотную точку в его писательской судьбе; статья многократно цитирована в выдержках и комментирована биографами Лескова, однако после первопубликации не переиздана полностью ни разу. Между тем, чтобы понять ход и смысл произошедшей с Лесковым катастрофы, надобно представить себе действие текста именно как целого.

На нынешний взгляд, эта статья представляется естественнейшим и логичнейшим поступком нормального гражданина, предлагающего свою помощь в бедствии и требующего, чтобы темные слухи об этом

бедствии были либо официально опровергнуты, либо официально подтверждены. (Власти не сделали ни того, ни другого. Этого не сделали историки и по сей день: они так и не выяснили, отчего загорелся Апраксин двор 28 мая 1862 г.: от чьей-либо неосторожности или от чьей-либо злонамеренности, и если кто-то поджег, то кто именно: левые ли экстремисты или купцы, надеявшиеся скрыть следы своих махинаций.)

Лесков, оказавшийся в столь смутной ситуации, потребовал только одного: гласности. Однако в горячечной обстановке 1862 г. в гласности не был заинтересован никто: ни реакционные круги, склонные либо «замазать» дело, либо уж довести его до масштабов, при которых можно спровоцировать поворот вправо, ни круги революционные и либеральные, более всего опасавшиеся как раз такой провокации. Лесков разом нарушил все негласные законы: он предал гласности факт «возмутительного воззвания», ходившего в те дни по столице (имелась в виду прокламация «Молодая Россия», с призывом к «народу» прямо нападать на «имущие классы»), он произнес вслух слово «поджигатели» да еще в сочетании со словами: «начальство не упустит из виду всех средств, которыми оно может располагать в настоящую минуту».

Начальство Лескова не поняло: Александр II, дочитав статью до того места, где описывается «стояние» бездействующих пожарных команд, написал на газете: «Не следовало пропускать, тем более что это ложь».

Левые круги поняли Лескова однозначно: статья — донос, причем донос не на кого иного, как на студентов, о которых еще недавно «Северная пчела» вела дискуссию с «Современником».

Лесков оказался в одиночестве.

Эпизод с «пожарной» статьей — типичный случай, когда здравомыслящее суждение, произнесенное в обстановке нервической и даже безумной, воспринимается превратно и истолковывается зловеще, но о д и н этот случай, конечно, не имел бы для Лескова таких чудовищных последствий, если бы статья о пожарах не воспринималась как звено во всей цепочке передовиц «Северной пчелы», а тут уж все припомнилось: и то, как Лесков дразнил «коноводов» радикализма, и то, как издевался над манией во всем видеть доносы, и то, как ставил на одну доску крайне правых и крайне левых, отказываясь видеть между ними разницу. В глазах передовой России Лесков превратился и в «крайне правого», и в «доносчика», и чуть не в «провокатора», работающего на III Отделение. Легко представить себе, что это значило для писателя, ничего общего не имевшего ни с «реакционерами», ни с III Отделением. По словам А. М. Горького, «Лесков получил удар в сердце, совершенно не заслуженный им».

Не выдержав напряжения, Лесков, как сам он признавался впоследствии, б е ж а л из Петербурга. «Северная пчела» оказала своему

сотруднику последнюю услугу: оформила ему командировку по маршруту Вильно — Гродно — Белосток — Прага — Париж — Лондон... Отбыв в начале сентября, Лесков успел послать в газету несколько корреспонденций и переводов, но сотрудничество в «Северной пчеле» уже исчерпало себя: «Письма из Парижа» пошли в другой орган печати.

«РУССКОЕ ОБЩЕСТВО В ПАРИЖЕ» (1863)

Очерки в письмах к редактору журнала

Письмо первое

Три письма, составившие цикл «Русское общество в Париже», написаны в первой половине 1863 г. (Лесков прибыл в Париж в декабре 1862-го и вернулся в Петербург в марте 1863 г.), опубликованы с подзаголовком «Письма к редактору...» и за подписью «М. Стебницкий» в майской, июньской и сентябрьской книжках журнала «Библиотека для чтения» за 1863 г. Вошли в том I «Повестей, очерков и рассказов М. Стебницкого», изданный в Петербурге в 1867 г., а затем в «Сборник мелких беллетристических произведений Н. С. Лескова-Стебницкого» (Петербург, 1873). Более не переиздавались.

В настоящей книге помещено с незначительными сокращениями письмо первое, посвященное в основном социальной проблематике (письма второе и третье остро трактуют вопросы преимущественно литературные). Главная и наиболее интересная часть письма — рассуждение о народе; начиная со слов «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извощиками, а я вырос в народе...», это рассуждение охотно цитируется критиками и входит как бы в обязательный минимум любой лесковской биографии, однако цитируется вне контекста и входит именно как хрестоматийный фрагмент. Правильнее это рассуждение воспринимать в контексте письма.

Контекст этот сложен и отражает противоречивость положения и позиции Лескова в русской журналистике 1863 г. Письмо пронизано инерцией раздражения против левого крыла «Современника»; отсюда выпады против «красных дурачков, любящих считать себя всегда и везде в опасном положении», а также ироническое смешение видного публициста, сотрудника «Современника» Григория Захаровича Елисеева (1821—1891) с купцом Елисеевым, «продающим всякие наедальности». Г. З. Елисеев, как мы помним, пытался за год до того со страниц «Современника» подать Лескову сигнал к примирению и советовал ему съездить в Лондон. Примирение не состоялось; до Лондона Лесков не доехал, весьма недвусмысленно объяснив (в письме третьем) свой отказ встретиться с Герценом разочарованием в этом мыслителе, «жарчайшим поклонником таланта» коего Лесков, впрочем, себя честно признал.

Характерно также резкое отмежевание от «народничанья». Надо

оценить тот факт, что в полемику с народничеством Лесков вступает за десять лет до того, как это течение оформилось в качестве влиятельнейшего фактора русской общественной мысли, предвосхищая и позднейшую критику народничества марксистами, и оценку его А. М. Горьким, писавшим об «идольском служении» мужику.

Одновременно Лесков четко обозначает свое решительное неприятие рептильной, официозной публицистики; символом ее здесь выступает Василий Петрович Авенариус (1839—1919), литератор, довольно известный в 60-е гг. в качестве автора «антинигилистических» произведений. По иронии судьбы скоро Лескову и самому суждено в глазах левого лагеря угодить в этот разряд; роман, с которым он попадает в «антиуигилисты» — «Некуда», — пишется непосредственно после парижских писем 1863 г. и проникнут теми же настроениями.

[1] *Северные Почтальоны* — эвфемизм: перлюстраторы писем.

[2] *Ирида* — в греческой мифологии — посланница богов, олицетворяет радугу.

[3] *Казанская история* (в Безне) — крестьянское восстание в селе Безны (Бездны) Спасского уезда Казанской губернии, вспыхнувшее в апреле 1861 г. вследствие недовольства крестьян реформой. Жестоко подавлено властями.

[4] *Герменевтика* — толкование Священного писания; *гомилетика* — наука о проповедничестве; *патристика* — толкование трудов отцов церкви.

[5] *Успенский* Глеб Иванович (1843—1902) — писатель, крупнейший представитель народничества; впоследствии Лесков изменил мнение о нем к лучшему.

[6] *Якушкин* Павел Иванович (1820—1872) — писатель-народник, этнограф, близкий знакомый Лескова.

[7] *Григорович* Дмитрий Васильевич (1822—1900) — писатель, автор повести «Антон-Горемыка», проникнутой сочувствием крестьянам.

[8] *Небольсин* Павел Иванович (1817—1893) — писатель, этнограф, автор книги «Очерки мужичков» (1861).

[9] *Левитов* Александр Иванович (1835—1877) — писатель-народник, автор очерков о жизни бедноты.

[10] *«Атта-Троль»* — поэма Генриха Гейне, которого Лесков очень любил и томик стихов которого возил с собой за границу.

[11] *...ткацкий вопрос в* Лионе... — восстания лионских ткачей во Франции в 1831 и 1834 гг. Жестоко подавлены властями.

ИЗ «РУССКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗАМЕТОК» (1869—1871)

Рубеж 60—70-х годов в жизни Лескова — момент весьма тяжкий. Лесков уже не начинающий автор, пришедший в журналистику от «недр жизни», и не «публицист обеих столиц», дерущийся на два фронта и «сгорающий» на статье о пожарах. К 1869 г. Лесков — автор

таких признанных впоследствии классическими вещей, как «Овцебык», «Язвительный», «Леди Макбет Мценского уезда», «Воительница», автор скандального «антинигилистического» романа «Некуда» (за который Д. Писарев объявил Лескова «вне литературы»), романов «Обойденные» и «Островитяне». Уже написаны великие «Соборяне», которым суждено утвердить в сознании современников имя Лескова как художника самого первого ряда, но этот роман еще не напечатан, он скитается из журнала в журнал, из-за него Лесков судится с издателями. Между тем тенденциозный и слабый роман «На ножах» печатается в это время в реакционном «Русском вестнике» М. Н. Каткова. Рубеж 60 —70-х гг., таким образом, — крайне «правая» точка во внешней репутации Лескова.

Дорога в сколько-нибудь «приличные», либеральные органы печати ему перекрыта; он ищет трибуны в ничтожных или даже одиозных изданиях. Бывший редактор «Северной пчелы» П. Усов теперь работает в «Биржевых ведомостях» и ее вечернем выпуске, «Вечерней газете», — здесь Лесков, начиная с января 1869 г., помещает свои еженедельные фельетоны. Иногда они идут за подписью, иногда без подписи, иногда озаглавленные, а чаще просто под той или иной рубрикой: «Внутреннее обозрение», «Наша провинциальная жизнь», «Петербургская летопись», чаще же всего — под специально придуманной Лесковым для всего цикла рубрикой «Русские общественные заметки».

Общий замысел этой работы обрисован Лесковым в письме С. А. Юрьеву в декабре 1870 г.: «Я люблю между большою работою ловить мимолетный случай жизни, получающий ложное освещение и толкование, с тем, чтобы дать ему освещение подлежащее * и толк по разуму и совести... Это будет летопись заблуждений, ошибок, неправд и грехов общественного неразумия и злобы по делам якобы текущего дня» (Собр. соч.: В 11 т. — Т. X. — С. 282). Жанр и «тон» здесь определены точно: здравый смысл и совесть, вторгающиеся в злобу, безумие и борьбу интересов.

За два с лишним года: с января 1869 г. по март 1871 г. Лесков опубликовал около пятидесяти «общественных заметок»; собранные вместе и академически откомментированные, они могут составить том, весьма важный для характеристики и Лескова-публициста, и общественной ситуации в России начала 70-х гг. Работа эта уже начата И. В. Столяровой (Н. С. Лесков в «Биржевых ведомостях» и «Вечерней газете» // Ученые записки ЛГУ. — № 295. — Серия «Филологические науки». — Вып. 58. — Русская литература. — Л., 1960).

Здесь предлагаются вниманию читателей шесть статей из газеты «Биржевые ведомости». Все статьи шли без подписи, большинство — без заглавий, под рубрикой «Русские общественные заметки».

---

* Описка? Правильнее: «надлежащее». — *Сост.*

[Вояки в России]

Опубликовано в № 18, 19 января 1869 г., без заглавия, под рубрикой «Фельетон»; озаглавлено составителем по первой фразе редакционной аннотации.

[1] *Г-жа Простакова* — персонаж из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».

[2] *Носки* — карточная игра.

[3] *Г-жа Патти* Аделина (1843—1919) — итальянская певица, гастролировавшая в январе 1869 г. в Петербурге. При всем критическом к ней отношении Лесков, однако, «с помощью знакомых пробрался за кулисы» и оттуда слушал Патти «в сообществе театральных плотников» (Письмо П. К. Щебальскому от 25 января 1869 // Собр. соч. — Т. 10. — С. 273).

[О деспотизме направлений]

Опубликовано в № 298, 2 ноября 1869 г., без заглавия, под рубрикой «Русские общественные заметки». Озаглавлено составителем.

Статья проникнута ненавистью к нетерпимости как правого, так и, особенно, левого толка, насыщена страстями, пробужденными в Лескове давними и новыми журнальными «бранями». Психологически появление столь резкой статьи, возможно, связано со смертью в 1868 г. Д. И. Писарева, самого жестокого «гонителя» Лескова середины 60-х гг., а также переходом «Отечественных записок» в руки Некрасова и Салтыкова-Щедрина, «гонителей» Лескова в конце 60-х гг. (до появления Некрасова в журнале Лесков забрал оттуда свой роман, уже начавшийся печатаньем, «Чающие движения воды» — будущие «Соборяне»). Раздражение его усугублено, очевидно, и финансовыми трудностями, возникшими на этой почве.

[1] *Соллогуб* Владимир Александрович (1813—1882) — писатель, драматург, автор повести «Тарантас» (1845), поддержанной, хотя и не без оговорок, Белинским; автор комедии «Чиновник» (1857), о которой критически отозвались Н. Добролюбов в «Современнике» и Н. Павлов в «Русском вестнике» (редактор журнала М. Н. Катков сидит «в Леонтьевском переулке»).

[2] *Павлов* Николай Филиппович (1805—1864) — писатель, критик, первоначально либерального, затем эклектического толка.

[3] *Григорьев* Аполлон Александрович (1822—1864) — критик «почвеннического» направления, выдвинувший термин «веяние» и обосновавший принципы «органической критики».

[4] *Сперанский* Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный деятель, либеральный реформатор при начало царствования Александра I, затем отставленный от дел и сосланный.

[5] *Полевой* Николай Алексеевич (1796—1846) — критик, журналист, писатель, издатель, историк. Создал новаторский журнал «Московский телеграф», отличавшийся универсальностью содержания и про-

грессивным западническим направлением. Боролся против «квасного патриотизма» (термин Н. П. Полевого). Полемизировал с Карамзиным, противопоставил его «Истории государства Российского» свою «Историю русского народа», всем этим вызвал недовольство власти и света. В критике придерживался романтических принципов; признан предшественником Белинского. В результате травли и доносов лишен журнала; повод — критическая рецензия па официозную драму Н. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла», написанная для журнала братом Н. А. Полевого Ксенофонтом Полевым (Лесков ошибочно приписывает рецензию самому Н. Полевому). После закрытия «Московского телеграфа» Полевой пал духом, сотрудничал у Булгарина и Греча, выступал против Гоголя. Пытался издавать «Литературную газету», но неудачно. Умер от нервной горячки, развившейся вследствие страха репрессий и банкротства.

Эпиграммы на Полевого, ходившие в обществе и приписываемые Пушкину, на самом деле Пушкину не принадлежали. Одну из них («Журнала нового издатель...») историки литературы в конце концов приписали водевилисту Александру Писареву (была еще вариация этой эпиграммы, ее приписали Вл. Ф. Павлову). Другая эпиграмма («...первой гильдии подлец») так и не приписана окончательно никому. В свете этих текстологических уточнений Пушкин должен быть, конечно, лично реабилитирован. Но тем реальнее главное лесковское обвинение, брошенное о б щ е с т в у, которое было расколото на «направления» и пронизано злобой. В «обществе» эпиграммы на Полевого ходили, и это факт; они были продиктованы злорадством, что царь прикрыл лучший журнал Р о с с и и, — и это тоже факт. Пафос статьи Лескова на эти факты и опирается.

[6] *Иннокентий Борисов* (ум. 1857) — архиепископ вологодский, затем харьковский, херсонский и таврический; богослов, автор книги «Последние дни земной жизни Иисуса Христа», признанной властями чрезмерно либеральной (при жизни автора не напечатана). Яркий оратор и проповедник.

[7] *Громека* Степан Степанович (1823—1877) — публицист, бывший жандармский офицер. Обратил на себя внимание в 1857 г. статьями в «Русском вестнике», разоблачавшими произвол полиции. В 1862 г. первым в русской печати легально полемизировал с Герценом. С Лесковым познакомился еще в киевские времена, побуждал Лескова заниматься писательством и способствовал устройству в печать первых его опытов, о чем Лесков вспоминал позднее: «увлечен в литературу Громекою в 1860 году» (Собр. соч.: В 11 т. — Т. X I . — С. 459). *Синий картуз* — намек на жандармское прошлое С. С. Громеки.

[8] *Зайцев* Варфоломей Александрович (1842—1882) — критик крайне левого направления, сподвижник Писарева, сотрудник «Русского слова», первым выступивший против романа Лескова «Некуда» в 1864 г.

[9] *Марко Вовчок* — псевдоним украинской писательницы Марии Александровны Маркович (1834—1907).

[10] *Крестовский* Всеволод Владимирович (1840—1895) — писатель, автор «Петербургских трущоб» (1867), одной из первых книг о социальных «низах» общества, и «антинигилистического» романа «Панургово стадо» (1869).

[11] *И. А. Гончаров вывел в романе Маркушку*— имеется в виду Марк Волохов, герой романа И. А. Гончарова «Обрыв».

[12] *Апостол, «гнавший истину»,* — Павел в бытность его Савлом.

[13] *Катрфаж де Брео* Жан (1810—1892) — французский естествоиспытатель, зоолог, антрополог, автор книг «Чарльз Дарвин и его французские предшественники» и «Конкуренты Дарвина».

[14] *Незнакомец* — псевдоним публициста Алексея Сергеевича Суворина.

[«Сим воспрещается...»]

Опубликовано в № 319, 23 ноября 1869 г., без заглавия, под рубрикой «Русские общественные заметки»; озаглавлено составителем по первой фразе.

Некоторые мотивы статьи явственно предвещают знаменитый рассказ Лескова «Железная воля», главный герой которой, Гуго Пекторалис, имеет, как известно, прототипом немецкого инженера Крюгера, знакомого Лескову по «шкоттовским» временам. Возможно, следует ввести в число прототипов также и английского инженера Миллера, утонувшего в пензенской луже.

[1] *Турбин* Сергей Иванович (1821—1884) — писатель, статистик, полковник Генерального штаба. См. сноску 1-ю к статье «Страна изгнания».

[2] *Флеровский* (псевдоним Василия Васильевича Берви, 1829—1918) — социолог и публицист, популярный в кругах революционно настроенной молодежи в 70-е гг.; в 1862—1887 гг. в ссылке; автор книги «Положение рабочего класса в России» (Спб., 1869).

[3] *Пекарский* Петр Петрович (1827 — 1872) — библиограф, историк русской литературы, академик (1864).

[Два события]

Опубликовано в № 218, 19 мая 1870 г., без заглавия, под рубрикой «Русские общественные заметки». Озаглавлено составителем по первым словам.

Дело об убийстве австрийского военного агента (понятие, близкое нынешнему военному атташе) князя Людвига Аренберга широко освещалось в столичной печати в середине мая 1870 г. Князь был задушен в ночь на 25 апреля у себя в квартире в доме Голицына по Б. Миллионной; из дому были похищены мелкие золотые вещи, коро-

бочка с бритвами, мыльница для бритья, ремень, несессер, шляпа-цилиндр и несколько 20-франковых монет. В убийстве были обвинены крестьянин дер. Долиновой Коломенского уезда Московской губ. Гурий Ильин Шишков, 27 лет, и купеческий сын из г. Новосиля Тульской губ. Петр Петров Гребенников, 32 лет, служивший ранее у кн. Аренберга кухонным мужиком. Арестованные вначале отпирались, затем валили вину друг на друга и наконец сознались. Их судили в Санкт-Петербургском окружном суде и приговорили к 15 годам каторги с последующим вечным поселением в Сибири. Общество было «поражено дерзостью преступников» и «озадачено мягкостью приговора» (см. «Судебный вестник» № 127—133 от 14—20 мая 1870 г.).

[1] *Промышленная выставка* — Всероссийская мануфактурная выставка, открывшаяся в Петербурге в мае 1870 г.

[2] *Марафонская катастрофа в Греции* предстает в сообщениях приходящей к Лескову прессы следующим образом («Санкт-Петербургские ведомости»): «Афины, 13 апреля. При Марафоне произошло столкновение между жандармами и разбойниками вследствие того, что разбойники взяли в плен секретарей итальянского и английского посольств, трех английских путешественников и двух дам. Они требуют за них большого выкупа».

«Вначале разбойники вовсе не думали убивать своих пленных, напротив, они желали сберечь эту добычу, чтобы получить с помощью ее деньги и амнистию...» «Мы держим в своих руках три королевства», — говорил один из братьев Арванити... Только услыхав, что против них высланы войска, они решились умертвить злополучных пленных»...

«13 мая. После заседания, продлившегося 20 часов, согласно вердикту присяжных, был произнесен смертный приговор над семью разбойниками, признанными виновными в участии в убийстве английских и итальянского путешественников в Марафоне».

[Курская история]

Опубликовано в № 226, 24 мая 1870 г., без заглавия, под рубрикой «Русские общественные заметки». Озаглавлено составителем по первым словам.

Подробности истории, рассматриваемой Лесковым, можно найти в «Судебном вестнике» № 132 от 19 мая 1870 г. В результате этой истории прокурорский персонал при курском окружном суде оказался раскассирован, двое товарищей прокурора (Клопов и Чеботаревский) уволены без прошения, трое (Пети, Фаворов и Рахальский) отчислены от должности и причислены к министерству. И. Клопов по этому поводу прислал в газету «Судебный вестник» статью, где изложил мотивы и ход своей ссоры с прокурором Е. Головиным.

[1] *Новая реформа, да исполнители старые* — имеется в виду Судеб-

ная реформа 1864 г.: провозглашение несменяемости судей, их независимости от власти, введение суда присяжных и адвокатуры, принцип состязательности и гласности процесса — судебная реформа демократизировала суд, однако вскоре выяснилось, что тяжущиеся стороны склонны использовать демократическую процедуру и гласность не для выяснения истины, а для удовлетворения своих амбиций и для провозглашения своих взглядов.

[2] *Волынский* Артемий Петрович (1689—1740) — военный и государственный деятель, прославившийся взятками и грубостью.

[Мирные толки о весьма немирных материях]

Опубликовано в № 76, 19 марта 1871 г., под рубрикой «Русские общественные заметки», с подзаголовком, взятым в настоящем томе в качестве заглавия.

Замечательны оперативность, с какой Лесков откликается на события, которые десять дней спустя привели к провозглашению Парижской Коммуны, и проницательность, с какой он почувствовал, что эти события знаменуют начало принципиально новой исторической эпохи, которой суждено переменить лицо мира и наполнить новым содержанием выдвинутое Великой французской революцией понятие свободы.

[1] *Меттерних* Клеменс (1773—1859) — австрийский государственный деятель, канцлер в 1821—1848 гг., апологет полицейских методов управления; свергнут революцией 1848 г.

[2] *Гарибальди* Джузеппе (1807—1882) — народный герой Италии, вождь национально-освободительного движения, во время франко-прусской войны — доброволец французской армии; приветствовал Парижскую Коммуну.

[3] *Лафайэт* Мари Жозеф (1757—1834) — французский политический деятель, участник Великой французской революции, перешедший на сторону ее противников.

[4] *Тьер* Адольф (1797—1877) — французский государственный деятель, историк, президент в 1871—1873 гг.; палач Коммуны; автор «Истории Французской революции».

[5] *Фавр* Жюль (1809—1880) — французский государственный деятель, министр иностранных дел в 1870—1871 гг.; палач Коммуны.

[6] *Наполеон* — Наполеон III (1808—1873) — император французов в 1852—1870 гг.; низложен революцией.

[7] *Кавеньяк* Луи Эжен (1802—1857) — французский генерал, палач Июньского восстания 1848 г.

[8] Надежды Лескова на то, что в России «пролетариата почти нет», что «гидра революции» для России совершенно безголовое чудовище и что «великая реформа 19 февраля оградила наш народ от тяжкой необходимости» капиталистического развития, в ходе истории не оправдались.

СТАТЬИ 70-х ГОДОВ

70-е гг. приносят Лескову признание как беллетристу. Опубликован роман «Соборяне»; с его появлением имя Лескова встает в ряд с первейшими писателями России. Напечатаны такие шедевры, как «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», «На краю света», «Железная воля», «Владычный суд», однако как публицист Лесков по-прежнему не вызывает сочувствия прогрессивной критики. Лишь в самом конце десятилетия, с публикацией резко критических очерков «Мелочи архиерейской жизни» (1878), направленных против ортодоксального духовенства, начинается поворот общественного мнения в сторону признания Лескова-публициста, но этот процесс падает уже на 80-е гг.

В 70-е гг. Лесков по-прежнему печатается в консервативных, официозных и даже «межеумочных» газетах и журналах: в «Русском вестнике», «Русском мире», «Гражданине», «Православном обозрении», «Церковно-общественном вестнике», «Кругозоре». Жанры его публицистики весьма разнообразны: от обзора печати до отдельной рецензии и от путевых заметок до «письма в редакцию», хотя больших циклов нет.

Страна изгнания

Опубликовано в газете «Русский мир» № 119, 9 мая 1872 г. Перепечатано и прокомментировано в 11-томном собрании сочинений Лескова (Т. X. — М., 1958. — С. 170—178).

[1] *Турбин* Сергей Иванович (1821—1884) — статистик и писатель, полковник Генерального штаба, к тому же «нигилист чистой расы», выведенный Лесковым в романе «На ножах» в образе майора Форова. Публиковал очерки в «Санкт-Петербургских ведомостях» в 1863—1864 гг., в 1872 г. издал их отдельной книгой, которую Лесков и рецензирует в настоящей статье. Лесков был хорошо знаком с Турбиным, даже собирался писать с ним совместно книгу («его подмалевка, а моя не только ретушь, но вся живопись». — Собр. соч. — Т. X, 344). Турбина Лесков считал знатоком народной жизни, особо знатоком быта переселенцев и бродяг, столь интересных и самому Лескову, и противопоставлял его тем народникам, которых еще с 60-х гг. решительно отвергал: А. Левитову и Гл. Успенскому, хотя к последнему со временем потеплел.

Потеплел он и к Павлу Ивановичу Мельникову (Андрею Печерскому) (1818—1883), писателю, этнографу, расколоведу, когда-то — товарищу по браням в «Северной пчеле» и оппоненту по «Письмам о расколе», теперь же — автору начинающейся эпопеи, которой суждено войти в русскую классику под названием «В лесах». Настоящее суждение Лескова — важное свидетельство его отношения к роману Мельни-

кова-Печерского, потому что специально он о романе не писал; фраза: «недавно н а м (выделено мной — *Л. А.*) довелось сказать в «Русском мире» несколько сочувственных слов в похвалу превосходным народным сценам П. И. Мельникова» — имеет в виду газету «Русский мир», в которой писал о Мельникове-Печерском критик В. Г. Авсеенко, подписавшийся инициалами «А. О.».

Несколько слов по поводу записки высокопреосвященного митрополита Арсения о духоборских и других сектах

Опубликовало в газете «Гражданин» № 15—16 в апреле 1875 г. с редакционным примечанием, что записка киевского митрополита Арсения нуждается в «критической оценке», а поскольку за Н. Лесковым, автором «Соборян», «нельзя не признать большого знакомства с бытом нашего духовенства», то «редакция с удовольствием дает место его замечаниям, не стесняясь тем, что она не со всеми из них вполне согласна».

Статья Лескова — блистательный пример чисто гражданской публицистики, иронически выдержанной в жанре богословского прения: защита свободы вероисповедания, яростный протест против своеволия и нетерпимости властей, скорбь о насильственно переселяемых русских людях — под прикрытием казуистики, стилизованной в духе того бюрократического церковного циркуляра, проект которого оспаривает и осмеивает Лесков. Обычно его ратоборство с церковью представляют по широко известной книге «Мелочи архиерейской жизни», где духовенство увидено и низведено со стороны быта. Полемика Лескова с киевским иерархом — пример прямой борьбы с учением и духовно-практической деятельностью церкви, каковых баталий Лесков был большой мастер.

[1] *Арсений* (в миру Москвин Федор Павлович, 1795—1876) — богослов, церковный деятель и педагог, митрополит киевский и галицкий с 1860 г.

[2] *Закревский* Арсений Андреевич (1783—1865) — военный деятель и администратор, участник войны 1812 г., дослужился до поста финляндского губернатора, затем стал министром внутренних дел. В 1831 г. уволен от службы, в 1848-м вновь призван и назначен московским генерал-губернатором. Вошел в легенды как человек малообразованный, решительный до самодурства и предельно консервативный, за что и уволен окончательно в 1859 г., с наступлением либеральной эпохи.

Дикие фантазии

Опубликовано в журнале «Православное обозрение» № 11 в ноябре 1877 г., переиздано в Собрании сочинений Лескова, т. X, М, 1958, с. 235—243, под заголовком «О рассказах А. Ф. Погосского» (заглавие дано редакцией); там же прокомментировано. В настоящем издании озаглавлено по общему названию задуманного и не осуществленного

Лесковым цикла «Дикие фантазии (Современные записки)», в котором разбор рассказов и повестей Погосского явился «очерком первым».

Очерк представляет собой, судя по всему, переработку служебных отзывов Лескова на книжки «солдатской сборни», приходившие к нему по линии Министерства народного просвещения.

[1] *Погосский* Александр Фомич (1816—1874) — журналист и писатель, в 40-е гг. — автор рассказов в «народном духе» («Чтения для солдат»), в последующие десятилетия — автор и издатель журналов «для народа»: «Солдатской беседы», «Народной беседы», «Досуга и дела», составитель пособий для школьного чтения. В 60-е г. был связан с некрасовским «Современником» и левыми кругами, однако осмеян Писаревым за безвкусицу и потакание народным предрассудкам.

[2] *Один большой, тогда очень влиятельный журнал...* — «Современник».

[3] *Дальтон* Герман — пастор реформатского прихода в Петербурге в 1858—1888 г., проповедник и церковный писатель.

[4] *Этим соколам крылья связаны...* — неточная цитата из Алексея Кольцова («Дума сокола»).

Подпольные пророки (Современное явление)

Опубликовано в журнале «Церковно-общественный вестник» № 4 в апреле 1877 г., в начале русско-турецкой войны. Помимо давней, весьма волновавшей Лескова проблемы, чьими потенциальными союзниками являются староверы: власти или революции? — Лесков касается в этой статье всей структуры общества и, по существу, оспаривает официально провозглашенное «патриотическое возбуждение». Делается это с истинно лесковским стилевым «коварством». Лесков дает читателю почувствовать, что он газетной шумихи не приемлет и не разделяет идей Достоевского относительно «вселенской» миссии России на Востоке, отказаться от которой значило бы для России отказаться «от самой себя» (Дневник писателя за декабрь 1876 г.— Гл. II. — п. III). Лесков не слишком верит в завоевание Константинополя; приветствовать это завоевание отказывается, и веру в него, по существу, дезавуирует; сквозь все расплывчатые слова об «историческом призвании России» жалом проходит убийственная пушкинская формула: «нас возвышающий обман».

Наконец, анализируя содержание изданного раскольниками «пророческого предсказания о взятии Царя-града...», Лесков создает образ своевольной и неуправляемой «подпольной» массы, которою правительство не владеет и которая, по существу, непредсказуема. При этом Лесков настолько опасно играет словами «подпольная печать», что редакция «Церковно-Общественного вестника» вынуждена оградить себя примечанием: «Подпольная не в смысле революционная, как обыкновенно принято у нас понимать это слово, а просто — негласная,

или, пожалуй, тайная, существование которой, однако, ни для кого не составляет тайны и исключительный предмет которой — раскольнические богослужебные книги». Это примечание, несомненно, доводит до подсознания даже и самого наивного читателя всю систему лесковской «тайнописи».

О трусости (Письмо в редакцию)

Опубликовано в газете «Новое время» № 1426, 16 февраля 1880 г., через несколько дней после того, как Степан Халтурин, стремясь убить Александра II, взорвал царскую столовую. Когда, год спустя, очередное покушение удалось и 1 марта 1881 г. император погиб от народовольческой бомбы, Лесков был потрясен; он пытался писать о покушении, «и все разорвал»; он сознался, что «не понимает, что такое пишут, куда гнут и чего желают. В таком хаосе нечего пытаться говорить правду, а остается одно — почить делом старинный образ «святого молчания». Я ничего писать не могу» (письмо С. Н. Шубинскому, март 1881 г. — Т. XI. — С. 251).

В такой перспективе высказанная в статье «О трусости» вера Лескова в «успех действий власти, поступившей... в руки лица, внушающего всем честным людям большое доверие и уважение к его способностям» (имеется в виду М. Т. Лорис-Меликов, глава Верховной распорядительной комиссии), — кажется чрезмерно оптимистичной. Падение Лорис-Меликова и усиление Победоносцева при новом императоре Александре III Лесков воспринимает с горечью. «Он покупает портрет низведенного с исторической сцены Лориса, вставляет его в рамку и ставит на письменный стол» (Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. — М., 1984. — Т. 2. — С. 146). Портрет либерального государственного деятеля стоит на столе до самой смерти писателя. В наступившие 80-е гг. Лесков сознает себя по отношению к реакционному курсу К. П. Победоносцева в безусловной и непримиримой оппозиции.

СТАТЬИ 80-х ГОДОВ

80-е гг. — период, который Андрей Лесков назвал: «На пути к маститости», а другие биографы называют иногда временем «литературного генеральства». Лесков признан всеми; даже левая критика понемногу забывает его «антинигилистическое» прошлое. Творчество Лескова этого периода — сложный сплав удач и неудач; он создает маленькие шедевры и безуспешно пытается создать крупные произведения. В эти годы написан самый популярный рассказ Лескова «Сказ о тульском хромом Левше и о стальной блохе» (1881), написаны «Штопальщик» и «Тупейный художник», «Пугало», «Грабеж» и «Человек на часах», но брошены незавершенными романы «Соколий перелет», «Незаметный след», «Чертовы куклы»... Лесков по-прежнему активен как публицист, но с заметным уклоном в повседневную мелкую журналистику. Печатается он большей частью в «Петербургской

газете», а также в «Новом времени», в «Газете А. Гатцука» («Заметки неизвестного», 1884), в «Новостях» и «Биржевой газете», в журнале «Исторический вестник». Наиболее яркий художественно-публицистический цикл Лескова в этот период — «Рассказы кстати», которые он помещает в журнале «Новь» в 1884—1886 гг.

[Философемы спиритизма]

Опубликовано за подписью «Н. Л.» в журнале «Исторический вестник» № 1 в январе 1882 г., в качестве рецензии на русский перевод книги Роберта Оуэна-младшего.

Имя для Лескова не безразличное: учение Роберта Оуэна-старшего навсегда связалось у Лескова с социалистическими надеждами молодости (см., например, статью «Русские люди, состоящие «не у дел»); соседство этого имени с Робертом Оуэном-младшим, адептом медиумизма, — как бы знак заката эпохи света и надежд и наступления эпохи мрака и обмана, скуки и беспросветности. Это — суть и сверхзадача «рецензии» Лескова.

[1] *Полисадов* Иоанн Никитич (1823—1886) — петербургский протоиерей, проповедник.

[2] *Крукс* Вильям (1832—1919) — английский физик и химик, изобретатель радиометра.

[3] *Гегинс (Хеггинс)* Вильям (1824—1910) — английский астроном, доказавший существование газовых туманностей.

[4] *Вагнер* Николай Петрович (1829—1907) — русский зоолог и писатель, автор работ по медиумизму.

[5] *Бутлеров* Александр Михайлович (1826—1886) — знаменитый русский химик, интересовавшийся также медиумическими явлениями.

[6] *Аксаков* Александр Николаевич (1832—1903) — русский спирит, двоюродный брат К. С. и И. С. Аксаковых, переводчик Сведенборга, издатель философских произведении Бутлерова.

Пожары

Опубликовано без подписи в «Петербургской газете» № 108, 9 мая 1882 г.

Помимо ярко воплощенной в статье мысли Лескова о пронизывающей обывательскую толщу тупой пассивности и вечной надежде на начальство, тут есть еще один любопытный психологический нюанс. После известной статьи 1862 года «о пожарах» (см. «Настоящие бедствия столицы») Лесков с особенной пристрастностью фиксирует внимание на теме пожара (см. также статью «О трусости»). Он словно бы еще и еще раз демонстрирует отсутствие страха перед «обжегшей» его темой. Характерно при этом полное игнорирование темы «поджога», стоившей когда-то Лескову репутации. Это в его

характере: постоянно возвращаясь к болевым точкам, убеждаться в том, что боль преодолена.

Poste-Restante (Письмо в редакцию)

Опубликовано в газете «Новое время» № 2306, 31 июля 1882 г.

Образец лесковской «беглой» журналистики, внешне привязанной к мелкой бытовой злобе дня, но выводящей читателя к глобальному ощущению застоя русской жизни, сверху донизу пронизанной ленью, формализмом и равнодушием.

О похоронах раскольницы (Письмо в редакцию)

Опубликовано в газете «Новое время» № 2532, 17 марта 1883 г.

Тончайшего яда публицистика, в которой под предлогом этнографического «крючкотворства» дан бой доносительству и фискальству, несомненно имевшему место в информации «Нового времени». Характерно стремление Лескова защитить староверов от официальной травли. Характерно также презрение к духу доносительства.

Могильные крысы (К одному из социальных вопросов)

Опубликовано в журнале «Еженедельное обозрение» № 2, в феврале 1885 г.

Интересно, что Лесков, смолоду осуждавший законодательные («охранительные») меры против пьянства и больше веривший в просветительство (см. статью «Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе»), теперь готов воззвать к закону (к «понятиям о праве»).

[1] *«Гг. Быстрое и Коровин»* — как явствует из контекста, «самые лучшие специалисты по детским болезням» в Петербурге середины 80-х гг.

Пагубники

Опубликовано в журнале «Новь» № 1 в ноябре 1885 г. Входит в цикл «Рассказы кстати».

Цикл, печатавшийся в «Нови» на протяжении почти полутора лет (с ноября 1884-го по февраль 1886 г.), включает беллетристические вещи, сравнительно широко известные (например, «Жемчужное ожерелье», «Александрит», «Старинные психопаты», «Интересные мужчины»), но также и «Пагубники» — очерк с открыто публицистическим прицелом. «Рассказы кстати» были изданы отдельным томом в 1886 г., «Пагубники» туда не вошли и впоследствии не переиздавались.

Очерк надо воспринимать в общем контексте борьбы Лескова против «сентиментального народничества». Есть, однако, и контекст сугубо личный. Проникновенные строки Лескова о «завидном счастии» воспитывать сироту и об отравлении этого счастия посягательствами

родителей или родных сироты имеют под собой фактическую основу: в 1883 году Лесков призрел четырехлетнюю дочь своей горничной и, воспитывая девочку, вступал в юридические споры с ее матерью, которой в октябре 1885 г. было отказано от дома. Историю Кетти Кукк и ее дочери Варвары Долиной см. в книге А. Н. Лескова «Жизнь Николая Лескова» (М., 1984. — Т. 2. — С. 266—268).

[1] Статья, где Лесков «собрал и напечатал в одном из наших исторических журналов несколько исторических сведений о том, как у нас... собирались уничтожить публичную пагубу у девушек», называется «О римских прелестницах и о благословенных браках» (Исторический вестник. — 1885. — № 10. — С. 228—232).

[2] *Семирадский* Генрих Ипполитович (1843—1902) — русский и польский живописец академического направления, картина которого «Христос и грешница», выставленная в Петербурге на академической выставке 1873 г., вызвала большой интерес и споры в публике и критике.

[3] Статья «О сельском вестнике» опубликована в «Новом времени» № 2002, 24 сентября 1881 г.

[4] *Вильмессан* Ипполит (1812—1879) — французский журналист и издатель, основатель газеты «Фигаро».

Темнеющий берег

Написано осенью 1887 г. по возвращении из Аренсбурга, где Лесков проводил лето и где застал его «Циркуляр о кухаркиных детях» — распоряжение Министерства народного просвещения о недопущении в гимназии детей «низших сословий». Протест Лескова против этого решения заставляет вспомнить его ранние статьи, где он связывал все надежды с просвещением народа и уповал на то, что «средний класс» удержит в России здравость смысла (см. «Несколько слов об ищущих коммерческих мест в России», «Русские люди, состоящие «не у дел»). Статья «Темнеющий берег» при жизни Лескова опубликована не была. Впервые она издана и прокомментирована в Собрании сочинений Лескова (М., 1958. — Т. XI. — С. 164—170).

[1] *г. Вольдемар* — Вольдемар Крисьянс (1825—1891) — латышский общественный деятель, публицист и историк.

ВДОХНОВЕННЫЕ БРОДЯГИ (1894)

Из публицистики Лескова 90-х гг. (1891—1895), последнее пятилетие его жизни, время святочных рассказов и легенд о праведниках, время злых литературных заметок и последних очерков, не пропускаемых цензурою, мы выбираем сравнительно малоизвестную работу «Вдохновенные бродяги». Она опубликована в журнале «Северный вестник» № 10 в октябре 1894 г., за четыре месяца до смерти

писателя. Вошла в последнее прижизненное и в первые посмертные Собрания сочинений Лескова (Спб., 1896, 1897 и 1903). Впоследствии не переиздавалась.

Работа эта соединяет воедино как бы три «лика» Лескова-публициста: во-первых, это книгочей, собиратель культуры, ценитель старопечатных текстов; во-вторых, это собиратель и комментатор всевозможных дневников, записок, жизнеописаний бывалых людей, нередко готовый «художественно обработать» чужую «фактическую канву» и всегда видящий в таких записках откровение (или сокровение) правды; и в-третьих, это яростный журнальный боец, чей темперамент не тускнеет с годами... Три эпизода, составившие очерк: «скаска» Мошкина, «скаска» Баранщикова и «скаска» Ашинова — соединены чисто лесковской мыслью: о соотношении безумства и разума в «почвенном» русском характере.

[1] *Ашинов* Николай Иванович, — пензенский мещанин, по справке старой энциклопедии: «бывший купец, именовавший себя «вольным казаком», одно время производил много шума, благодаря распущенным слухам, что в Турции за ним следуют многочисленные группы русских выходцев, вольных казаков». (Большая энциклопедия. — Спб., 1896. — Т. II. — С. 335). Нижегородский губернатор написал о нем царю; у Александра III возникли надежды, что Ашинов завоюет для России колонию в Африке. Предприняв с ведома властей абиссинскую экспедицию, Ашинов в феврале 1889 г. вышел к Красному морю. В Обоке он наткнулся на французские войска, был разбит, пленен и передан России, где попал под надзор полиции. Когда посол Франции в Петербурге явился к Александру III, чтобы выразить сожаление по поводу трагически пролитой русской крови, царь заявил: «Туда им и дорога!» (История XIX века. — Т. 8. — С. 43, 261—262).

[2] *Катков* Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, редактор журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости», в молодости либерал-западник, после 1863 г. консерватор и даже в глазах общественного мнения символ яростного ретроградства. Лесков в пору своего литературного изгнанничества из левой журналистики вынужденно печатается в «Русском вестнике», но затем порывает с Катковым.

[3] *Гатцук* Алексей Алексеевич (1832—1891) — историк, журналист, издатель «Газеты Гатцука», в которой Лесков активно печатался в первой половине 80-х гг.

[4] *Розенгейм* Михаил Павлович (1820—1887) — военный юрист, историк, прозаик, поэт. Неглубокий обличитель в 60-е гг. и неглубокий адепт патриотизма и гражданственности в последующие десятилетия. Высмеян Н. А. Добролюбовым.

Содержание

ИЗ «РУССКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗАМЕТОК» (1869—1871)

СТАТЬИ 70-х ГОДОВ

СТАТЬИ 80-х ГОДОВ

ВДОХНОВЕННЫЕ БРОДЯГИ (1894)

Лесков Н. С.

Л50 Честное слово / Сост., вступ. ст. и коммент. Л. А. Аннинского; Худож. А. Денисов. — М.: Сов. Россия, 1988. — 352 с. — (Б-ка рус. худож. публицистики).

В книге впервые собраны публицистические произведения знаменитого русского писателя. Его публицистическое наследие, большею частью разбросанное по малозаметным органам печати второй половины XIX века, остается до сей поры как бы в тени, между тем как по силе общественного темперамента, по страстности в отстаивании своих позиций, по зоркости, с которой писатель подмечал острые проблемы, его публицистика не только занимает свое законное место в истории русской общественной мысли, но достойна внимания современного читателя.

В сборник вошли очерки и заметки, значительная часть которых не переиздавалась со времени первой публикации.

Л $\frac{4702010100\text{-}132}{\text{М-105(03)88}}$ 163-88 **Р1**

ISBN 5-268-00498-0

Николай Семенович Лесков

ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Редактор **И. В. Стабникова**
Художественный редактор **М. В. Таирова**
Технический редактор **Г. П. Мартьянова**
Корректор **Т. А. Лебедева**

ИБ № 7173
Сдано в набор 19.08.87. Подписано в печать 10.05.88. Формат 84 Х 108/32. Бумага типогр. № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,69. Уч-изд. л. 19,76. Тираж 100 000 экз. Заказ 336. Цена 1 р. 80 к. Изд. инд. ХД-127.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.